

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

11/2023

Дружба на возраст



«Дружба на вырост»—2023

Сколько стихов посвящено детям, их играм во взрослую жизнь, когда родители и дети меняются ролями!.. Вадим МЕСЯЦ в стихотворении «Прекрасной Даше» готов стать даже «римским папой», потому что «В государстве Ватикан детской нет площадки». Незабываемая детская мечта возникает в элегии Алексея КОМАРЕВЦЕВА: «Вот бы снова попасть на бетонный причал —/ тот, с которого я/ несуразные палочки морю вручал,/ словно два корабля». Экзистенциальный смысл обретает в стихах Надежды КЕЛАРЕВОЙ известная присказка: «У лисички боли/ (Нет, пожалуйста, не боли!)/ У собачки боли/ (Нет, пожалуйста, не боли!)/ И у них не боли, и у нас не боли/ Не боли-не боли-не боли».

Повесть Анатолия ВАЛЕВСКОГО «Горький вкус мандаринов» — о взрослении подростка, чья жизнь разделилась на «до» и «после» автомобильной аварии. И самое сложное — это не ограниченность в здоровье. Герой повести живёт на своей каждодневной Голгофе среди таких же ущербных, как высокомерно считает равнодушное общество. С этим трудно мириться, приходится что-то кому-то доказывать, а главное — невозможно ответить на неизбежные вопросы: почему ты не живёшь в своём доме? где твои родители? От осознания этого накатывает бессилие, а потом, со временем, приходит понимание, что ты никому на свете не нужен.

«—Вся русская литература показывает, что русский человек — это непонятный миру камикадзе, робко взмывающий в небо и решительно срывающийся в омут с головой», — бросает вызов учительнице герой Валевского. «У Матильды даже очки поползли по переносице: “Аргументируйте, молодой человек”, — жёстко потребовала она». В сущности, именно этим и занимаются авторы ноябрьского номера «ДН»: аргументируют своё отношение к русской классике и её героям и обосновывают необходимость изучения сложившегося канона, признавая неизбежность коррекции школьной программы.

Писатели рассуждают о том, что из обязательного списка стало книгой на всю жизнь, а что (и почему) так и осталось непрочитанным. Оказывается: Александр ГРИГОРЕНКО прочёл «Евгения Онегина» лишь в 55 лет, Алексей САЛЬНИКОВ не двинулся дальше первой главы, Денису ДРАГУНСКОМУ Онегин помог определиться с профессией. А вообще, что тут обсуждать, считает Кирилл РЯБОВ: «Пушкин — великий русский гений. Вот и всё»...

Преподаватели же тревожатся. Евгений АБДУЛЛАЕВ (Ташкентская Православная Духовная семинария): «Что читают: как можно проще организованный текст. Минимум метафор, минимум описаний, минимум слов. Больше действия, желательно, стремительного. Больше информации, желательно “горячей”. Тогда, так и быть, почитаем. Как читают: урывками, кусочками, немного с начала, нет, не понравилось, почитаю другое. Вариант: нет, не согласен, дочитывать не буду... но выскажусь». Александр МАРКОВ (РГГУ): «Отличник как бы живёт в мире, где Дубровский спасает Машу, где может появиться Раскольников из-за угла и нужно быть осторожным, и где вишнёвый сад уже продан, и жалеть о нём не надо. Это мир уже состоявшихся катарсисов». Михаил ПАВЛОВЕЦ (ВШЭ): «Идёт активная мемизация (мимизация) русской национальной культуры, в том числе и “классики” под лозунгом постижения её “генетических кодов”. Школьники в итоге будут знать ответ на вопрос “Зачем Герасим утопил свою Муму?” — прекрасно обходясь без того, чтобы открывать время от времени книги: такие задачи не ставятся ни перед ними, ни перед учителями!»

А литературный критик Ольга ГЕРТМАН пытается с помощью недавно вышедших книг понять: «Что делать с классиками — с их, то есть, классическими текстами — здесь и сейчас? Как их читать (ведь безнадежно же архаичны, разве нет?), с какими запросами к ним есть смысл обращаться и как их истолковать, как представить, чтобы они стали детям интересны и понятны — и оказались прочитаны?..»

Дружба народов

16+



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.09.2023.
Подписано в печать 25.10.2023.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вадим МЕСЯЦ. Денница неуют. <i>Стихи</i>	3
Анатолий ВАЛЕВСКИЙ. Горький вкус мандаринов. <i>Повесть</i>	7
Ирина КРАЕВА. Фатима зажигает свечи. <i>Рассказ</i>	46
Алексей КОМАРЕВЦЕВ. На линии сгиба. <i>Стихи</i>	52
Игорь КОРНИЕНКО. Нечеловеческая любовь. <i>Рассказ</i>	55
Максим СИМБИРЕВ. Жертва. <i>Повесть</i>	63
Надежда КЕЛАРЕВА. Правдивее табуретки. <i>Стихи</i>	80
Даша БЛАГОВА. Похоронный Отряд Бездомных Животных. <i>Рассказ</i>	83
Елизавета ВОЛЫНСКАЯ. Рассказы	95
Александра БРУЙ. Тридэ. <i>Рассказы</i>	102
Полина ЩЕРБАК. Красная Шапочка не пришла в девять. <i>Из цикла «Тайны Тенистого леса»</i>	116
Наталья ДОБАРКИНА. Человековычитание. <i>Стихи</i>	128
Алена НОВИКОВА. Самый большой в мире проводник акустического резонанса. <i>Рассказ</i>	130
Владимир ТРЕНИН. Кокосовая история с географией. <i>Рассказ</i>	140
Денис ПОПОВ. Примета жизни. <i>Стихи</i>	148

МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШОМ

Алексей АЛЁХИН. Варькины истории. <i>Рассказики, сочинённые внучке</i>	150
Варвара ЗАБОРЦЕВА. Вон оно как! <i>Рассказы</i>	154
Татьяна МУРАВЬЁВА. Ануш. <i>Рассказ</i>	159
Денис СОРОКОТЯГИН. Барби. <i>Рассказ</i>	162
Эгвина ФЕТ. Предположим... <i>Рассказы</i>	164

ПРОЗА. ДОС

Мария ГАБРИЛОВИЧ. Объяснение в любви	166
--	-----

УРОКИ ЧТЕНИЯ

Классический сюжет. <i>В обсуждении участвуют: Вера БОГДАНОВА, Валерий БЫЛИНСКИЙ, Алексей ВАРЛАМОВ, Александр ГРИГОРЕНКО, Максим ГУРЕЕВ, Андрей ДМИТРИЕВ, Елена ДОЛГОПЯТ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Анна КОЗЛОВА, Илья КОЧЕРГИН, Александр МЕЩЕРЯКОВ, Кирилл РЯБОВ, Алексей САЛЬНИКОВ, Антон СЕКИСОВ, Роман СЕНЧИН</i>	186
--	-----

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Михаил ПАВЛОВЕЦ. Читать или проходить	203
---	-----

АДАПТАЦИЯ

Сложносочинённое и сложноподчинённое. <i>О классическом литературном каноне и не только.</i> Александр МАРКОВ, Александр МЕЛИХОВ и Евгений АБДУЛЛАЕВ ...	209
--	-----

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ

Ольга ГЕРТМАН. Дети берутся через дырку в заборе	219
--	-----

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Екатерина ДМИТРИЕВА. Второй том «Мёртвых душ»: замыслы и домыслы	227
--	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. К филологии счастья	258
--	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Вера КАЛМЫКОВА. Встреча на полпути (<i>Л. Фёдорова. «Адаптация как симптом...»</i>)	264
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Невольная рифма	269
-------------------------------------	-----

Вадим Месяц

Денница неуюта

Стихи для прекрасной Даши

*

Даша в мыльном пузыре
как-то очутилась.
Как букашка в янтаре
тут же притаилась.
Папа к Даше подошёл
и в ладоши хлопнул.
Сразу стало хорошо.
Только шарик лопнул.

*

Папа Дашу закопал
на пустынном пляже,
обесмертил ритуал
в фоторепортаже.
Голова торчит в песке
и поёт куплеты,
чтоб во вьюге и тоске
не кончалось лето.

*

К Даше прямо на балкон
сели марсиане.
Раздувают саксофон,
жарят на баяне.
Очень шумные они.
И — не в нашей теме.
Лучше будем жить одни
в Солнечной системе.

*

Даша скальпелем в руке
лечит медвежонка.
Где болячка на пупке?
Где его печёнка?
Во все стороны летят
в доме клочья ваты.
Звери к доктору хотят,
излеченью рады.

*

В государстве Ватикан
детской нет площадки.
Всюду виден мудрый план.
Жизнь людей в порядке.
Перестроить город сей
можно тихой сапой,
если папа поскорей
станет римским папой.

*

Электричество живёт
за стеной в розетке
дни и ночи напролёт,
как зверюга в клетке.
Кто сожмёт его хребет
и совсем не струсит,
электричество в ответ
яростно укусит.

Гадание

Чёрных птиц ты кидаешь в печь,
а они вылетают прочь.
Не спасти тебя, не сберечь.
Ты уйдёшь от меня, моя дочь.
Белый голубь посажен на цепь,
жалкой лапкой скребёт доску.
Дай мне, Господи, в жизни цель.
Прогони от меня тоску.
Поднимается белый дым.
И вплетается в чёрный дым.
А мы смертью судьбе грозим.
Сколько лет уже, сколько зим.

Любовь

Когда огромная жизнь прошла,
и рухнули небеса,
любовь бросается из-за угла
и смотрит тебе в глаза.
Она на колени в грязи встаёт
и тянется к животу.
И губы её холодны как лёд,
и взгляд — в луговом цвету.
Она безлика, как имярек.
В ней спит торжество потерь.
И слова не скажет как человек.
И не зарычит как зверь.

Говорящие головы

За вековыми деревнями на море берег крут.
Мачты большими деревьями на кораблях цветут.

Вяжут узлы перекрестия солнечные лучи.
И наплывают созвездия полчищем саранчи.

В крыльях дворового аиста мечется каждый день
мантия доктора Фауста или убийцы тень.

И говорящие головы в выплеске немоты
льют терпеливое олово в полуживые рты.

С треском ломаются ампулы на острие ножа.
И мысли витают, как ангелы, людям не принадлежа.

Ставрогин

Из трубчатых костей водопровода
до высшей точки нарастает гул,
в котором хрипло воеет непогода,
во мне определяя антипода,
как в детстве, заставляя встать на стул.
Позволь мне прикоснуться к потолку,
почувствовать объёмы и пределы,
трёхмерную, как перекрёсток, клеть.
И всё, что будет на моём веку,
узнает это радостное тело,
чтоб ничего не помнить и взлететь.

Оправдание

Когда в отчаянье бодрящем
клубится дух аптечных трав,
меня в ветре восходящем
его химический состав,

и газировкой ледяною
переполняется луна,
моей неведомой виною
больна, как бывшая жена,

и пустыри глухонемые
расширили глаза свои,
как доказательства прямые
взаимной нашей нелюбви,

и мы, как звери на закланье,
вбирая лета горький дым,
друг в друге ищем оправданья
и в небо с завистью глядим.

Звезда

Одна звезда в окне,
денница неуюта,
погасшая во мне
предвечная минута,
не знает глаз людских,
грешащих теплотою,
и помыслов благих
за финишной чертою.

Анатолий Валевский

Горький вкус мандаринов

Повесть

Если ты сам не сдаёшься, то тебя никогда не побьют.

Алан Маршалл

Эллиот

В «Голгофу» меня привезли в десять лет. Выгружая коляску из машины, Папа виновато произнёс:

— Теперь наш дом здесь.

Он почувствовал мой буравящий взгляд, но головы не поднял.

— Надолго? — поинтересовался я, нахмурившись.

Он не ответил. Я вздохнул. Ясно: «Голгофа» — это билет в один конец. На меня опустилось беспредельное уныние.

«Голгофа» — интернат для инвалидов. Тихое, удалённое от цивилизации место. Кирпичные одноэтажные прямоугольнички хаотично разбросаны по огромному пространству, ели, будто стражи, между которыми натянули сетку-рабицу, прилично сэкономив на ограде, защищают от вторжения любопытных. Огромные ветвистые ели — их невозможно обхватить — источают такую приятную прохладу и спокойствие, что среди них хочется спрятаться, наслаждаясь природной свежестью. Ночью круглая молочно-белая луна, насаженная на их тонкие верхушки, с блаженством раздаёт вокруг сияние новогодней звезды.

Гордость «Голгофы» — два кряжистых дуба, мы называем их дозорными. Это мощные деревья, глубоко пустившие корни в плодородную, всегда влажную почву. В ветреную погоду листья, шепча и переговариваясь, крепко держатся за ветки. Кажется, деревья ведут между собой интересный разговор.

Воздух «Голгофы» напоён ароматами хвои, прелой листвы. Люблю, открыв окно, вслушиваться в шелест ветра, доносящийся с крон деревьев, приглушённый шорох лап невидимых в кромешной темноте зверей. Кстати, о зверье.

Валевский Анатолий Михайлович — родился в Новом Роздоле (Украина) в 1969 году, окончил Гомский государственный педагогический университет (1997). Работает учителем истории в лицее города Усинска, Республика Коми. Печатался в журналах «Дружба народов», «Нева», «Крешатик» и других.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

Со мной в маленькой комнате живёт сэр Седрик, великий мастер потягушек, любитель поспать и понежиться на моей кровати.

Его благороднейшее котейшество принадлежит к чистокровным дворянам. Мама подобрала комок персиковой шерсти возле подвала, откуда доносился младенческий писк: «Возьмите, не проходите мимо. Я буду хорошим котом, изловлю вам всех мышей». Подобрали, отмыли, свозили на осмотр в ветлечебницу. На радостях найдёныш ел всё, что даст хозяйка, включая огурцы. Шакалил, не отходя от кухонного стола, глядя вечно голодными глазами на спасительницу, мурлыча песню попрошайки: «Разлу-у-у-ка, ты-ы, разлука-а-а, чужа-а-а-ая ста-а-ара-на-а-а-а...»

Подобрыш, названный аристократическим именем Седрик — никто в семье не мог вспомнить, кто первым так его окрестил, — никакой благодарности за спасение, холение и лелеяние проявлять не собирался. Конечно, семейство тешило себя надеждой, что в будущем его котейшество осознает главное предназначение — быть ласковой и нежной отрадой хозяевам.

Где-то читал, что бесконечно можно смотреть, как горит огонь, как течёт вода и как работает другой человек, но это классика. Я же не могу наглядеться, как Седрик балуется. Но он к этому подходит без всякого вдохновения: рутинная, тяжёлая работа, но кто-то же должен! И его котейшество Седрик добросовестно выполняет свои обязанности: вволю спит, ест от пуза и носится как угорелый по просторам «Голгофы».

Седрик — мой кошачий оберег. Он — всё, что осталось от моей жизни до «Голгофы». Когда мне сказали, что надо переезжать, я Папе открытым текстом заявил: «Без Седрика никуда не поеду. Он обязательно должен жить со мной, только со мной».

Папа молча кивнул в знак согласия.

Чтобы избежать дальнейших недоразумений, предупреждаю: Папа — это не мой родной отец. Почему Папу я зову Папой — об этом чуть позже.

А вы любите смотреть на небо? Если нет, прошу вас — задержитесь на мгновение, найдите несколько минут! Иногда мечтаю пробежаться по небу... Смешно, но хочу... Не говорите, что моя мечта — это сумасшествие. Если вы так подумали, — у вас отсутствовало нормальное полноценное детство. Просто взгляните на небо. Оно прекрасно, не так ли?

Вот и я так думал, пока не случилось двадцать четвёртое августа, разделившее мою жизнь на две части: до и после — день, когда мы с мамой попали в жуткую автомобильную аварию.

После сложнейшей операции, как только я пришёл в сознание, услышал странный совет лечащего врача: «Цените маленькие радости, однажды они сложатся в большое счастье...» Юморист.

Радость — это когда ты можешь ходить, играть в футбол, кататься на велосипеде. Быть как все. Когда же твой позвоночник, стянутый «шурупами», блокирует тело и ты его совсем не чувствуешь... и понимаешь, что это на всю оставшуюся жизнь... О какой радости тогда говорить? Но я понимаю, что врач имел в виду совсем другое. Он призывал меня не отчаиваться. С этим сложнее, но я старался держаться бодренько, хотя бы для близких людей. Отчаяние на меня не один раз накатывало, особенно по ночам.

При выписке лечащий врач ещё раз заявил мне психоделическое: «Парень, знай: испытания — это возможность изменить жизнь к лучшему». Интересно: это он реально мне или всё же себе?! Ни в чём не уверен.

В ответ утешитель услышал моё краткое и саркастическое «спасибо». Оно было лишено эмоций. Слезы? Я не умею плакать — это моя аномалия.

Бабушке опеку не разрешили, сказали, что слишком пожилая она для этого. «Запоздалый у вас внук», — вынесли вердикт какие-то тётки, наделённые властью определять, где и с кем мне жить после того, как у меня погибла мама. Такая вот правда жизни: чем позднее ты появился на свет, тем больше вероятность остаться сиротой.

Бабушка, благословляя меня на «Голгофу», сказала:

— Лучшие годы у тебя впереди!

— А до этого какие были? Какие?

Бабуля сделала вид, что не расслышала, поцеловала меня в макушку (обычная тактика взрослых), но Папе изрекла: «Видать, мой внук унаследовал некую жизненную серьёзность от своей матери. Вам с ним будет тяжело. Ой, тяжело...»

До девяти лет, до той самой аварии, сделавшей меня пожизненно колясочником, я наивно полагал, что детство — это прекрасно.

В три года я отчаянно доказывал матери, что лужа не грязная, а... шоколадная. Она нехотя кивала, что ещё больше разжигало моё воспалённое воображение. А сейчас — шоколадная лужа! — я б и не додумался до такого.

В моей голове роилось слишком много вопросов, и я на них отвечал, поэтому называл себя профессором Почемушкиным, потрясая домочадцев умозаключениями, например, что дождь — это слёзы неба, а когда оно закрывалось мрачными тучами, настаивая, что там, наверху, идёт большая семейная разборка.

На день рождения мама подарила мне книгу о космосе — большую, с красивыми картинками. Я влюбился... в космос. В четырёхлетнем возрасте заявил, что очень хотел бы покататься на звезде, но она горячая, можно обжечься и сгореть. Значит, придётся придумать несгораемую одежду... Мечтал, что, когда вырасту, обязательно куплю большую ракету, чтобы объездить все планеты, и возьму с собой не только маму с бабушкой, но и птичек-чиричек, наших уличных воробьёв.

В пять лет окончательно добил маму — я уже умел читать, — авторитетно заявив, что мы с ней космос! Да!

— Как же ты узнаешь, профессор Почемушкин, всё, что творится в космосе? Такого ведь огромного телескопа ещё не придумали.

— Придумали, — уверенно заявил я. — Просто нужно смотреть на звёзды всем людям на земле. Сидеть и смотреть в небо, тогда у всех будут одни большие глаза, которые всё увидят, — удивлял я маму своим глубокомыслием.

Мама нежно обнимала меня, приговаривая: «Мой самый любимый профессор Почемушкин». — Я счастливо улыбался и отвечал: «В садике, у тебя на работе я Почемушкин, а дома... я твой сыночек... детский человечек».

После двадцать четвёртого августа на меня снизошло озарение. Даже в самом счастливом детстве обязательно должен быть дефект, некая драма, травма, душевный шрам, глубокая отметина, которая делает это время запоминающимся, мысли ребёнка глубокими, а речь — осмысленной.

Сейчас мне пятнадцать. В «Голгофе» я обитаю уже пятый год.

Ах да, забыл представиться — Эллиот.

Домашняя легенда гласит, что выбор имени произошёл самым странным образом, когда я громко плакал. Андреи, Максимумы, Алексеи, Толики сразу пролетели мимо. По телевизору показывали какой-то фильм, в котором главного героя звали Эллиот. Мама урывками смотрела кино, и у неё вырвалось: «Этот Эллиот совсем безбашенный», — и в этот момент я перестал плакать, напротив, осчастливил

семейство смехом. Так я стал Эллиотом. Ещё говорили, что маму всячески отговаривали от этого имени, но она проявила упорство, даже твёрдость, и в свидетельство о моём рождении всё же вписали — Эллиот Бездомных.

Не надо смеяться. Да, у меня не только необычное имя, но и смешная фамилия. Правда, считаю, что Эллиот Бездомных звучит круто! Я тот, кто я есть. Мне комфортно — это главное.

В детстве меня и не дразнили вовсе, правда, однажды услышал в четвёртом классе, как учительница объясняла однокласснику смысл моей фамилии: «У мальчика нет дома, поэтому у него такая фамилия».

Фраза озадачила. Если у человека фамилия Безденежный — это же не значит, что он без денег. Или фамилия Безруких — что, обязательно без рук?

Когда Папе пересказал эту историю, он возмущённо заявил: «Твоя учительница несла бред сивой кобылы! Её лечить надо и к детям на пушечный выстрел не подпускать!» Согласен.

Папа, он такой, он за справедливость. Ещё он не терпит, когда при нём произносят слово «интернат», да и от «Голгофы» его коробит, как от зубной боли.

«Это наш Дом, — постоянно твердит он. — Его надо любить».

Любить интернат — увольте. Но ко всему на свете привыкаешь, даже к «Голгофе».

Мама говорила, что мой биологический отец, испарившись давным-давно, как мираж в пустыне, хоть и порядочная сволочь (интересно, какая тогда непорядочная?), но оставил нам дом. Спрашивается, какой же я Бездомных, если у меня есть свой собственный, самый настоящий дом? Сейчас в нём никто не живёт, но я окончу школу, выучусь, получу профессию и вернусь в свой родной дом. Поэтому, когда Папа утверждал, что «Голгофа» — наш Дом, я морщился. Папа, глядя на моё кислое лицо, вздыхал, взъерошивал рукой мои волосы и успокаивал:

— Ты, Эллиот, вообще богатый человек. — На Папином лице играла улыбка. — У тебя два дома. Согласись, два дома всегда лучше, чем один.

Я киваю. Правда, — два дома всегда лучше, чем один.

До восьмого класса я учился в школе при «Голгофе», но потом пришлось перейти в поселковую. Учить меня одного оказалось накладно.

В седьмом классе нас было шестеро.

Тёмку Арсеньева неожиданно забрала домой мать. Так странно: сначала сдала, а через семь лет забрала. Мне не по душе такие перемены. Лично я бы в них не поверил. Думаю, мать забрала его из-за пенсии, хотя выглядела она, когда приехала за Тёмкой, прилично.

Стаса перевели в другой интернат, у него редкое заболевание — синдром Вильямса, — которое в «Голгофе» не лечится. У него необычная внешность: высокие скулы, большой разрез голубых глаз, внутри которых всегда как будто много молний. Нижняя челюсть очень маленькая, а губы большие, но какое доброе выражение лица! В «Голгофе» его любили и, когда его отправляли в другой интернат, все плакали. Сам Стас больше всех.

Жалко Игорёшку. Во сне умер. Ночью неожиданно остановилось сердце, а рядом никого не было. Умереть в тринадцать лет — это жестоко, бессердечно, хотя наша воспитательница, утирая платком слёзы, негромко сказала: «Отмаялся, бедненький!»

У меня единственного есть возможность задавать Папе любые вопросы и, главное, всегда на них получать ответы. Поинтересовался, на самом ли деле Егор дурачок? Папа покачал головой: «Его отставание в умственном развитии вызвано

социальными проблемами». Папа ещё что-то объяснял по поводу Егора, но я понял, что мальчишку дураком сделали семья, обстоятельства, окружающие. У него олигофрения в стадии дебильности. Была бы хорошая семья, где бы его любили и терпеливо с ним занимались... но Егорка жил у нас. После седьмого класса его перевели во вспомогательную школу.

В нашем маленьком классе единственной девочкой была Орешина. У Любки деформация позвоночника, приведшая к появлению горба на спине, и ещё у неё РАС — расстройство аутистического спектра. Её считают не от мира сего, потому что она либо нелюдима, постоянно что-то невнятное и злобное бормочет себе под нос, либо милейший взрослый ребёнок: ластится ко всем, и тогда её навязчивость зашкаливает. Для меня Любка нормальная. Я так Орешине и сказал:

— Ты как все мы! Нормальная!

Она посмотрела на меня, как на больного.

— Меня здесь все считают дурачком, — заученно сказала Орешина и зачем-то стукнула пальцем мне по лбу.

— Твой РАС — это поиск своего «я».

Любка с настороженностью смотрела на меня. И вдруг заговорила:

— Я слышу по ночам шептанья Луны, по утрам — хохот трав, бормотанье подземных корней. А ещё камни у реки разговаривают друг с другом и несносно ворчат, отчего у меня раскалывается голова.

— Ты уникальна, — опешил я.

Орешина выглядела озадаченной.

— Это нормально, быть... уникальной душой?

— Да, конечно! — убеждённо кивнул я.

Получив мой уверенный ответ, она сделалась счастливой, невыносимой болтушкой, а говорили, что аутисты тихони. Ничего подобного.

Правда, Папа считал, что искалеченные души навсегда остаются изувеченными, что их почти невозможно починить. Я с ним не спорил.

Весной Любка надолго попала в больницу. Никто не говорил, что с ней. Вернулась в «Голгофу» только в конце лета тощей и лысой. Я скучал без неё, потому что мы с Орешинкой самые большие друзья. Думаю, я ей, наверное, даже нравлюсь: она любит меня причёсывать. Когда меня привезли в «Голгофу», она первой весело крикнула: «У нас новый черепок с клювиком!» Как вам приветствие? Оно меня позабавило. Никто так меня не встречал и не называл.

После больницы Любке запретили учиться. У неё шадящий режим. Вот так я и остался в классе один.

В поселковой школе к моему приезду вынуждены были построить деревянный пандус, перевести восьмой класс на первый этаж, расширить для меня входные двери в школу и в класс. Классный руководитель однажды в сердцах упрекнул: «Если бы ты знал, Бездомных, какой ты для нас геморрой...»

Я с негодованием рассказал об этом Папе, но он искренне засмеялся, тем самым сбив меня с толку.

— Эллиот, ты в самом деле влетел им в копеечку... Ты их самый дорогой ученик...

Слова Папы подняли мою самооценку. Она у меня и так не занижена — она адекватна. Главное — принять себя целиком, и тогда не будет никаких страданий. Лишних страданий.

В школе ко мне относились корректно, правда, Папа выразился точнее — толерантно. Значит, никак. Когда Папа лично первый раз вкатил меня в «храм образования», то попросил об одном одолжении:

— Эллиот, ты должен вписаться в коллектив класса!

Такое напутствие не вдохновило. После некоторого колебания, чтобы не обидеть Папу, я поинтересовался:

— Почему они не могут вписаться в меня? Их много, я же один.

Папа промолчал. Первое время пришлось классу доказывать, что я умею за себя постоять, особенно Макс, который больше всех насмеялся надо мной: «Разъездились тут всякие, загораживают пространство».

Словосочетаниями сниженной лексики я так припечатал несчастного, что он долго меня не трогал. Был ещё один конфликт с этим неугомонным Максом. Терпеть не могу, когда мне напоминают, что я неполноценный, что я — колясочник. Реально тогда становлюсь неуравновешенным психом — нормальная реакция израненного самолюбия. Не знаю, чего Макс наговорил дома родителям, но на следующий день они пришли в школу с разборками.

Вызвали и Папу. Позже, уже в «Голгофе», он устроил мне настоящий вынос мозга. Главное правило провинившегося — молчать или чистосердечно каяться. Я сознательно выбрал первое. Не зря Николаевна, наша воспитательница, считает, что у меня характер Седрика. Тот молча слушает и мотает услышанное на кошачий ус, и всё, другой реакции не ждите. Седрик давно превратился в благовоспитанного кота. Понял, что так лучше для него самого — никогда не ругаться с хозяином, который его кормит.

Папе категорически не нравилось моё поведение. Я, конечно, не могу ему сказать, что не надо оценивать мои поступки, мысли и чувства с его точки зрения, потому что он не знает даже половины того, что творится у меня внутри, но я, как Седрик, — с хорошими манерами.

Папа мораль всегда начинает одинаково: сначала хвалит. Тактика правильная, усыпляющая бдительность.

— Эллиот, ты личность глубокая, многогранная, но... — задумавшись, он нахмурил брови, и я понял: комплименты по поводу моей неординарной личности закончились. — Но с причудами.

— Вы правы, — с готовностью ответил я, не дав Папе продолжить. — Мама с детства называла меня чудиком.

Установилась тишина, которую боязно нарушить неправильным неточным словом, поэтому лучше молчать. Или, как утверждала Орешина, — когда Папа грозный, лучше быть простым, как карандаш.

Я принял вид вежливой озадаченности.

— Эллиот, — голос Папы внезапно сел, словно у него вдруг пересохло горло, — я тебе не пацан, чтобы меня отчитывала директор школы. — Папа угрюмо уставился на меня, из чего я понял, что в кабинете мадам Ришелье, директора школы, было жарковато. И верно то, что Папа — не пацан. Он для всех нас Папа и обязательно с большой буквы. Всегда.

Я продолжал быть культурным — хранил молчание.

— Эллиот, с твоим характером... — Папа прожёл меня взглядом. — Думаю, ты меня понял, — выдавил он, посмотрев на моё серьёзное, непробиваемое лицо.

На этом «воспитание» закончилось. Мне бы промолчать, но...

— Так всё плохо с моим характером? — виновато уточнил я.

Папа посмотрел на меня, лицо его уже было не таким суровым, и брови разгладились. Буря миновала.

— Проблема в том, что как раз у тебя он есть, — буркнул Папа. В его голосе чувствовалось скрытое одобрение. — Надеюсь, больше разборок с этим индивидом по имени Макс ни у тебя, ни у меня не будет!

— Я так же на это надеюсь. — На примирительный тон Папы хотелось ответить шуткой.

Мне это удалось, Папа улыбнулся.

— Он... надеется, — проговорил Папа с иронией. — Всё же почему ты ни с кем не общаешься в классе?

— Будет класс — буду общаться! — отрезал я.

— Ну характер... — по-доброму буркнул Папа. — Ты слишком стремишься быть независимым.

— Это плохо?

— Это беспокойно! — заключил Папа.

Он встал со стула. Подошёл к окну, открыл форточку, после чего снова сел. В кабинете повеяло вечерней свежестью.

— Так какой же у меня характер? — Теперь к Папе можно приставать.

— Трудный!

— Конечно, — с вызовом заявил я. — Меня же не зря назвали Эллиотом.

Папа нахмурился ещё сильнее, словно силясь понять смысл моих слов, но тут же решил особо не напрягаться.

— Какое это имеет отношение к твоему характеру? — всё же поинтересовался он.

— Странные имена определяют судьбу! Это мой случай.

— Ты наблюдательный человек, Эллиот.

— Наблюдательность — это умение слушать и делать правильные выводы.

Куда деваться, люблю, люблю чёткие определения.

Папа опять смерил меня взглядом, улыбнулся и покачал головой. В дебаты со мной он решил не вступать.

* * *

Давно веду дневник. Назвал его странным словом «Деструкции». Не помню, откуда взялось оно, но мне всегда нравились необычные слова — они будили чудесное воображение. Не зря мама всегда нежно говорила мне, что я «её чудик».

Дневник — это полное доверие и абсолютная правдивость перед самим собой. Чтобы этого достичь, решил создать себе воображаемого собеседника. Долго думал — кого? Не робота же какого-то? В школе как раз проходили Чехова. Тонкий вдумчивый писатель, глубокий мыслитель, он так же на протяжении всей жизни вёл дневник.

Я подумал, почему бы не он? Представляете, как это стимулировало мою откровенность? Понимаю, что это очередное моё чудачество, но так легче писалось, искреннее, пронзительнее. А главное — именно у Чехова всегда читаешь неожиданные истории, над которыми неизменно тянет размышлять.

Понравилось — в записках великолепной Тэффи «О Дневнике»: «Мужчина всегда ведёт дневник для потомства».

Не удивляйтесь, я — книжный гурман.

Деструкции

«Чехов, как-то раз я сравнил себя с айсбергом: верхушку всем видно, а о том, что прячется в холодной воде, никто толком не знает. А ведь верхушка — это лишь опознавательный знак. Знак, не более того.

Ирина Краева

Фатима зажигает свечи

Рассказ

Только засветится ранний румяный час, а Фатима уже спешит к тем, кто её ждёт. Нежная вся, в лёгкой испарине — прямо от плиты. Даже зимой, когда ночь залёживается на снегах, Фатима выходит в привычное время из дома, и навстречу ей день расцветает. Её ждут дети и собаки.

В руках Фатимы бидон, а в бидоне похлёбка, в которой много костей с мясом. Варёво горячее, и потому бидон кажется Фатиме ещё тяжелее, а она радуется: донесёт до собачек еду не простывшей, согреют они захлаженное за ночь нутро. Шумно будут хлебать и крутить хвостами.

Собак шестеро. Черныш, Гром, Супоня, Буян, Белочка и Розана. Хорошие собаки, честные. Правда, Супоня — редкостный подхалим, готов на задних лапах танцевать, только бы заполучить лишний хрящик, но и этот пёс бывает ласков без выгоды для себя. Фатима знает, что собаки её любят, и дело совсем не в похлёбке. Днём она держит двери в Чёрном Доме нараспашку — пусть собаки приходят, когда вздумается. А на ночь оставляет открытым в подвале потайное окошко, пожелают — пролезут через него, укроются от дождя и ветра. Фатима каждое утро спешит в Чёрный Дом. Несёт в бидоне горячую похлёбку с костями, на которых много мяса, и радуется.

Фатима мала ростом, она легка в движениях, и от взгляда её веет нагретым абрикосом. А вот тело её уже по-старушечьи скудное, лицо посекали морщины, набрякли веки, словно вчера она долго плакала, и нос — точь-в-точь вяленая груша. Фатима давно остригла свои косы, и седые кудри качались бы как придётся, если бы она не смиряла их длинным пёстрым платком, который оборачивает вокруг головы по-особому, так, что тот стоит колпачком. Обычно она носит бархатное платье цвета перезревшей вишни, давнее, уже слишком просторное, но шёлковая жилетка сверху хоть как-то скрадывает лишние складки одеяния. Маленькая Фатима походит на волшебного гнома. Алюминиевый бидон в её руках светится бледным солнцем.

Ирина Краева (Пуля Ирина Ивановна) — прозаик, журналист, педагог. Родилась в 1966 году в Кирове. Автор десяти книг, в том числе «Дети неба, или Во всём виноваты бизоны» (2018). Лауреат ряда литературных премий — имени Владислава Крапивина, имени Александра Грина, «Согласование времён», «Новая детская книга» и др. Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

Она ходит в Чёрный Дом много лет, много лет. Первый раз она вошла в него, как только военные разрешили приносить сюда цветы и игрушки. Фатима увидела тогда много людей, и у всех у них из глаз сами собой лились мёртвые слёзы. Фатима чувствовала, что эти люди не думают о том, что будет завтра, и не знают, как теперь жить. Фатима была такой же, как все. У неё тоже никаких сил на жизнь не оставалось.

Когда дом ещё не был Чёрным, на большой праздник в нём собрались дети и взрослые. Они радоваться пришли, они радовались... А их убили.

Теракт устроили крейчазы. Фатима сама выдумала такое слово. Ни одним рождённым в мире словом нельзя было назвать тех, кто совершил здесь то, что совершил, и поэтому Фатима назвала их так — пирые крейчазы.

Пусть кто-то говорит, что они не хотели убивать *этих* детей, они хотели только напугать взрослых, хотели, чтобы перестали убивать *их* детей. Но дети, на которых нет никакой вины, погибли. У Фатимы нет сомнений, что детей никак нельзя делить на своих и чужих. А кто считает по-другому — тот пирый крейчаз.

В Чёрном Доме в тот чёрный день погибло много детей и взрослых, так много, что потом никто не мог запомнить все имена погибших.

В первые горестные дни, когда в Чёрный Дом стали пускать людей, Фатиму неодолимо тянуло туда. Она чувствовала, что многие женщины и мужчины тоже не могут не приходить, потому что совсем опьянели от горя, горе им застило жизнь, они не в силах им насытиться, как пьяный не может напиться вином.

Кто-то из людей, облечённых властью, решил, что дом, в котором произошла трагедия, надо оставить в наизидание потомкам. На Чёрный Дом надели сверху юбку из твёрдых пластиковых лент, чтобы всем было понятно — он окружён старательной заботой и вечной памятью. В центре страшного зала, обложенного цветами, поставили деревянный крест и два напольных подсвечника на тонких стояках, кто хотел — мог взять свечи со стола, задвинутого в угол, и зажечь их перед крестом.

Но горе всё равно оставалось голодным, а слёзы — пьяными. И как с этим справиться, — никто не мог придумать.

Когда люди не знают, что делать, они вспоминают Бога. Рядом с Чёрным Домом стали возводить православный храм. Людям предложили платить за свечи — опускать деньги в специальный ящичек, чтобы собрать средства на строительство храма. Но многие кидали в ящичек всего лишь по десять рублей, а брали много свечей. Расчёты на большие сборы не оправдались. И тогда какой-то человек, облечённый властью, взял Фатиму за плечо и подвёл к столу: «И на пенсии нашлась для тебя бухгалтерия, женщина. Наведи здесь порядок. И себе бери из пожертвований по потребностям. Знаем — лишнего не возьмёшь». Вначале Фатима растерялась, а потом искорка удовольствия прокатилась по густой крови в её жилах — её уважают. Согласилась.

Церковь построили — крепкую, с тучными золотыми куполами. Но годы шли, а двери храма так и не открыли для прихожан, никто в нём молитв так и не вознёс. Денег всё не хватало — то на роспись стен, то на иконы... Кто-то из представителей власти решил, что никак нельзя, чтобы люди молились при голых стенах, а то ведь найдутся желающие поднять хай: погибших унизили. Пусть лучше люди смотрят на церковь и думают, что она скоро откроется, пусть привыкнут к ней, златоглавой и пустой, ведь люди ко всему привыкают. И люди привыкли. Почти все привыкли. Но не Фатима. Каждый день она проходит мимо храма, и даже ступни у неё холодеют. «Церковь без молитв, — думает Фатима, — будто гроб посреди улицы».

Она убирает увядшие цветы, стирает пыль с фотографий и игрушек, моет полы. Она помнит имена всех детей и взрослых, запечатлённых на фотографиях, имена сами расставились у неё в голове почти в рифму. Фатима шепчет имена и наводит чистоту. Летом в Чёрном Доме особенно много людей — приезжие, желающие отдохнуть «на югах», приходят, чтобы полакомиться достопримечательностью.

Фатима несколько раз собиралась взять немного из пожертвований — хотя бы себе на хлеб, но всё было как-то не с руки. А потом и вовсе решила не брать — после встречи с мальчиком Русланом Отоевым.

Детей ведь тоже в Чёрный Дом приводили — целыми классами. Руслан пришёл вместе с классом. Толстый, губки бантиком и рыжие, лихие кудри — домашний исцелованный такой озорник, которому всё сходит с рук. Дети двигались за учительницей пришибленные, робко, по-гусиному перебирали лапками по свежевывытому Фатимой полу. А толстуна, видимо, что-то развеселило ещё до входа в Чёрный Дом. И сейчас то же самое продолжало его веселить, и он вертел в кармане какую-то забавляющую его штучку — наверное, какую-то игрушку, не слушал учительницу. И, наконец, учительница сказала холодным тоном: «Руслан Отоев — самый плохой человек на свете», — и саданула его по щеке. Видимо, у неё давно накопело, её давно подмывало ударить Отоева, но она боялась его родителей — вдруг нажалуются директору. А в Чёрном Доме учительница почувствовала полную свою справедливость. Фатима покачала головой, отворачиваясь. А когда класс ушёл, она услышала странные звуки. Вышла из зала в коридор. Не сразу заметила в углу, напротив подоконника с игрушками, Руслана Отоева. Он сидел на полу, подтянув к подбородку одну ногу, а вторая лежала безвольно вытянутая.

— Ты чего? Из-за учительницы? — склонилась к нему Фатима.

Мальчишка втянул соплю и прошептал:

— Нет.

— Чего тогда, Руслан?

— Медведь, — прошептал он и махнул рукой в сторону подоконника.

— Медведь?

Фатима посмотрела на игрушки. Их было много на подоконнике: куколок, мягких зайцев и котов... Она сразу поняла, о каком медведе речь. Он один был такой. Коричневый, плюшевый, а вместо матерчатой мордочки — круглое малышковое личико с голубыми глазами.

— Он смотрит на меня, — прошептал мальчишка.

— Это игрушка, Руслан.

— Это мёртвый мальчик... Вдруг они все оживут...

— Тебе ведь жалко ребят, Руслан? — попыталась подсказать мальчишке Фатима.

— Мне страшно, — едва проговорил он и закрыл ладонями глаза.

Фатима распрямылась, чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд. Ни игрушки, ни дети так смотреть не могут — будто прицеливаясь. Только пирые крейчазы смотрят так, останавливая твоё сердце. Теперь Фатима поняла, что на неё так всегда в Чёрном Доме кто-то смотрит, только она сама боялась себе в том признаться.

Фатима взяла мальчика за руку и вышла с ним на улицу, к светлому теплу, усадила Руслана на скамейку. Надо было бы принести ему горячего сладкого чая, хотя бы с сушками. Но прибежала учительница, злая, молча поволокла ученика прочь.

А спустя несколько дней после истории с Русланом Отоевым первым залетел в распахнутые двери Черныш — всклокоченный пёс. Вился на отлёте его алый язык и глаза горели весёлым, остроумным азартом. Пёс не чванился перед Фатимой, стащил зубами с её руки протянутый кусок хлеба, а вечером привёл с собой Буяна и Белку. Потом притянулись Гром, Супоня и Розана. И Фатима стала варить им похлёбку, чтобы накормить досыта и чтобы они уже никуда не уходили. Собаки вкусно хлебали варево, мотали хвостами из стороны в сторону, опрокидывались кверху белым пузом, чтобы их почесали ласковой рукой. Все дети любят собак. Пусть радуются, пусть радуются собакам все-все. Фатима решила для себя: не будет она брать деньги на похлёбку из пожертвований, не будет.

Она была уже не одна, а вместе с Чернышом, Громом, Буяном, Супоней, Белочкой и Розаной. Фатима уже решалась вступать в разговоры с людьми, которые протягивали ей деньги за свечи и о чём-нибудь спрашивали. Она решила: людям необходимо, чтобы кто-нибудь с ними говорил.

Бывало, приезжали женихи и невесты на машинах в лентах, в окружении разгорячённых гостей. Молодожёны входили с золотыми улыбками и тут же застывали в оторопи.

Фатима вкладывала им свечи в сцепленные руки и говорила:

— Вы за себя помолитесь. Помолитесь за себя. И ступайте, ступайте...

Фатима так чувствовала — молодым здесь не место, не надо начинать счастливую жизнь там, где она когда-то закончилась.

Родители погибших детей тоже приходили, хотя не часто. Фатима вставала за их спинами, беззвучно молилась вместе с ними. Но кому-то из них и выговаривала.

— Нет, Милана, говорю тебе, нет, — бормотала Фатима, без злобы, но настойчиво. — Не дам я тебе свечушку. Ты не знала, куда идёшь? Почему деньги не взяла, десять рублей хотя бы? Или ты думаешь, что теперь тебе все должны? Для твоей доченьки, чьи косточки превратились в пепел, у меня всегда есть свеча, каждый день зажигаю. А для тебя нет её и не будет.

Матери и отцы находили успокоение в строгости старухи, похожей на волшебного гнома. Они убеждались, что об их детях заботятся, за их детьми есть пригляд.

Только один раз возвысила Фатима голос.

— Послушай, любезная, — сказал какой-то мужик, подтягивая штаны на пузе. — Ты скажи там своим — пусть уберут крестовину с «гимнастом». Я хочу молиться здесь своему богу, которому молился и мой погибший племянник.

— Кярч, зубрый кярч, — сквозь зубы сказала ему Фатима. — Заблхайся сердни. Гердь малюка.

— На каком языке ты ругаешься? — взъярился мужик. — Нет такого языка, и не смей говорить со мной на своей тарабарщине.

— Не нужны тебе ни крест, ни звезда Давида, ни полумесяц со звездой, — произнесла Фатима. — Не дури голову ни мне, ни себе, никакому пророку. Повезло тебе, что не слышат твоих слов отцы моих детей...

Мужик навалился на Фатиму, сдавил так, что хрустнули её птичьи косточки. Залаяли Черныш и Буян, и уже летели на подмогу Гром, Супоня и Белочка с Розаной. Мужик отшвырнул Фатиму в угол, выругался и пошёл к выходу в пьяную раскачку — то ли пришёл пьяным, то ли сейчас в голову что ударило.

Фатима часто перечитывала начертанные на стенах надписи: «Мы с вами!», «Вы с нами навсегда!». Фатима крестила эти слова и думала: живы ли те, кто их писал,

или убили уже друг дружку на разъединившей их войне, которая сейчас вновь жрёт человекoв. Фатима убирала увядшие цветы, мыла полы и каждый день приносила похлёбку, чтобы собаки были сыты и чтобы им гладили живoты ласковой рукой. А медведя она унесла домой, спрятала в шкафу под халатами. Она хотела бы всё-таки напоить Руслана Отоева горячим чаем и что-то хорошее сказать ему. Фатима высматривала мальчика на улицах — он же местный, вполне могли встретиться. Но так и не встретились за несколько лет.

Они так и не встретились. Разминулись на три часа.

...Фатима ещё на подходе к Чёрному Дому заметила полицейскую машину, а возле неё людей в форме. Они тоже заметили Фатиму и ждали, когда она подойдёт ближе.

— Здравствуй, Фатима, — обратился один из них, её давний знакомец. — Плохие новости, Фатима.

Она стояла, вглядываясь в полицейских, руку оттягивал горячий бидон.

— Убили твоих собак, — хмурo сказал знакомец. — Шесть носoв ведь было?

Фатима молчала и не шевелилась, только взгляд её стал прозрачным. А потом она всё же двинулась к Чёрному Дому.

— Там замок повесили. Считай отпуск у тебя, Фатима, — сказал вдогонку знакомый парень. — И собак я уже закопал в саду... Пойдём, покажу.

Фатима развернулась и пошла за ним в сад, где росли фруктовые деревья. Под одной из старых вишен парень указал на участок вскудренной земли. Влажные мягкие комья были мелко порублены лопатой. Фатима смотрела, смотрела на них и согласно кивнула каким-то своим мыслям.

— О чём ты, Фатима?

— Весной полетит цвет вишни. Будет розовый снег, — тихо проговорила она.

И спросила: — Кто?

— Ты бидон-то дай, что ли, мне...

— Кто?

Молодой полицейский вздохнул, пожал плечами.

— Парень какой-то. С войны вернулся неделю назад. Наверное, насмотрелся там мяса... Под утро пришёл сюда, сбил замок. У него ружьё с собой было, охотничье. Кого хотел убивать в ночи — чёрт его знает. Не собак же. Как они вообще там оказались? А? В общем, люди услышали пальбу — вызвали полицию. Мы приехали... Сразу было понятно: не в себе человек.

Фатима продолжала смотреть на кудрявые лёгкие комья.

— Пойдём, Тимофей, — Фатима вспомнила, как зовут полицейского. — Ушли мои собачки, далеко ушли.

Тимофей, укорачивая шаг, чтобы не обгонять Фатиму, ступал за ней.

— Ты скажи, никаких угроз насчёт собачек-то не поступало? Может, кто недоволен был? Никто тебе не хотел за что-нибудь отомстить?

— Нет, — отвечала Фатима, — нет.

— Парня зват Руслан Отоев. Не встречались?

— Почему — «звали»? — остановилась Фатима, вытянулась вся.

— Т-тааа, — Тимофей горестно махнул рукой за её спиной. — Да жив он, жив...

Толку-то ему от этого что?..

Фатима пробормотала невпопад:

— Свой страх шёл расстреливать. Но как его расстреляешь?

На следующее утро Фатима вышла из дома с горячим бидоном, который сиял бледным солнцем. Когда уже миновала Чёрный Дом, люди стали окликать её, удивлённые тем, что видят старуху в неурочный час в неурочном месте.

— Куда идёшь, Фатима?

— В Деревню мёртвых.

— До неё же далёко — на двух автобусах, потом пешком. Лучше найми машину, — советовали люди и всплёскивали руками. — Зачем тебе туда?

— Я буду зажигать свечи, — виновато отвечала Фатима. — Что я могу? Только зажигать свечи.

Людей распирало любопытство, и они продолжали вкрадливо:

— А как же без тебя Чёрный Дом?

— Закрыли, закрыли его, — отвечала Фатима.

Но люди не унимались.

— А заразу не боишься подхватить? — спрашивали они. — Сколько веков пролежали в той деревне косточки наших предков! Почему ты хочешь нарушить покой мёртвых?

— Я схороню косточки и в каждом окне зажгу свечу. И пусть там живут собаки. Деревня не будет мёртвой.

— Не смей этого делать, Фатима, — останавливали её, толкали, чтобы старуха очнулась от своей глупости. И говорили то, что Фатима знала и без них: — Деревня мёртвых — это память о наших предках. Больные люди приходили туда, чтобы не заразить родных. Они знали, что не вернуться назад. Пролезали в окно, через которое им с воли передавали хлеб и воду. А дверей там и вовсе не было. Ты хочешь надругаться над благородной смертью наших предков?

— Зачем вам их смерть? Что она для вашей жизни? — Фатима ласково улыбалась, от её взгляда будто веяло ароматом тёплого абрикоса. И совсем что-то странное бормотала: — Пели бы вы про них песни. Смотрели бы, как с большого камня летят бронзовые голубки... Это души, свободные души летят в небо. Как красиво летят, летят... Пусть чёрное станет белым, пусть смерть станет жизнью. У смерти короткий срок, а жизнь... она вечная... Она в красоте должна быть, в красоте... в красоте...

И Фатима шла дальше, осторожно несла бидон, стараясь не расплескать горячую похлёбку. Люди смотрели ей вслед с недоумением и досадой.

Фатима оглянулась на них, улыбнулась и тихонько запела:

— Зоре оре лимы. Фа да ра. Ю алю малимы. Тамегда...

Свободной рукой Фатима вынула из кармана детскую свистульку — и в едва просыпающемся воздухе расцвела радужная, смешная, кудрявая трель. Она виляла в голубизне, качалась веткой в цвету.

Алексей Комаревцев

На линии сгиба

* * *

За окном пустырь для Конан Дойля —
что-то вроде аглицких болот.
Люди горячатся на раздолье
в повести, а здесь — наоборот.

Здесь они идут за поводками
и не мажут фосфором собак.
Вереск не крадётся под ногами,
не летит ворона за овраг.

Незачем обрыдлую овсянку
наливать по самую кайму.
И по вечерам держать осанку
в общем-то не нужно никому.

Кто-то скажет: до чего пустяшна
эта тема, бархатна, легка.
Но зато не больше островка.
Но зато мне с ней совсем не страшно.
Этого достаточно пока.

Детская элегия

Вот бы снова попасть на бетонный причал —
тот, с которого я
несуразные палочки морю вручал,
словно два корабля.

Набегал вечерок, в небесах синева
говорила «гудбай».
Собирала креветок внизу пацанва
у пупырчатых свай.

Комаревцев Алексей Владимирович — родился в г. Бердянске в 1988 году. Окончил Институт культуры. Участник Поэтического союза «ИЛИ». Автор сборника стихов «Спецпоказ» (2021). Публиковался в журналах «Дружба народов», «Урал», «Звезда». Лауреат премии журнала «Звезда» (2022) и других. Живёт в Санкт-Петербурге.

Голосили птенцу: «Выходи из воды!» —
обещая люлей.
Убирали слонов шахматисты-деды
на капот жигулей.

На азовском ветру, на крючке рыбака
трепыхалась тарань.
И Киркоров звучал из глубин «Маяка»,
напрягая гортань.

Если кто-нибудь ждёт поворотов лихих, —
их не будет нигде:
только странных времён озорное «хи-хи»
да матрас на воде.

Я с причала смотрю в сероватую гладь
на смешные «суда».
Нет бы просто пойти и кого-то обнять,
сохранить навсегда,

как жука в янтаре. Превращался причал
в уходящий фрегат.
А я дальше сидел и со всеми встречал
полосатый закат.

Шахматисты-деды изучали ладью,
как ребёнок — драже.
Синева в небесах говорила «адью»
в полный голос уже.

* * *

В морях улыбаются рыбы,
гуляет в траве коростель,
а мы вот на линии сгиба
застыли меж двух плоскостей.

Вовсю наслаждаемся тенью,
увесистой, как бурелом.
И чувствуют в этом спасенье
лишь те, кто ударен веслом.

Я знаю, я жил однобоко
и не замечал остриё.
Теперь понимаю: эпоха.
Жалею, что вижу её.

* * *

Вот Чаплин идёт угловато,
и кажется даже смешным,
что слово «почапать» когда-то
придумано было не им.

Поэтому к планам провальным,
к районам промышленно-спальным,
к салонам, где ценят кивок,
он чапать не мог, что печально.
Он мог исключительно walk.

И нет подходящего слова
во всех словарях по стране,
а в русском уже всё готово,
и рядом просторно вполне.

* * *

Пролетает стрелой товарняк —
он пузатый железный сквозняк.
Мне бы крикнуть, а я, как рыбёха,
промолчал, проморгал, не допёхал.
Колыхался всю березняк,

и гимнасткой была лебеда.
Мне бы что-нибудь сделать тогда.
Уходили цветные цистерны.
И не только цистерны — всё верно,
и лохматые наши года.

Все они в барахлящем авто
пробиваются, как долото,
сквозь ухабы и рельсовый гогот,
но догнать этот поезд не могут.
Он проехал. За ним теперь что?

Игорь Корниенко



Нечеловеческая любовь

Рассказ

Море с одним берегом

Memento mori!

Она родилась мёртвой. Не реагировала на шлепки. Не дышала. Сердце новорождённой не билось.

— Быть такого не может, — говорила акушерка и снова звонко хлопала ладонью по крохотной попке. — Только что дышала, своими глазами видела.

Тогда врач забрал ребёнка и громко приказал:

— Реанимационный набор, дыхательный мешок, быстро!

Света Миронова тихо, нехотя, заплакала. Объявила этому свету о своём появлении.

На том она пробыла минуту и пятьдесят восемь секунд.

Врач показал её роженице:

— Ну и хитрюга ваша девочка. Прирождённая актриса.

Мать Светы закрыла глаза:

— Вся в отца. Так и знала. Клоун от клоуна.

Света сделала первый вздох на следующий день после развода родителей.

Наталья надеялась, что девочка не подаст голос. Она отвернулась от неприятного багрово-синего тельца и разглядывала кляксы крови на халате медсестры. Она просила про себя Боженьку разобраться с этим нежелательным, ненужным никому явлением. Она пообещала поставить свечку. Купить икону. Подать попрошайкам...

Но дочь решила жить.

Когда врач протянул ей младенца, чтобы она смогла подержать, застонала и вернулась к кровавым кляксам.

Александр, отец Светы, не был клоуном, он работал фотографом в городском еженедельнике. С Натальей познакомился на съёмке рекламы кафе-бара «Черри»,

Корниенко Игорь Николаевич — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии В.П.Астафьева (2006), драматургического конкурса «Премьера 2010», литературного конкурса им. Игнатия Рождественского (2016), Шукшинской литературной премии (2019). Участник проекта АСПИР «Резиденции». Живёт в Ангарске. Постоянный автор «ДН».

она там работала барменом. Тогда им казалось, что это любовь с первого взгляда. И секс случился в тот же вечер, в кладовке между холодильником с закусками и стеллажом с посудой, на куче грязных скатертей.

Через неделю подали заявление, кольцами обменялись месяц спустя. А ещё через месяц Наталья поняла, что совершила ошибку, и котёнок-Саша стал просто клоуном. Любовь оказалась зла и не любовью вовсе.

Александр разделял мнение жены:

— Поспешили, — соглашался и ждал, когда Наталья первая заговорит о разводе.

Наталья спала и видела, как к стойке бара плывет её настоящий принц на белом «Шевроле»...

Александр встретил ту, с которой не надо спешить, во время очередной рекламной фотосъёмки мебельного салона «Фея».

Рассказал всё Наталье. Жена долго истерично смеялась ему в лицо: «Клоун нашёл свою фею», — и назло не рассказала, что беременна, и попросила развод.

— Потом потребую алименты и попорчу им сказочную жизнь, — объясняла официантке Гале. — Все должны платить. Ничто просто так не проходит. Не забывается.

Галя кивала:

— Ребёнка в отместку рожать — нездорово это как-то. Лучше аборт.

— Мы все кому-то в отместку рождены, нежеланные и поспешные. Все, за редким исключением, уж поверь.

Официантка вздыхала:

— Не боишься, что и твой ребёнок тебе потом тоже отомстит?..

Барменша Наталья смеялась:

— Пускай отцу-клоуну мстит. Я своё дело сделаю. Миссию выполню — выношу, рожу, а там как Богу угодно, или кто сейчас на небе за главного? Вот пусть и разбирается...

Мать боялась брать ребёнка на руки:

— Как неживая, — говорила, надевая резиновые перчатки, и тогда только могла смело прикоснуться к младенцу. — Это не отвращение, — убеждала себя, — осторожность это. Чтобы её не заразить и самой чего не подхватить. В сфере обслуживания работаю всё-таки, с людьми...

Наталье с какой-то непонятной периодичностью снился один и тот же сон — похороны. Она просыпалась с ощущением, что всё это произошло в реальности, и не сразу заглядывала в кровать дочери. Иногда Света напоминала о своём существовании писком. Чаще молча играла с бесшумными погремушками. День за днём. Вслушиваясь в недовольное ворчанье матери, которая наотрез отказывалась кормить грудью и сцеживала молоко в раковину, ощущая мёртвые прикосновения перчаток с запахом талька...

В детском саду Света любила играть в похороны. Дети из группы «Васильки» недолюбливали её — молчаливую, белокожую, покрытую сплошь рыжими веснушками, — поэтому с радостью принимали участие в процессе.

Света ложилась на пол, скрещивала руки на тощей груди и старалась не дышать. Дети окружали её, перебивая друг дружку, плакали и причитали. Если удавалось избежать появления воспитательницы, покойницу хоронили — обкладывали кубиками, игрушками, накрывали одеждой. Если и дальше везло, — ставили памятник из табуреток, устраивали поминки — с детской посудой из наборов и комнатными цветами.

Дома, в однокомнатной квартире, девочка пропадала большую часть времени в шкаф или под кроватью.

Мать такое поведение дочери вполне устраивало — никаких вопросов, капризов, обвинений...

А перед самой школой, в последний год детского сада, Света подавилась комочком манной каши.

Произошло это в дождливый октябрьский день за завтраком. Девочка попыталась закашлять, проглотить горячий сгусток, но он словно прилип к горлу. Света не могла ни пикнуть, ни вздохнуть, она сползла со стульчика и забила о пол ногами.

Сбежались воспитатели. Няни. Примчалась медсестра с аптечкой. Со второго этажа спустилась заведующая. Свету спасла пожилая нянечка, баба Тося, заправски взяв на руки и стукнув по спине. Злосчастный комок со шлепком выстрелил изо рта, девочка задыхалась, заскулила и весь остаток дня была центром заботы и внимания. Ей, единственной, дали добавочный стакан йогурта.

На следующей неделе, в среду, в полдень, Света сделала вид, что подавилась вишнёвой косточкой от компота, упала под стол и заколотила ногами и руками. Дети дружно застучали вместе с ней.

Ей снова дали добавки.

Мама встречалась с новым мужчиной, «без "Шевроле", но с "Тойотой Калдина", двухкомнатной квартирой, дачей в садоводстве "Родня", и "не клоуном"». Света не раз прослеживала их до дома, где жил мамин избранник. Тенью ходила с ними по магазинам и ресторанам.

Поздно вечером мама возвращалась всегда счастливая, с подарками для Светы. А утром снова уходила, оставляя на плите обед и деньги «погулять с подружками». Только у дочери не было подруг. И Света не спешила ими обзаводиться. Всю начальную школу просуществовала невидимкой. Из школы домой, наспех пообедать — и на поиски мамы по известному маршруту. Деньги собирала в жестяную банку из-под монпансье, для себя решив, что копит на чёрный день.

Потом мама сказала, что собирается выйти замуж и у Светы будет новый папа. Старый исчез из поля зрения Натальи ещё десять лет назад, когда она подала документы в суд на алименты. Оказалось, что Александр взял фамилию жены-еврейки, и они живут теперь в Израиле. Наталья в тот же день написала заявление о смене фамилии на девичью:

— И до тебя очередь дойдёт, — объясняла маленькой дочке, — пока побудь Мироновой, потом замуж всё равно выйдешь, ни к чему сейчас эта волокита с бумагами...

Света Миронова перестала дышать в ночь известия о мамином замужестве. Наталья, напевая, долго не могла попасть ключом в замок, когда ей это удалось, ввалилась, смеясь, в коридор, на часах 00:30, а у дверей в зал, в полумраке, распластанное тело дочери.

Всё ещё пребывая в крепких объятиях будущего мужа, ещё ощущая его аромат и покалывание сососов на груди, Наталья перестала смеяться, отрыгнула, разулась, подошла к дочери, позвала её. Девочка не отозвалась.

— Только не сейчас! — воскликнула Наталья. — Раньше надо было это делать! При родах! — Схватила за плечи, тряханула: — Не смей портить мне личную жизнь! — Шлёпнула по лицу. — Не смей, маленькая сучка. — И ещё пощёчина. — Не смей!

Света выдохнула, вырвалась из рук матери, упала:

— Дай мне спокойно умереть! — закричала.

Максим Симбирев



Жертва

Повесть

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

(Матф. 5:4)

О чём, о чём он думал? О недавней поимке?
О моей матери, о нас? О врождённой странности
человеческой жизни, ощущение которой он
таинственно мне передал?

Владимир Набоков. «Дар»

Квартира мамы

Мама стоит сама в себе, не смотрит на меня, не отгоняет мошку, кружащую рядом, моет посуду. Тарелки бьются друг о дружку, их звон отзывается в ушах. На кухне душно и влажно. Из кастрюли убегает вишнёвый компот, кастрюля с гречкой бурлит смирно. Я залпом проглатываю кипячёную воду, со стуком дрожащей рукой ставлю на стол стеклянный стакан. *Сынок, есть запах?* Обнимаю со спины, внюхиваюсь в плечо. Несвежая футболка. Нет, мама, ты не пахнешь. Можно, посуду помою? Пожалуйста. Просто дай я помою за тебя. *Мне нужно руки отмыть, иди — поздоровайся.* Хорошо. Мои беспомощные лапы самовольно скрещиваются на груди. Стою молча, зубы впиваются в трещину нижней губы, всасываю кровь. Вслушиваюсь, как вода бьёт по посуде. Озираюсь по сторонам, раньше я никогда не замечал, насколько мамина кухня уютная, сколько рамок с нашими фотографиями развешено по стенам, сколько безделушек с черноморских курортов расставлено и сколько магнитиков с одним только Геленджиком на холодильнике: четыре, оказывается, а не один. И главное — на кухне приятно пахнет мятным освежителем.

Шаркаю тапочками, иду в родную комнату. Нужно поздороваться. Чем ближе к комнате, тем больше затхлого, спёртого воздуха, от которого с непривычки либо тошнит, либо обжигает слизистую, либо кружится голова, либо всё вместе. За дверью играет детское радио. *В каждом маленьком ребёнке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по двести грамм взрывчатки или даже полкило! Должен он бежать и прыгать, всё хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвётся — трах-бабах, и нет его!*

Симбирев Максим Витальевич родился в 2000 году в Саратове. Окончил Саратовский юридический колледж при СГЮА, учится в Институте филологии и журналистики СГУ им. Чернышевского. Печатался в журналах «Нева», «Знамя» и др. Участник мастерских АСПИР. Живёт в Саратове. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Я глубоко вдыхаю, поворачиваю липкую ручку и захожу.

Моя когда-то укромная комната, когда-то мой рай, теперь потерянный, где Максимка без конца разбрасывал каменные козявки по углам, играл в компьютерные игры, мастурбировал так много, что потом в туалет было больно ходить, превратилась в маленькую больничную палату со смесью запахов дерьма, мочи и уксуса, и, конечно же, гнилой капусты, особенно — гнилой капусты! Этот запах охватывал, облегал и скоростным поездом нёсся в мои ноздри.

Сажусь на стул рядом со специальной кроватью, на которой лежит парализованная бабушка Вера. Из-за её коротко стриженных волос Максимке кажется, что перед ним лежит не бабушка, а седой морщинистый мальчик. У бабушки Веры на левом краешке губы всегда болячка, потому что мышцы лица не двигаются и, как ни удерживай салфетками, часть еды вытекает на кровать. Всегда мокрые, потерянные, как у близорукого, снявшего очки, глаза таращатся в пустоту — то ли детские, то ли старческие. Всё-таки глаза старческие, их выдаёт морщинистое застывшее лицо. На тоненьких ручках кожа похожа на сушённый инжир, сквозь неё просвечивают тёмно-синие вены-веточки. Ничего, абсолютно ничего не осталось от моей бабушки Веры. Ничего, абсолютно ничего не осталось от моей комнаты: все игрушки, амулеты и безделушки покоятся на свалке, тетради с рисунками, с пятёрками, медали за лёгкую атлетику чахнут в тумбочке, половина одежды, которую я не забрал, спрятана в шкафу, в маминной комнате, чтобы не провоняла. Когда я попросил маму достать мои рисунки, она сказала, что это невозможно. Моё неумелое, но искреннее, а потому настоящее творчество покоится в деревянном гробике, а чтобы открыть его, нужно убрать коробки рядом с тумбочкой, стоящие до потолка, сгрести всю паутину и пыль — времени и сил на это нет. Да и рисовать Максимка сейчас не может, читать тоже не может, всё это кажется вторичной системой знаков, бессмысленными линиями и буквами, пока в моей комнате лежит живой труп. Больше не получается познавать мир через историю и искусство. Остались только серые шторы — защита Максимки от внешнего мира — и выцветшая Казанская икона Божьей Матери на подоконнике, которая каждый раз с подозрением смотрит на меня.

«Бабуль, привет, ну ты как?» Кивает. «Как себя чувствуешь?» Молчит. «Нормально?» Молчит, бессмысленным взглядом пялится в потолок. «О! А давай я Пушкина почитаю, ты же любила “Евгения Онегина”! Кивни хоть, что любила... ну, как там было? “Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог...” Ой... может, “Преступление и наказание?” Как тебе Раскольников? Нравился же, да, помню же, нравился! А меня им в школе мучили, а теперь я всех мучаю. Ты чего морщишься? Не хочешь Достоевского? Тогда давай Чернышевского. Мама сто раз рассказывала, как ты её изводила. Земляк же! Саратовский! Наша гордость! Грех не знать! Господи, а почему ты морщишься? Что-то я вавакаю и вавакаю, как ты говорила».

Давится. Она давится слюнями. Сейчас задохнётся. Зажать ей нос или нет? Нет, точно не буду. *Кашель. Кашель. Кашель.* Бабушка морщится, будто ей в глаз летит муха. Я же не убийца, но и не спаситель, я наблюдатель. Наблюдаю, как дохлает бабушка. Скорее забирай её. Скорее. Чего медлишь? *Кашель, кашель, кашель.* Слово несёт разрушительную силу, особенно прямое слово Максимки, без фокусов, без плетения. Чётко и прямо — забирай её. Почему же не умирает? Это же нужно. *Кашель, кашель.* Человек сначала рождается, а потом становится кем-то, выращивает сам себя, а я ещё не вырастил, не успел, а мне уже мешают. Неужели Ты наверху не видишь, что мне мешают жить для себя, мешают понять свою сущность, стать себе равным, не быть функцией? *Кашель.* Я хочу быть свободой, раз всё вокруг — функции; разве

Ты не видишь мои усилия, мою дыру в душе размером с Тебя? Почему же бабушка не умирает? Откашливается. Она откашливается. Очень жаль.

В очередной раз мне не удалось спасти маму и стать себе равным. Отец и бабушка оставили её, а я, Максимка, не поротый и не воспитанный мужской рукой, — единственный защитник, защитник от бабушки.

На переходах, когда я брал маму за гладкую руку и вёл через дорогу, моя ладошка потела от тепла даже ранней весной. Максимка шёл всегда впереди. И если собьют, то только меня. И если хоть одно железное чудовище сигналило, я оперативно выкачивал слюну с дёсен и плевался в его сторону. Больше всего ладошки потели, когда мама вставала на подоконник и мыла окна. Максимка подбегал к ней и, не дотрагиваясь до её ног, обхватывал их в кольцо.

Ничего не было для Максимки лучше, чем накручивать на указательный палец мамины мокрые волосы, прижиматься к ним носом и вдыхать запах травяного шампуня. Ничего не было приятнее, чем вставать в школу от тонкого голоса: «Максимка, просыпайся». Ничего не было приятнее, когда она шёпотом читала «Отче наш», а после трижды целовала мой лоб. Ничего не было вкуснее маминого вишнёвого компота.

Каждый раз, когда я оставался с мамой наедине, мне представлялось, будто я её цепной пёс — овчарка или стаффорд. Со стороны я, скорее, казался пекинесом. Когда мы заходили в лифт с каким-нибудь мужиком, знакомым или незнакомым, худым длинным неуклюжим обалдуем или потным тестостероновым слоном, занимающим всё пространство, Максимка сжимал зубы и кулаки. Ноготь среднего пальца разрезал линию жизни на левой руке. Я часто представлял, как нападают на мою нежную маму, а я, теряя равновесие, чувствуя ненависть в кулаках, врываюсь со спины или бью сразу в живот, валяю на пол и забиваю до смерти.

Когда торгаша на местном рынке, пропахшем гнилыми овощами и несвежим мясом, пытались обвести вокруг пальца маму, мне хотелось отомстить. Я приходил на следующий день и незаметно воровал фрукты и овощи, что попадались под руку, пока очередной обманщик отвлекался на покупателей. Ещё больше мечталось разнести, разбросать расставленные ящики, попасть в лысую макушку яблоком, чтобы больше ни одна сволочь не посмела обдурить маму, но тогда, вероятнее всего, Максимку бы избили, а это расстроило бы её.

Мама всю жизнь жертвовала собой, отказывалась от любви ради меня, водила на кучу секций, говорила, что Максимка самый лучший. Я выучил каждое её действие. Более того, выучил все мамины фразы и предугадывал, какую, и когда, и в какой ситуации она скажет. И в этом я считал себя фальшивкой, потому что умел красиво манипулировать. Я занимался лёгкой атлетикой только ради того, чтобы мама была довольна. Обгонял всех и рвался на каждую тренировку, чтобы стать лучше, чтобы стать быстрее, ради неё. Бежал домой с медалькой, чтобы обрадовать маму. Бывало и так, что Максимка прятал медаль в кармане, говорил, что ничего не выиграл. Мама всё равно гладила по голове и говорила, что Максимка самый лучший, но этого было мало, я чувствовал фальшь, чувствовал, как внутри она злится, как хочет, чтобы я победил, стал лучшим. Лишь на следующий день я показывал медальку, и мама радовалась вдвое больше.

Максимка был уверен, что спасёт маму в любой ситуации и будет радовать её всегда. Но прежде всего я — неврастеник, и у меня не получается действовать как опытный шахматист в трудной партии.

Но мама бросила меня. Сказала, что я уже взрослый. Что нужно жить одному. Нужно учиться заботиться о себе самому. Когда она выгнала меня из дома и отправила

жить в бабушкину квартиру, спасти маму стало чем-то невозможным. И в моей комнате теперь поселился другой пупс, только очень старый.

Теперь мама ухаживает за своей мамой, а семнадцатилетний Максимка страдает, и больше всего от беспомощности. Не ходит в школу, а у него выпускной год, экзамены скоро. Максимка брошен на убой. Враги: пыль, голод. Инструменты: пылесос и плита. Нужно справляться и побеждать. Но пыль и голод — не главные враги Максимки. Главный враг — это бабушка, и пока она жива, мама не будет счастлива, следовательно, не будет счастлив и Максимка.

Бабушка — чужая, тяжёлая и сморщенная, вонючая. Мама — родная на ощупь. Родная по запаху. По звуку. По вкусу. По сердцу.

За окном сыро. Господи, мой вид, мой неповторимый вид из окна, невероятный простор для спального района Солнечного, холмы и церковь, десятки тополей, пение сверчков по ночам. Подоконник, где я сидел почти каждое утро летом, пил холодное молоко, читал до боли в глазах, встречал солнце из-за холмов. Лучи обжигали ресницы, обжигали страницы полемики Достоевского и Чернышевского. Я обожаю, что мои окна выходят на восток, лишь одно ударное слово «восток» перемещало меня к берегам Охотского моря, и тогда я чувствовал всю могущественность русского языка.

Бабушка Вера перебирает пальцами на единственной рабочей руке. «Я скоро вернусь, не скучай», — говорит Максимка. Моргает. Млявая моя бабушка Вера никак не умирает.

Иду в мамину комнату. Ржавеют листья на цветах. Сейчас возьму пластиковую бутылку на кухне, наполню водой, полью. Запахнет мокрой землёй. Неизбежно прольётся на подоконник, немного капнет на ковёр, протру тряпкой — когда-то маминной пижамой в клеточку. Я так давно не обливал ковёр, точнее, раньше никогда не обливал, только бесился, когда мама обливала ковёр в моей комнате, пока я с одноклассником стрелял по врагам в игре. Мне тогда казалось, что мама стоит у меня над душой, мешает, и всё у меня как-то сразу переставало получаться, и Максимка дико злился. А сейчас у неё нет времени поливать цветы, мама меняет памперсы бабушке и заталкивает в неё еду, а я до сих пор дико злюсь, только теперь уже от собственного бессилия. Пыльные полки на стене тоже протру. Пусть позавчера протирал, протру ещё, в заставленной вещами комнате пыль образуется быстрее обычного.

Мои книги, моя эволюция, все они хранятся в одном месте, корешок к корешку, выше и ниже. Все протру: серого Пушкина, тёмно-синего Лермонтова, много-много тёмно-коричневого Толстого, два чёрных Чехова, всё моё, всё читано. Мама хотела, чтобы я читал много книжек и дико бесилась, когда я не мог выучить стихотворения Пушкина. А маме это внушила бабушка — что нужно много читать.

Вот стоит «Конduit» Льва Кассиля, моего земляка, левее — кумир всех китайцев Островский, который Николай, ещё левее — три тома красного графа, почти что земляка, а название его романа, будто про мою жизнь, — «Хождение по мукам»! Чернышевского, Достоевского и паука-Набокова я забрал с собой, не знаю, ругаются ли на меня Фёдор Михайлович и Владимир Владимирович с того света, что стоят рядом, ещё и с Чернышевским, — пусть это зовётся маленькой мстью за моего большого честного земляка Николая Гавриловича. Продать бы все эти книжки — разбогатею тысяч на двадцать и куплю памперсы для бабушки. Хотя нет, ничего бабушке не достанется. Куплю маме цветов.

Чёрные ворсинки застряли в бежевом ковре, пылесосом не соберёшь, веником не выметешь эти ворсинки, они как чёрные точки на сальном лице. Сажусь на корточки — хруст коленей — и собираю, словно землянику в лесу. Собираю и тонкие длинные волосы.

Мама заходит в комнату.

Ты чего ползаешь? Мусор собираю. Позавчера собирал. Гречку будешь? В школу ходил? К экзаменам готовишься? Пока не отдашь бабушку в приют, я в школу не пойду. Школа — для дураков, мама. На ЕГЭ мне всё равно. *Какой приют, дурак маленький? Хорошо. Не сдавай ЕГЭ. В армию пойдёшь, как твой папаша, а там, глядишь, ещё одна Чечня будет. Ты должен учиться, а я как-нибудь справлюсь.* Нет, это ты меня заставляешь, не хочу. *А что ты будешь делать? Ползать? Рисовать каляки-маляки?* Я буду историком, но настоящим, не функционером, а в универе функцинеры, они мне навяжут чужую логику, чужие идеи, чужие ценности. А если у меня отец в Чечне пропал, как думаешь, смогу я воспринимать историю так, как они преподают? Мам, когда она умрёт? Мам, я не могу один. Мам. Мам! Мам...

Мама молча приносит с балкона чёрный мешок с дерьмом бабушки и вместе с ним выгаливает меня за дверь. Закрывается на два замка.

ДЫЩДАБДЫЩДЫЩДАБДЫЩ — тишина. Мама снова меня прогнала, а ведь я говорю правду. Бабушка Вера — это живой труп, тело, и нам будет лучше, если она умрёт. Моя мамочка страдает, она кормит овощ овощами. Отходы отходят в пакет, а я человек простой, я — доставщик дерьма, несу его до мусорных баков.

Осторожно беру пакет. Надавливаю большим пальцем на фалангу указательного, свободной рукой жму на кнопку лифта. Вонь разносится по всему подъезду. Открываются двери, и я шагаю в лифт. На полу разбросаны лепестки черёмухи. Только бы никто не вызвал его сейчас. Нет, это не я обосрался, это бабушка. Мама убрала, а я просто выношу. Это не от меня вонь, это от пакета несёт. Достая флакончик одеколона, всегда ношу с собой, распыляю на шею, на руки, на куртку, на пакет, по всему пространству.

На следующем этаже лифт останавливают. Худшее, что могло сейчас произойти, происходит. Дверь открывается, и я слышу приятный запах лилий, мои любимые духи. Заходит соседка снизу, тридцатилетняя красавица, чьи стоны я слышал пять лет подряд, пока жил в своём раю. И утром, и вечером, и ночью. Будто она только и делала, что сношалась. Я так завидовал её мужику, и меня так возбуждали её крики, что рука невольно тянулась в трусы. И тут Красавица видит меня такого обосранного. Это не я, — верчу головой, показываю на пакет, — это он. Улыбается моя Красавица. *Да не парься, все люди гадят. А я вообще в детстве думала, что какашки — мои дети. Я, когда, ну, процесс заканчивала, брала в руки и нянчила, а потом, ну, размазывала везде. Ха-ха-хах. А мамуля отнимала изо всех сил, говорила: «Фу! Какая гадость!» А потом она сама начала чудить, с какашками нянчиться, и орёт постоянно, я уж не кричу на неё, это же мамуля моя, это же мой родной человек любимый.* Подождите, это не вы кричите? *Это мамуля моя кричит, а я шёпотом, аккуратненько её ругаю, а сама только и делаю, что убираю и выношу.* Все эти пять лет кричали не вы? Но я ни разу вас не видел с пакетом. *А я по лестнице спускаюсь.* Вот это да! — удивляюсь я.

Мы выходим из лифта, я иду за Красавицей, слушаю цокот её шпилек и в тусклом свете подъезда пытаюсь разглядеть её задницу. А давайте погуляем, говорю я. *Нет, спасибо.* Кивнул. Забегаю вперёд и открываю Красавице дверь. Дождь слегка моросит. Вдыхаю свободный запах мокрого асфальта. А я вас провожу, вы куда идёте? Куда же вы без зонта? *Не надо.* Пожалуйста! Один раз. Я ни разу никого не провожал. Мне очень сложно, меня выгнали из дома, а вы так открылись мне, и я подумал, что мы можем... *Не надо. А за что тебя выгнали?* Я тогда рядом пойду, вы же не растворите меня и не убьёте. *Я сделаю вид, что тебя нет.* Все вы делаете вид, что меня нет, а я есть. *Хорошо, ты есть, но дальше я пойду одна.* Я понял. Только не думайте, что я какой-то не такой. Вы просто очень красивая, и мне трудно говорить с красивыми девушками. *Спасибо.* Простите меня. *Хорошо.* Вы держитесь. Всё закончится. Ваша мама не вечна. ТАЦ.

Надежда Келарева

Правдивее табуретки

* * *

Когда вокруг сплошное бездорожье,
Желают мне счастливого пути,
Любви, здоровья, уберечь, найти.
И Божий промысел почти как помощь Божья.

Куда помыслию, — рвётся, дребезжит,
Становится слепым союзом «если».
Ах, если бы сюда я не полезла!
Но жить ещё, но жить ещё и жить.

* * *

Только ручная кладь,
Только пустая клеть.
Нам ли не умирать,
Чтобы не умереть?

Всё, говорят, отдашь,
Не оберёшься впредь,
И не берёшь багаж,
И не спешишь стареть.

Очередь или ряд.
Встанешь ещё одним.
Веком — почти распят,
Богом — почти храним.

Келарева Надежда — родилась в 1998 году в городе Онеге (Архангельская область). Окончила Санкт-Петербургский государственный университет. Печаталась в журналах «Интерпоэзия», «Звезда», «Север» и др. Живёт в Санкт-Петербурге.
В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

Смеяться, кто кого переживёт.
Метафоры обшарпанный пролёт,
Окошко в жёлтую глухую стену.
— Никто-никто! Отсюда не умрёт!
— Досталось, довелось покуда даром,
Наверняка
И даром пропадёт.

* * *

Сквозь озеро зимы
Котомки волоча,
Потомком древних бед,
Наследником вины.
Но мягок каждый шаг,
Как шёпот, шерсть, щека,
Неси-неси мешок
Сквозь озеро зимы.

Не видеть ничего,
Метелью обернув
Уставшие глаза.

Ещё совсем чуть-чуть,
И будут пеленать
В сплошной февральский снег
И заново любить,
Другое имя дав.

* * *

Колонка ржавая. Замёрзшая вода
Вокруг неё стеклянными буграми.
И лай собачий где-то рядом с нами,
И пуще обещают холода...
Огромная морозная луна
Велит не уезжать, зовёт остаться.
И думаешь, какая глубина
Развёрнутого неба в минус двадцать!
И думаешь, какая простота:
Церквушка, лес, поля, дома, сугробы,
Которые на стыке «здесь» и «там»
Застыли, чтобы нас услышать, чтобы...

* * *

Рассасывая бессонницу,
Как таблетку,
Нащупаешь
Ограниченность
Табуретки,
Её пограничность,
Проводниковость,
Голую грубость
И грубую голость.

И ничего нет правдивее табуретки,
И ничего нет надёжнее табуретки,
И ничего — безнадежнее табуретки.

* * *

Это мы, это мы за столом, это мы, это мы
За прозрачным столом замолкаем, прозрачны.
Студёная
В дом заходит вода, чтобы контуры наши размыть,
Наше горе и счастье, одно от другого рождённое.

Ничего-ничего, это мы, это мы, это нас
Завела, завлекла, закрутила какая кривая.
Хорошо, на студёную воду синхронно ложась...
Только я запинаясь за что-то и не успеваю.

* * *

То ли умерло, то ли марево.
Отголоском, не голосом,
Проговаривать:
У лисички боли
(Нет, пожалуйста, не боли!),
У собачки боли
(Нет, пожалуйста, не боли!).
И у них не боли, и у нас не боли,
Не боли-не боли-не боли.

Но останется
Воспалённое
Белой простынёй перематывать,
Через ночь валуном перекачивать,
Ожидая, что кто-то подует.

Даша Благова



Похоронный Отряд Бездомных Животных

Рассказ

Агата познакомилась с Настей и Колей в конце четвёртого класса, когда им всем было по десять лет. Город, где жили Агата, Настя и Коля, вытягивался сосиской между двумя горами и вмещал в себя четыре школы, одну поликлинику, один рынок и двадцать два санатория. Город-сосиска не имел торгового центра, парка с аттракционами, большого батута и стадиона, зато был со всех сторон сдавлен лесом. Дети в городе-сосиске всегда скучали и после школы проваливались в компьютеры до тех пор, пока с работы не придут родители.

В конце мая Агатин компьютер закашлял и умер. Тогда она открыла дверь своего большого дома и пошла наверх по улице Змейской. Улица ползла от единственной площади с плешивым памятником, прогрызалась через Агатин сытый квартал, где все дома были большими и краснокирпичными, ныряла в кусок леса, из него прыгала почти вертикально и стелилась по предгорью между серыми и старыми домами. Оттуда навстречу Агате пошли Настя и Коля, которые искали что-нибудь съедобное и майское в чужих огородах. Агата, Настя и Коля встретились посередине их общей улицы, поназывали свои имена и стали дружить. Их дружба стала происходить возле заброшенного ларька у леса, Агата назвала это место Средиземьем, потому что однажды смотрела с папой «Властелина колец», и Коленастя согласилась, хотя про «Властелина колец» ничего не знали.

На второй день дружбы с Коленастей Агата прикатила к Средиземью свой велосипед и взяла две пачки чипсов. Коленастя не заметила велосипед, пока не съели чипсы. Мы не умеем ездить, сказала Настя, дохрустев чипсовыми крошками со дна пакета. У нас нет велосипеда, сказал Коля и высыпал чипсовую пыль в рот. Коленастя были непохожими друг на друга двойняшками и часто говорили «мы». Тогда велосипед нам не нужен, сказала Агата и больше ничего к Средиземью не прикатывала.

Даша Благова родилась в городе Минеральные Воды, училась на журфаке МГУ. Публиковалась в журналах «Дружба Народов», «Юность», «Прочтение», коллективных сборниках и альманахах. Автор романов «Течения» и «Южный Ветер». Роман «Южный Ветер» вошёл в длинные списки премий «Национальный бестселлер — 2022» и «Ясная Поляна — 2023». Участница проектов АСПИР. Живёт в посёлке Железноводский (Ставропольский край).

В «Дружбе народов» дебютировала в 2021 году (№ 8).

Средиземье было застелено побитым бетоном, между его осколками иногда выпрыгивала лава, а иногда осколки становились льдинами. Вокруг Средиземья пушилась и пугалась трава, мрачный лес, зелёный водопад, водоросли и ядовитые черви, которых нельзя касаться. Но чаще всего трава становилась супермаркетом, какого в городе-сосиске никогда не было. В траве Агата, Коля и Настя находили бутылки, стёклышки, упаковки, блестящие штуки, резинки, шины, провода. Сначала в Средиземье был только пень-стол и шины-стулья, но когда на городские школы навалилось лето, застройка Средиземья пошла быстрее. Теперь там были навес-полиэтилен, полки-деревяшки, гирлянды-упаковки и главная площадь с бутылочным фонтаном.

Коленастя стали первыми близкими друзьями Агаты. Она вся была дёргающийся проводок, трепещущая мишура: Агата ела быстрее папы и за четвёртый класс разбила больше тарелок, чем за всю жизнь готовящая обеды-ужины мама. Агата подавляла своей энергией всех вокруг и могла придумать игру из одного лишь камня. Но как только начиналось пересчитывание, иерархирование и признание Агаты главной, она убегала. Из-за этого её считали странной и не достойной дружбы. Однажды учительница природоведения показывала всякие необычные камни: колючий кварц, карамельный сердолик, чёрный и по-жучиному блестящий оникс. Потом учительница достала из лотка ржаво-огненный, тигристый, самый красивый, что видела Агата, камень и сказала: «Смотрите, это агат, легко запомнить, потому что он рыжий, как наша Агата». На Агату вдруг посмотрели все глаза, что были в классе, в её сторону повернулись все головы. Агата поулыбалась, подпрыгнула, содрала с подбородка болячку и выбежала из класса. В Средиземье, к счастью, не было центров и предводительств, так что проблем с Агатиными сбежаниями тоже не было.

В бетонных трещинах Средиземья ползали жуки, оранжево-чёрные, просто чёрные, слегка зелёные, муравьиные. Это жучиная магистраль, сказала Агата, и Настя с Колей согласились. Как-то они провели два часа, всматриваясь в межбетонные передвижения и пытаясь отыскать жучиные пункты А и Б. Ой, беденький, сказала Настя, и все посмотрели в щель, над которой она нависала. Там не двигался жук-пожарный, и его все обползали стороной. Надо его лечить, сказал Коля. Агата нашла пробку от пластиковой бутылки, Настя сорвала одуванчик, Коля положил жука в пробку и заткнул жёлтым цветком одуванчика. Через несколько минут одуванчик убрали, и тогда Настя заверещала, Коля запрыгал, а Агата обежала их три раза. Красно-чёрный жук дёргал лапками. Агата сказала, что ему нужна кислородная маска, и подула в пробку. Затем жука выпустили, и он похромал в свою магистраль. Так в Средиземье открылся жучиный госпиталь, в нём было десять коек-крышек и много разных лекарств для разных случаев: мелкоцветных, крупнотравных, душистых и без запаха. А ещё морг из двух спичечных коробок.

О том, что случается вечер, Агата, Коля и Настя узнавали по золочению бледного утёса, который торчал напротив их горы. Потом золотилась вся противоположная гора, и только когда начинал рыжеть загнутый кончик средиземского тополя, Агата собиралась домой и шла вниз: иногда улица Змейская опадала так резко, что пальцы сплющивались в сандалиях. Возле дома Агата выкапывала из горшка ключи, отпирала дверь и каждый раз замирала перед домовыми внутренностями. До того как стать уличной, Агата не замечала, каким гладким и глянцевым было её жилище, придуманное

мамой, утверждённое папой, обставленное ими обоими и натираемое приходящей раз в три дня тётёй Лидой. Агата сразу же, на пальцах, проскакивала в ванную и смывала с себя приключения. Потом грела ужин, мыла за собой тарелку, иногда её разбивала, и садилась ждать маму или папу. Вместе в не-ночное время они приходили редко, чаще по очереди.

Мама и папа Агаты занимались зарабатыванием денег, и больше ничем. Они вели списки всего на свете, потому что ни одно домашнее дело не влезало в их головы, затопленные работой. Некоторые списки, например, с продуктами, иногда отдавались тётё Лиде, чтобы она готовила, если мама не может. Однажды мама пришла домой, обняла Агату, поцеловала, принюхалась к волосам и сказала: «Тётя Лида жаловалась, что ты всё время где-то гуляешь. Я беспокоюсь, ты же раньше была домашней». Тогда Агата зажмурилась и выплонула, что теперь у неё есть лучшие друзья Коленастя, они двойняшки и живут почти совсем на горе. Мама помолчала, похмурилась. «Я же знаю их маму! — вдруг Агатиная мама улыбнулась. — Мы сотрудничали с её заводом и даже созванивались после родов, но в декретах потерялись». Мама добавила, что надо бы им с Коленастинной мамой снова приятельствовать, раз дети так дружат.

Про родителей Коленастя Агата почти ничего не знала, но как-то поняла, что мама их не работает, в доме никакие пожилые женщины вроде тётё Лиды не убирают, а ещё Агата два раза видела их папу, взбирающегося по Змейской улице в серые нагорные дома. Руки Коленастинного папы были большие и в кровавую сеточку, ногти чёрные, лицо в серых каплях, а брови жирные и лохматые. Он махал Коленасте, они махали в ответ, никто ничего не говорил, и все продолжали заниматься своим. Через три дня, то есть через два вечера с папой, мама пришла домой и сказала, что у неё не получается приятельствовать с мамой Коленастя. «Странновата она стала, — сказала мама. — Не от мира сего». Но мама всё равно решила, что лучше пусть Агата играет во дворе Коленастя, потому что их мама не работает и сможет за ними присмотреть. «Только ни в коем случае не ходи в уличный туалет, если он у них остался, — сказала мама. — Там могут быть осы и прогнивший пол, только так провалишься».

На следующий день Агата, Коля и Настя уплыли из Средиземья на эльфийской ладье, прихватив с собой несколько самых красивых бутылок. У нас полно всякой всячины, сказал Коля. А трава ещё выше, сказала Настя. Они тоже жили в большом доме, он был немного меньше Агатиного и походил на него двухэтажностью. В остальном всё было противоположным. Коля и Настя провели экскурсию: первый этаж был непричёсанный, весь разлохмаченный, на полу кухни стояла коробка с мультиваркой, не распакованная, но с паутиной в три слоя. В комнату Коли и Насти толпилось много игрушек, дорогих и поблёскивающих, но тоже в основном не распакованных. Бери, если что-то нужно, сказала Настя. На лестницу Агату не повели, потому что проход на второй этаж был затянут пыльным полиэтиленом. Наверху нет ремонта, сказал Коля. Но нам и тут места хватает, сказала Настя. Также Агате показали туалет и разрешили заходить туда в любое время. Мама Коленастя была в своей комнате, к ней стучаться не стали. После экскурсии Агата, Коля и Настя вышли наружу. Вместо двора или огорода там был сплошной луг, разрезанный каменной дорожкой и примятый в нескольких местах уличным туалетом, мангальной площадкой, досками, строительным мусором и горой из огромных колёс.

К концу июня, когда случился переезд, Агата начала читать «Гарри Поттера» между смыванием с себя приключений и приходом мамы или папы. Поэтому, раскладывая вокруг колёс бутылки из Средиземья, Агата сказала, что теперь они живут в Дырявом Котле. Но Настя и Коля не читали и не смотрели «Гарри Поттера», они даже не знали, что такое «котёл». Это как кастрюля, только круче, сказала Агата. Тогда пусть наша крепость и называется кастрюлей, сказал Коля. Пусть будет Старая Кастрюля, котёл мы не запомним, сказала Настя.

Мама коленасти действительно всё время была дома, но совсем не смотрела за детьми и занималась какими-то своими бесшумными делами, в основном в компьютере. Однажды Агата спросила, почему их мама такая тихая. Она на больничном, но раньше работала на заводе и была там важной, сказал Коля. Только мы этого не помним, потому что завод испортил маму, когда мы были маленькие, сказала Настя. Папа говорит, что раньше мама была весёлая и пела в грузинском хоре, сказал Коля. Ну, а теперь невесёлая и даже заразила папу, сказала Настя.

Коля и Настя проживали на улице все свои дни. Ещё до Агаты они сделали крепкий шалаш из досок и металлических листов, уложили там фанерный пол, закрыли его одеялом и сложили внутри все фонари, что нашли, правда, ни один из них не работал. Коля и Настя ходили только в уличный туалет и мыли руки без мыла под дёргающимся огородным краном. Агата, как и обещала маме, делала свои дела только в доме. Раз в несколько дней она видела Коленастину маму, худую и голубоватую, иногда та говорила «здравствуй», но чаще не замечала Агату. Однажды вечером, перед уходом домой, Агата забежала по-маленькому и заметила, что дверь в комнату коленастиной мамы открыта. Агата, конечно, заглянула: перед пёстрым экраном сидела женщина в ночнушке и двигала только рукой. Под её кистью щёлкала мышка, с каждым щелчком изо рта экранной лягушки вылетал шарик и лопал другие шарики такого же цвета.

Агата сделалась всегда-голодной, потому что от Дырявой Кастрюли до её дома было сильно дальше, чем от Средиземья, и она совсем не забегала на обед или перекус. Коленасти не голодали, они просто вставали посреди дня и шли на заброшенные дачи, а когда в июле появились абрикосы и яблоки, им стало совсем сыто. Но Агата к такому не привыкла и спросила, почему их никогда не зовут на обед. Мы только завтракаем и ужинаем, обед мама не готовит, сказал Коля. Просто папа завтракает и ужинает дома, сказала Настя. Мама Агаты раз в неделю привозила в Старую Кастрюлю всякие продукты, но из них ничего не готовили. Дома Агата врала, что питается хорошо и за одним большим столом с Коленастей и их мамой.

В середине лета обитатели Старой Кастрюли учредили Клуб Любителей Ящериц. Ящерицы часто прошмыгивали по каменной дорожке придомового луга, иногда насакивали на пупырчатые от комаров ноги, бывало, усаживались на тракторные колёса и смотрели в солнце. Агата, Настя и Коля решили сначала любить одну конкретную ящерицу, окружить её заботой и с помощью волшебных трав сделать сильнее и, может быть, даже умнее. В тот же день Агата поймала ящерицу и назвала её Гермией, а Коленасти сунули её в двухлитровую бутылку, которую заранее выстлали изнутри мхом, травой и камешками. Закрутили продырявленную крышку. Сели писать кодекс в новой тетрадке. Любить, охранять и уважать ящериц. Не вредить

ящерицам, даже если это будет стоить нам жизни. Стараться сделать ящерицу сильнее и умнее любыми способами. После этого в бутылку пихнули несколько волшебных цветков, налили немного воды, чтобы мох был влажным, и снова закрутили крышкой. Когда вся противоположная гора зазолотилась, Настя спросила, а что получится, если ящерица станет огромной. Наверное, динозавр, сказала Агата. Главное, успеть пересадить её в пятилитровку, сказал Коля. Бутылку с тихой, чуть ползающей туда-обратно ящерицей положили в штаб, то есть в шалаш, и разошлись по домам.

Когда утром Агата пришла в Старую Кастрюлю, лица Коли и Насти, особенно в окологлазье, розовели и поблёскивали. Агата всё сразу поняла и тоже заплакала, они втроем обнялись, а после сели на колёса и решили, что Гермиону нужно похоронить в красивом месте и, наверное, прямо в её пластиковом доме. Агата вылезла из штаба с бутылкой, прижатой туда, где колотится сердце, а Коля и Настя встали по бокам. Процессией, они пошли вверх, где кончалась Змейская и где никто из них пока не бывал.

Над Агатой, Колей и Настей навис лес, он становился темнее и понемногу стирал тропинку, которая, отползая от больших камней, всё время подпрыгивала. Не заблудиться бы, сказала Настя. Давайте кидать листья, чтобы по ним выйти обратно, сказала Агата. Остановились. Агата держала пластиковый гробик, а Коленастя принялись ощипывать подрагивающее дерево. Потом пошли дальше, добавляя свежую листву в тропиночную, засохшую. Душно пахло разноцветьем, грязной водой и грибами. Коля и Настя сделались совсем тихими, Агата тоже молчала, но шумела всем телом, потому что дёргалась больше обычного, спотыкалась и делала шаги разной длины. Тропинка увела совсем вверх, на площадку, за которой был свет. Агата, Коля и Настя, хватая друг друга за ладони, вытянулись к свету и ещё через десяток шагов нашли себя на утёсе.

Верхушка утёса, на которой они оказались, была вся травянистая и бездеревная. Противоположную гору было видно всю, а ещё было видно, как в её древесно-пушистое тело врежется белый поясok из зданий. Это даже не сосиска, а кишка, сказал Коля, и все засмеялись, будто не были похоронной процессией. Смотрите, сказала Агата и показала свободной рукой чуть правее. Все перестали смеяться, потому что увидели драконью спину, горный хребет, высоченный и колючий. Никто из жильцов Старой Кастрюли не бывал там, хотя в школе только и говорили о поэте, который как раз там бывал, а потом умер за соседней горой. Вау, сказала Настя. Вау, сказал Коля. Ни фиги себе, подтвердила Агата.

Ящерицу закопали уже совсем без слёз. Вряд ли бы Гермиона сюда добралась, сказала Настя. А теперь будет смотреть в такое небо, сказал Коля. Бутылку с ящерицей пропихнули в землю и засыпали горкой, и тогда Агата, Коля и Настя легли на траву. Небо было и правда такое. Синее, как жвачка-тянучка, от которой язык красится на весь день. Как лист цветной бумаги. Как одинокая рыбка-петушок в Агатином аквариуме и как мамыны топазовые серьги, которые однажды вставляла в свои уши Агата. Надо будет поставить ей крест, сказала Настя. А она крещёная, спросил Коля. Ну, наверняка крещёная, сказала Агата. В тот момент все поняли, что Клуб Любителей Ящериц закрылся навсегда.

Агата, Коля и Настя то сидели, то лежали в нагорной траве, из которой ветер целыми днями плёл косы. Им не хотелось уходить с утёса, хотя утёс был точно не для детских тел. Хорошо, что нас никто не ищет, сказала Настя. Хорошо, сказала Агата. Они смотрели то на хребет, то на город, много молчали, а иногда говорили. А что если весь мир провалится и останутся только наш город и наши горы? Как будем жить? Хватит ли нам двух речек и двух гор? Наверное, мои мама и папа перестанут работать за горой, и тогда вы сможете играть в нашем дворе. И наш папа не будет работать, а мама, может быть, повеселеет. А ящерицы убегут? Куда им бежать, они останутся тут.

Спуск с утёса решили начать до золочения противоположной горы, хотя всем очень хотелось посмотреть на затемнение неба и дотянуть до искорок на нём. В другой раз, сказала Настя. Когда возьмём фонарики, сказал Коля. Идти в Старую Кастрюлю было легче, потому что тропинка то падала, то сползала. Настя теперь шла впереди, и когда она вдруг встала, в неё вплющился Коля. Возле Настиной сандалиии лежал серый растормошённый комок. Он шевелился и имел клюв, потому Настя и остановилась. Бедненький, сказала она. Нельзя его здесь бросать, сказал Коля. Совсем маленький, сказала Агата. Птенца назвали Бубльгумом, положили в лопушиный лист и понесли в Старую Кастрюлю.

Бубльгума посадили в обувную коробку, лечили молоком, водой и травами, кормили пауками, червями и хлебом до золочения всей противоположной горы, почти до темноты, до писка из Агатиного телефона, который приказал идти домой. Её будильник звонил минут за двадцать до прихода кого-то из родителей, чтобы она успела сунуть «Гарри Поттера» в ряд других «Гарри Поттеров», помыть посуду, потереть какую-нибудь глянцевую внутренность дома и причесаться. Агата прибежала домой и успела только смыть с себя приключения. Она обрадовалась, что пришёл папа, а не мама: папа не ковырял холодильник, чтобы проверить, поела ли Агата.

На следующее утро птенчик умер. Коля и Настя рассказали Агате, которая то выпускала, то всасывала обратно нижнюю губу, что им даже помогала мама. А потом, когда Бубльгум высоко вытянул лапы и перестал моргать, мама поводила мышкой, почитала в интернете и сказала, что настолько новенькие птички почти всегда умирают у людей дома. В этот раз никто не рыдал, слёз было чуть-чуть. Агата отыскала на придомовом лугу консервную банку, а Коля и Настя положили внутрь птичку, перевязали банку верёвкой и подсунули под неё штук десять маленьких букетиков. На утёс поднимались так же молча, но Коленастя уже не разбрасывали листья, а Агата шагала равномерно. Консервную банку закопали почти на самом краю, чтобы Бубльгум мог смотреть на лес.

После похорон, прямо на кладбище, Агата, Коля и Настя провели совещание. Решили, что лечить животных, а также помогать им стать сильнее у них не получается, поэтому надо с этим закончить. Снова то лежали, то сидели, то говорили, то молчали, в основном смотрели в топазное небо. Животные умирают каждый день, сказала Настя. Хорошо, если в лесу, здесь им спокойно, сказал Коля. А если в городе, куда их потом, спросила Агата. На помойку, сказали Коленастя хором. В Агатину голову стали острыми осколками вползать городские помойки, раскуроченные и страшные, засыпанные трупами. Мокрый котёнок с открытым ртом. Клубок из собаки. Несколько

Елизавета Волынская



Рассказы

Тула (Московский) — Москва (Курский)

Я разглядывал свои отражения в многократно колотых витражных зеркалах на кассе тульского железнодорожного вокзала. Женщина за желтоватым стеклом не торопилась выдать билет. Она недоверчиво рассматривала мой студак, будто подозревала в его подделке. Молча, с некоторой ленцой, всё-таки протянула билет.

— Спасибо, с наступающим!

Ответа не последовало...

Мороз был несильный, но я чувствовал его через тонкие осенние ботинки. Прошлогодние зимние расклеились, а новые покупать не стал. Экономия! Зиму в этом году обещали не самую холодную.

До электрички оставалось полчаса. Саша предложила зайти за кофе, чтобы согреться.

Мы прошуршали между ларьков и сунулись в один из них почти наугад.

Среди разнобоких бутылок «брендового» алкоголя с подозрительно кривыми этикетками и ржавеньким самогонным остатком на дне неуместно встал кофейный аппарат.

— Латте, пожалуйста.

— Пожалуйста!

Полная женщина-кассир оживилась, признав в нас клиентов, а не просто бедных студентов, зашедших погреться.

— А вам? — обратилась она ко мне, улыбаясь через один золотыми зубами. Я вежливо отказался.

Неровно не то забулькала, не то загремела кофемашина.

Женщина треснула по ней кулаком, это сработало.

Мы недоверчиво смотрели, как кофейная жидкость (иначе это было назвать сложно) стекала по стенкам бумажного стаканчика.

В следующую секунду холод распахнул перед нами дверь. Снежный смерч крутанулся под ногами. Мы поспешили на перрон.

Волынская Елизавета Андреевна родилась в 2001 году в Туле. Окончила ТГПУ им. Л.Н.Толстого (факультет русской филологии и документоведения, кафедра русского языка и литературы). Печаталась в журнале «Новый мир». Участвовала в Форуме молодых писателей России (Липки) и литературных семинарах АСПИР. Живёт в Туле. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

В вагоне пахло беляшами и дешёвыми бумажными сосисками, сигаретами и чуть-чуть туалетом. Местечко не из приятных.

Саша отпила кофе, а я достал термос с чаем. Без него в длительные путешествия я не отправлюсь.

Этот микроритуал я соблюдаю со дня моего первого юношеского путешествия из Липецка в Электросталь к родной тёте. Мама долго не хотела отпускать меня одного, волновалась, но всё-таки решилась. Собрала огромную сумку, бутерброды и этот смешной оранжевый термос с горячим какао.

Он, этот термос, как будто придавал всему путешествию определённую дорожную атмосферу и даже как-то вдохновлял писать о том.

Не знаю почему, но в дороге мне всегда пишется легче. Мысль несётся параллельно движению, далеко-далеко.

Мысль несётся как снежный ком, обволакивается снежными крупинками, растёт и набирает скорость — и вдруг с грохотом рассыпается о скрипучий голос контролёра.

Я со злостью предъявляю билет. Поезд продолжает движение, и мысль тоже.

Бог знает почему зимой мне вздумалось писать про осень.

Я полюбил осень в этом году, когда переехал из Липецка в Тулу. Во-первых, листья, — ну какая же красота кругом! Мы привыкли видеть их зелёными, поэтому так восхищаемся, когда они желтеют. Во-вторых, запах: только осень так пахнет тоской и печалью, но замечали, осень никогда не разочаровывает, потому что она и есть одно сплошное разочарование.

Зима может быть бесснежной, но кому нужна зима без снега? Холодное лето ещё хуже, а осень — она всегда мокрая и голая. Так же, как и год назад, и два года, и три, и когда я был маленьким и гулял с мамой в парке. Мы собирали листья для поделок мне в школу, а потом вечерами мастерили вдвоём.

ПВА клеил всё на свете, но не листья. Я проливал его на стол и на ковёр. Мама ругалась.

— А я-то что сделаю!

Потом мы пили горячее какао.

Осенью я всегда рано ложился спать, потому что темнеет рано. В моём сознании с детских лет закрепилось: темно — значит, ночь.

Во сколько солнце заходит в октябре? В восемь-девять, примерно?! Уже и не помню. С тех пор так много изменилось...

Раньше, например, я любил сочинять описания, теперь больше диалоги. Раньше любил лето, теперь — осень. Раньше мне всегда говорили, что я молодец и многого добьюсь, сейчас я вырос и ничего не добился.

Это так страшно на самом деле: из одарённого ребёнка вдруг превратиться в самого обыкновенного взрослого.

Я еду в электричке по залитым солнцем просторам. Я не писал два года. Мои мысли скачут туда-сюда, с одного на другое, и никак не могут остановиться.

Я делаю детские ошибки. Я забыл, как пишутся простые слова: «электричка», «горизонт», «бордовый», «багряный», но помню «дедлайн», «порог», «эвент», «менеджмент», «парламент».

Откуда столько каши в голове? Зачем я вообще за это всё взялся?

Не знаю! Вы смотрели «Смешарики»?

Помните, в какой-то серии Бараш искал волшебную кузинатру, дающую смысл? И мерзенько так верещал: «Да, она мне нужна!» Вот я — Бараш.

Раньше всегда считал себя Крошем, ну или на крайний случай Пином, но оказалось, что Бараш, вернее сказать, — Баран.

В проходе между сиденьями стоит женщина, у неё стоят часы. Отрешённо и женственно она морщится. Чихает. Громко извиняется. Чихает снова.

— Будьте здоровы! — говорю я и вдруг тоже чихаю.

Ну, этого только не хватало! Я заболеваю мгновенно.

Мы чихаем синхронно.

Она смеётся и извиняется, я неловко ей улыбаюсь, а на самом деле злюсь. Сашка посмеивается над нами.

Обожаю Сашку. Мы познакомились ещё на первом курсе универа, но подружились почему-то только к третьему. Хотя она всегда была мне очень приятна. Можно сказать, что я даже был влюблён в неё какое-то время. Может, даже и сейчас влюблён, хотя не уверен в этом на сто процентов.

В сущности, я всегда был чуть-чуть влюблён в любую симпатичную девушку, но никогда не влюблялся сильно и безумно.

Нежная и лёгкая, как снежинка, Саша сидела напротив меня и смотрела на такие же снежные вихри за окном. Кудрявые от природы волосы собирала в небрежный пучок на затылке. Правую ногу немного по-хамски задрала на сиденье. Ну что за загляденье!

Мы говорили об искусстве. Но только говорили. Уже больше полугода собирались на выставку в Третьяковку, да как-то всё не получалось. То сессия, то с собакой надо погулять. Собраться на какую-то вылазку с Сашей было практически невозможно, и, пожалуй, только это раздражало меня в ней.

Она с таким энтузиазмом выслушивала и принимала каждое моё предложение, соглашалась на любую авантюру, но в самый последний момент исчезала, как снежинка с ресницы.

Поезд затормозил в Серпухове. Саша мечтательно смотрела в окно и рассказывала что-то пробирающе печальное из детства. Я слушал не историю, а голос в обрамлении монотонных скрипов электрички.

— Следующая станция — «Авангард»!

Группа шумных не то ещё школьников, не то уже студентов закатилась в вагон, гоня перед собой лёгкую волну алкогольного куража.

Я снова невольно испытал досаду. Последнее время меня раздражает любая мелочь — наверное, это каждому знакомо. Мама говорит, что так сказывается авитаминоз, а мне кажется, что всё-таки отсутствие денег.

Взгляд остановился на розовощёкой девушке с яркими, кислотно-красными губами. Совсем детское лицо, неумело, по-взрослому нарумяненное и напудренное. Она смеялась громче всех, демонстрируя желтоватые в контрасте с помадой зубы. Пошловато припадала на плечо соседа и смотрела на него так увлечённо и искренне, что я невольно завидовал их гармоничной юности, хотя сам вообще-то ещё не стар.

Они что-то весело выкрикивали и матерились, так что одна старушка, недовольно бормоча, переселилась в другой вагон.

Из обрывков разговора я понял, что расписную девушку зовут Саня.

Хм, Саня и Саша в одном вагоне. Такие разные, даже странно, что они носят одно имя. Моя снежная пушинка Саша сидела, уткнувшись в телефон. Саня хохотала что было духу.

А я думал: «Смог бы я влюбиться в неё?»

В эту пошлую отвратительность, бесстыдство и хамство, в эту бесшабашную праздность. Как мама бы сказала — без царя в голове, а я бы сказал просто — юная.

— Понравилась?

Мне показалось, что в голосе Сашки проскочила ревность.

— Нет, даже наоборот, скорее... Она...

Эпитет я подобрать не успел.

Следующая сцена была действительно мерзкой.

Сашка пожала плечами и отпила кофе. Вдруг сморщилась и закрыла рот рукой. В глазах я прочитал ужас. Она протянула мне стаканчик с вокзальным кофе, на кромочке которого покойно повис дохлый таракан.

Не могу сказать, что был сильно удивлён, но Саша...

— Ты не проглотила его, уже хорошо...

Я забрал из её рук стаканчик.

Но Саша смотрела на меня так, будто увидела не таракана, а отрубленную человеческую ногу.

— Блин, я же его всю дорогу пила. Фу-у-у...

Не знаю, хотела она рассмеяться или заплакать, наверное, всё вместе. Интересно, что чувствует человек, который находит в кофе таракана?

Расспросить бы Сашку, но, боюсь, она обидится.

Вообще я достаточно брезгливый, но Сашка, только что выпившая тараканий кофе, не показалась мне отвратительной. Даже напротив, я вдруг почувствовал, что эта смешная история будет моей любимой из связанных с Сашей.

Следующая станция — Царицыно, тут Сашу встречает парень, а я еду до Курского один.

Сашкин Ваня похож на былинного богатыря Илью Муромца.

Высоченный, на две головы выше меня и на голову — Сашки. Он сразу заметен в толпе на перроне. Красная куртка — как капля крови в сером пространстве вокзала.

Сашка, прозрачная, вся будто созданная из света, целует меня в щёку и убегает. В окошко я вижу, как красная куртка её обнимает. Она виснет на ней, как котёнок, и что-то жалобно рассказывает, про таракана, наверное. В следующую секунду они оба пропадают в толпе.

Я не чувствую ни ревности, ни злости, ни грусти... только тягучую, длинную тоску, которой хочется поддаться.

Это ведь не плохое чувство — тоска. Я ни на что не променял бы её. Тоска, как ничто другое, напоминает о том, что ты человек.

Тосковать по большим городам, по панельным домам, по своему маленькому двору с детской площадкой, песочницей и горкой, где прошло моё самое лучшее детство.

Конечно, я тоскую не по самому возрасту, не по цифре, а по тем прекрасным моментам, когда был ничем не связан, хотя и мечтал об этом.

Замечали, что в детстве мы всегда играли в «проблемы». Нужно было от кого-то убежать, прятаться, а иногда и то и другое. Все мы играли во взрослость... Доигрались.

А вообще — это большой обман, что все мы когда-нибудь повзрослеем. Что вот-вот стукнет восемнадцать, и ты в один момент станешь большим, умным, талантливым и способным на всё.

С кем из вас это действительно случилось?

Со мной вот точно нет.

Просто мои игрушечные детские проблемы вышли на новый уровень.

Я всё так же должен бегать, но теперь за зачётами, по магазинам, по учебным делам, получить документы, купить стиральный порошок. Фролов звонил, опять будет просить в долг, скажу, что если зайду домой за деньгами, меня мама не выпустит, или что-нибудь в этом духе. Точнее, не мама, а хозяйка квартиры. С ней мы обычно играем в прятки, вода всегда она.

Сказать бы сейчас: «Стоп-игра». Или услышать мамино: «Иди домой, темно уже». Во сколько солнце заходит в октябре? В восемь-девять, не помню уже. Да и какая разница, если эти чит-коды теперь не работают, дайте знать, если есть новые.

После Царицыно дорога тянулась, как «LOOP» The Retuses в моих наушниках. Через секунду «Красный строитель», «Текстильщики», за ней — Курский.

Мне так не хочется выходить из вагона. Воздух морозно-прозрачный. Жжёт щёки, как Сашкин поцелуй. Я выхожу под симфонию скрипов и дребезжания дорожных сумок и чемоданов, чью-то смачную ругань и монотонный голос контролёра: «Конечная».

Глазами ищу красногубую Саньку. Не нахожу...

Я весь соткан из печали и голубоватого ясного неба. Я струюсь по крашенным в серый стенам вокзала. Отражаюсь в стеклянных бутылках, поднимаюсь табачным дымом.

Я сам себе друг, я сам себе семья, я принц, я планета, я дверь, я проход, я иду, я ничего не значу, я брошенная мелочь под ногами прохожих, но я красивый, я здесь, я живой.

Москва, Курский, конечная!

Женя, Женечка, Евгения

Есть вещи, которые даются от рождения вместе с пропиской.

Мне достался дедушкин гараж, папин жигуль, мамина ленинградская акварель. И странная инфантильная любовь ко всему мне не принадлежащему.

Ко всему наивному, абстрактному, эрудированному, рассеянному, медлительному, иногда по-детски жестокому и лживому.

Такой мой Женечка...

Женечка — моя любовь и мой любовник.

Он мягкий, чуть-чуть женственный и капризный. С вьющимися волосами, уложенными кудрявым методом, детскими ямочками, чистой кожей, голубыми глазами.

Он игриво хватается за бок, словно прикусывает беззубой ладонью, притягивает к себе и целует в глаза. Кусает за щёки и за мочки ушей. Носит мятые рубашки, постоянно забывает зарядить Айкос, отчего с виноватым видом стреляет у прохожих сигареты.

— Тебе восемнадцать-то есть? — часто слышит в ответ и всегда смущается, хотя сам вдвое старше. Курит медленно и как-то по-киношному смакует. Изящно стряхивает пепел, чаще всего себе на пальто. Закатывает глаза, когда затягивается.

Женечкину жену тоже зовут Женя. Она носит короткий жёсткий блонд, вымытый не то дождями, не то ржавой водой, чёрное пальто, белые кеды с двумя полосками. Пахнет свежим лимоном, домашней химией и чуть-чуть Женечкой.

Женечка же пахнет простудой.

Женя — эффектная женщина. Глубокие серые глаза из-под длинных ресниц смотрят внимательно, когда она конспектирует лекции по десмургии, и ласково, чутко, когда играет с сыном Матвеем.

Матвей удивительно похож и на Женю, и на Женечку. Он капризный и печальный, как отец. Такой же искренний, голубоглазый и кудрявый. Тоже любит тыкву, точнее, тыквенное пюре. И точно так же рано начнёт курить и стрелять сигареты с виноватым видом.

От матери же он забрал это усталое, брезгливое выражение лица. Выражение, которое бывает лишь в двух случаях: когда Рексик в очередной раз навалил кучу на ковёр, или когда муж ни с того ни с сего решил познакомить с любовницей.

Именно такое выражение лица было у Жени, когда я проговорила:

— Приятно познакомиться, я Евгения.

Она смерила нас обоих серым взглядом, от которого появился привкус железа во рту.

Женечка потупился, глядя то на меня, то на жену, то куда-то сквозь нас. Потупился так, как делает это муж, знакомящий жену с любовницей.

Именно в этот момент я поняла, что далеко не первая Женечкина пассия.

Это был разговор двоих. От моих же реплик здесь ничего не зависело.

Занавес поднят. Женечка заговорил...

— Вот это совпадение, представляешь! Её тоже Женей зовут. Вот если бы и Матвея мы Женьком назвали, как я предлагал! Такая путаница была бы. Как в ситкоме.

Женя молчала. Так, словно была намного старше своих лет. Красиво молчала.

Потом заговорила... Но молчание шло ей больше.

— И давно у вас?

— Полгода уже, — отвечаю я как-то виновато. Пытаюсь найти глазами Женечку, но не нахожу. Он маленький и жалкий. Он потерялся в этом парке. Слился с деревьями, травой, красной пластиковой горкой, со мной и с Женей одновременно.

— А про меня первый раз слышишь?

— Три дня назад узнала.

— Понятно.

— У нас всё серьёзно. — Произношу так, что сама в это не верю.

— У зеркала, наверное, звучало убедительнее. — Узкие Женины губы расползаются в равнодушной улыбке.

Беспомощно смотрю на беспомощного Женечку. Он мнёт в руках фантик от конфеты. Её леденцовое тело отчётливо вырисовывается за щекой. Матвей играет рядом в песочнице и кажется намного взрослее и серьёзнее своего отца.

— Кхем! — смиряю ничтожного Женечку взглядом, понимая отчётливо, что ни я, ни он не владем ситуацией и, в общем-то, ничего не решаем.

— Жень, ну да. Мы любим друг друга. Хотим быть вместе, — мямлит Женечка, посасывая конфету.

— А я макароны с сыром люблю, — парирует жена. — Ладно, хрен с вами, герои-любовники!

Женя надвигает на глаза очень тёмные солнечные очки, небрежно перекидывает через плечо чёрную дамскую сумку.

— Матвей, сынок, идём, домой пора.

— Не хочу домой, — сопливит себе под нос Матвей, удачно скорчив при этом усталое материнское лицо. — Хочу с папой играть.

— А папа с тобой не хочет! Папа теперь с тётей играет.

- Ну зачем ты так, а? — бубнит Женечка, прижимает сына к себе.
— А ты зачем так? Сколько можно-то, а? Какая уже по счёту твоя Евгения?

Немая сцена...

Через секунду фигуры Жени и Матвея растворяются в голубизне парка. До меня ещё доносятся капризные взвизги Матвея, а в ушах серной пробкой стоит прощальная фраза Жени.

— Забирай, если хочешь. Всё равно домой вернётся, кобель.

Женечка поначалу ничего не сказал, лишь проскулил, в точности как Рексик, вновь вопреки запрету насравший на ковёр. А потом хрипло промямлил:

— Извини, пожалуйста. Я только Матвея успокою и приду. Слышать не могу, как он плачет, сердце разрывается. — В доказательство разорванного сердца Женечка двумя пальцами смахнул слезу.

— Ну и зачем тогда это нужно было устраивать? Неужели нельзя было тихо развестись без этих знакомств? Она же меня ненавидит теперь. И Матвей тоже.

— Я хотел, чтобы всё по честности было, понимаешь? Чтобы она не думала, что я обманываю её.

Цветастый фантик в сильных Женечкиных руках давно потерял свой конфетный цвет и превратился в кусочек полупрозрачной неаппетитной плёнки.

— Я пойду пока, Матвея успокоить надо. Поздно уже, ему спать пора.

— Домой придёшь?

— К ужину.

Закинув измятый фантик в карман и туда же руки, Женечка, сторбившись, побрёл вдоль парка туда, где скрылись вдалеке знакомые понятные силуэты из его семейной жизни.

Вся его фигура излучала покорность и преданность. Он готов к любому исходу: что его оттакают за уши, отнимут любимую игрушку, отправят спать на холодную подстилку.

На всё готов.

Я тихо выбредаю из парка вслед за ними, как призрак. Теперь эти деревья, тропинка, детская площадка, горка и качели — всё хранит эту нелепую историю, в которой я была каким-то странным NPC, повторяющим одну и ту же фразу, не несущую информации для развития сюжета.

Папин жигуль припаркован у въезда. Заводится неожиданно с первого раза. Едет мягко, не рычит. Так же спокойно выполняет свою роль в чужой истории, как и я выполнила свою.

Женечка к ужину не пришёл. Не пришёл и к завтраку. И вообще больше не пришёл.

Он, вероятно, напился и долго умолял о прощении. Стрелял сигареты на улице, стыдливо опуская глаза, и в очередной раз проклинал Айкос. Целовал лимонные руки Жени, зарывался носом в нежные кудри Матвея, вытирая о них слёзы. Клялся, что ошибся в последний раз, что шальная мысль сбила его с верного пути, а со мной у него никогда не было ничего серьёзного. Уверял, что душой он всегда тут, с женой. Обещал сходить к венерологу.

Жалко и стыдно!

Женечка, Женечка, Женечка, Женечка.

Александра Бруй



Тридэ

Рассказы

Подарок

Мама вешала на весах, двигая туда-сюда железки. Босиком было холодно стоять. — Пушинки, — говорила. — Одиннадцать с половиной и двадцать один семьсот. Мы росли не очень.

Костик голыми дёснами мусолил горбушку, болтал ногами и всё время ныл. Я смотрела на ласточек под козырьком дома.

— Гадят! — говорила мама и чиркала по стене ножом. Засохшее чёрно-белое ссыпалось. Рядом выросшее дерево царапалось ветками в окно — до форточки ещё никак не доставало. — Не стой здесь, поешьте там!

Дома телевизор орал, Костик смотрел в него не отрываясь. Я дула нам обоим на чай. Слюнявая горбушка Костика раскисла в тарелке с мёдом. Мне расхотелось есть. Я придвинула стул к окну: за ним мама, в сарайном халате и платке, сыпала зерно под ноги. Фиолетовый петух, которого боялся Костик, всматривался в землю и копался в ней. Вдалеке на верёвке висели простыни, и моя любимая, хоть и старая, в цветок. Простыни от ветерка взлетали.

Мама насыпала зерна и стала открывать тяжёлую дверь сарая: так Боре будет хорошо дышать. Боря — наша свинья, я тайком носила ему яблоки.

Папа приехал с работы, и не один: дядя Тиен в белых носках тоже зашёл на кухню. Один раз он подарил мне настоящие часы на жёлтом ремешке, а Костику спортивный салатный костюм, поэтому не пришлось даже мой донашивать. Мы оба сразу нарядились и стали ходить так. А теперь Костик выносил ему все свои машинки, показывая, и дядя Тиен не отворачивался и играл. Он сидел на корточках:

— Моя машина едет! М-м-м-м...

Папа наклонился и хлопнул дядю Тиена по плечу:

— Я там всё приготовил, может, давай ты сам? — сказал он и почертил в воздухе руками. — Я боюсь, а ты умеешь! Раз-раз!

Александра Бруй — прозаик, редактор, экономист. Родилась в Узбекской ССР в 1988 году. Окончила Тульский государственный университет. Рассказы печатались в журналах «Юность», «Знамя» и других, в альманахах и сборниках. Участвовала в творческих проектах АСПИР. Живёт в Туле.

— Не-е, я только памагай, ты сам учица.

Дядя Тиен выпячивал зубы, как будто они ему велики. Костик смотрел с восхищением.

Мама разливала чай, и пар поднимался от сине-золотых пиалок. Было хорошо. Мёд стоял чистый. Не хотелось уходить. И всё-таки нам сказали идти к тётъ-Наташе. Тётъ-Наташа сломала шейку бедра.

— И стареньких надо навещать, — сказала мама.

Папа согласился, и дядя Тиен кивнул.

Мама быстро положила в пакет завёрнутую в полотенце тёплую лепёшку. Сказала, что сама за нами потом придёт. Костику разрешили взять с собой машинку.

Тётъ-Наташа жила через три дома. У неё, в коридоре без света, мы разулись и просто шли. В пальцы без шлёпок втыкались крошки. В большой коричневой комнате тётъ-Наташа лежала на простынях, с вытянутой ногой, как зимняя лопата. Пахло мокрым, пахло шейкой бедра.

— Пришли, внучки?

У тётъ-Наташи и внучков своих тоже не было.

— И опять выросли!

Она всегда говорила одно и то же. Просила поближе и тянулась целовать. Между бровями у неё было потно и блестело. Костику не было противно. Он рассказывал тётъ-Наташе свою жизнь.

— Петух клюётся больно и бегаёт!

— Да мы ж этому петуху! Голову отрубим!

— Вот здесь клевал!

— Суп сварим из него!

Я брала на комодике книжку. Не эту. Не эту. Вон ту: тяжёлую и цветную. Начинала вслух читать. Вот отсюда она показала читать:

— Чья-то сер-до-больная рука наки-нула плащ на его на-гое и грязное тело, и он сидел у ног Своего Спасите-ля. Узнав о слу-чивш-шемся, люди пора-зились...

За шторами, далеко на улице, завизжала и закричала свинья.

— Боря плачет! — Костик спрыгнул с табуретки.

— Читай, детка! Да это не Боря, — сказала спокойно тётъ-Наташа. — Это чужая, плохая свинья, лесная! Не хочет из сарая выходить. Читай, детка! Ты хорошо читаешь.

— ...А оттого, что при его сверше-нии... — я держала пальцем, чтобы не потерять.

Костик подбежал к окну. Палец спрыгнул, и я потеряла строчку. Костик встал на цыпочки у окна, рядом ваза упала и откатилась. Костик испугался и стал ныть.

— Не разбилась и ладно! — сказала тётъ-Наташа. — Чего плакать? Читай.

— ...Им при-чи-нена была страшная по-теря...

Громыхнул и загудел в коридоре холодильник. Я искала пальцем строчку.

— Видишь, всё! — сказала тётъ-Наташа.

Холодильник гудел, и ласточки слышно трещали за окном. Костик постоял ещё, высматривая, потом вернулся, встал рядом и жарко около меня задышал. От этой книжки голова у меня стала кружиться.

— Конфеты же есть! — радостно закричала тётъ-Наташа. — Ну-ка, давай сюда вон ту тарелку! — она тянула книжку из рук, выпячивая к столу подбородок.

Конфеты лежали слепленным бесфантиковым комком. Костик колупал их, слизывая липкое.

Мы уже отщипывали лепёшку, когда мама за нами, наконец, пришла, а в коридоре, когда сами обувались, совсем почернело. Мама одной ногой стояла в темноте, вторая нога была в комнате с тётъ-Наташей:

— Даже эти, — она показывала руками, — на колбасу! Представьте, ничего не остаётся! А мы — собакам. Вот как работают с мясом, тётъ-Наташ!

Ласточки на проводах свешивали острые хвосты, внизу рыжие куры пугливо от нас летели.

— Только поближе к кухне разуваться, я в коридоре не помыла, — мама подняла Костика на руки и дёрнула на себя дверь.

В коридоре простыни лежали по сторонам, как горки, и моя любимая лежала на весах.

— Покушаете быстренько, и я пока вымою полы. Иди, Костик, умывайся. — Спустила Костика на пол. Он поскакал. Мама вышла.

Я села на корточки у весов и тыкнула в пятно на простыне.

— Это что тут укрыто, мама?

Простыня была влажной, я её приподняла. Заголилось белое и толстое. На весах стояла голова Бори.

— Что это? — Костик оказался здесь, и я расправила как следует цветочки.

— Идём!

Папа и дядя Тиен сидели за столом. Перед ними дымились тарелки с супом. Дядя Тиен, довольный, улыбался.

— Мама, петуху голову рубить не надо! Он не будет так! — сказал Костик, засовывая в рот горбушку.

Все стали смеяться, и я.

Мама с папой эту историю не помнят, и Костик не помнит, и я не помню.

Двойная запись

Некоторые соображения по поводу бухгалтерского учёта

Есть две разные Юли, специальность в вузе — «бухгалтерский учёт, анализ, аудит». Юля-1 — это дебет, Юля-2 — кредит. Сведём баланс.

Юля-1 открывает дверцу, чтобы повесить платье. Внутри вешалка вздрагивает вмурованным крючком. Во всех отелях вешалки стали несъёмными, чтобы не воровали, но Юля-1 тянёт, задумавшись. Шкаф для одежды — как приложенная к стене кружка: хохот соседей? Что это? Юле-1 жить в этом номере всю командировку, надпись Royal на бирке, и где Royal?

А Юля-2 в двадцать лет меняет паспорт. Устраивается на работу, требования: «целеустремлённость, умение справляться с большим объёмом задач». Носит газеты, журналы, флаеры с рекламой. Скидывается на комнату. Опаздывает в университет. Вот, купила махровые носки — под босоножки. На сапоги не хватает.

— А мне тепло!

Лифтовые двери на первом этаже показывают её неопределённо: чёрное пятно волос, бежевое с красным лицо. Огромные груши в руках — это пакеты. Двери распахиваются, и выходит женщина.

— Вы туда не носите нам мусор!

Топот сапог — маркая замша чуть выше колена. Юля-2 облакачивается на пакеты и провожает глазами женщину.

Полина Щербак



Красная Шапочка не пришла в девять

Из цикла «Тайны Тенистого леса»

Глава 1. Преступная морда

Земля осыпалась, и Волк кубарем скатился на дно ямы.

— Даже не пытайся! — услышал он голос Охотника. — Где она?

— Чё те надо? — оскалился Волк. — Выпусти! Не имеешь права!

— Ты мне ещё тут поговори, — Охотник пнул сапогом землю у самого края так, что она полетела Волку в морду.

— Чтоб тебя! — Волк взвыл от злости.

Вдруг неподалёку послышались шаги. Волк наострил уши — наверху завязался спор. Охотник то и дело срывался на крик, его собеседник отвечал спокойно и коротко.

— Я знаю, это он! — стоял на своем Охотник.

Шаги замерли на краю ямы. Дневной свет закрыла собой внушительная фигура.

— Господин Волк, меня зовут детектив Дровосек, — представился человек наверху. — Я расследую исчезновение госпожи Красной Шапочки. Сейчас вам помогут выбраться наружу и проводят в участок. У меня есть к вам несколько вопросов.

Полицейский участок Тенистого леса находился у подножия Дуба-Гиганта. Двести лет назад единственная вернувшаяся с Острова Великанов экспедиция привезла два жёлудя, один из которых посадили в столице Сказочных земель, Мерхенштадте, а второй — в центре Тенистого леса. Дерево из него выросло настолько огромным, что среди его корней помимо общего холла спокойно разместились кабинеты шефа полиции и детектива Дровосека, комната для допросов и камеры для задержанных. Выше, в ветвях, находились архив и голубятня для отправки писем и срочных сообщений.

Щербак Полина Сергеевна родилась в 1991 году в республике Казахстан, образование высшее, по специальности преподаватель иностранных языков и культур. Участница «Мастерских — молодым писателям» от Ассоциации союзов писателей и издателей России в 2022 году. Финалист «Национальной премии молодых писателей 2020» и полуфиналист конкурса «Новая детская книга 2022». Живёт в Челябинске. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Дровосек зажал нос. О том, чтобы идти в комнату для допросов, не могло быть и речи. Вонь оттуда неслась несусветная. Приторно-сладкий аромат розы с едкими нотками тыквы заполнил каждый уголок — благоухали три ящика душистой воды «Фрау Золушка», подпольно изготовленной бандой домовых.

Сами домовые повысовывали свои наглые рожи из-за решётки камеры и насмехались над дежурным полицейским-троллем:

— Понаехали тут! Вали домой, зелёная морда!

Тролле Ове работал в участке по программе обмена с Северными землями всего месяц. Он отвернулся и делал вид, что не обращает внимания на обидные слова, но с каждой минутой его щёки всё больше зеленели.

— Эй ты, пузатый, оглох, что ли? — оскалился самый здоровый из домовых.

— Две недели работ на золотых шахтах за оскорбление полицейского, — бросил Дровосек мимоходом, даже не взглянув на домового, и обратился к Ове: — полиция Мерхенштадта заберёт ящики с душистой водой после обеда. Подготовь бумаги. А Вилли тебя здесь подменит.

— Слушаюсь, господин детектив, — обрадовался тролль и бросился искать Вилли, сбив по пути два стула и смахнув со стола чернильницу и стопку документов.

Дровосек прошёл к своему кабинету, пропустил вперёд Волка и Охотника и жестом пригласил сесть.

— Я при этом чокнутом говорить не буду, — сказал Волк и ткнул в сторону Охотника.

— Всё ты будешь, волчара! — рявкнул Охотник.

— Прошу вас извинить господина Охотника, он погорячился...

— Он меня схватил и в яму кинул! — Волк вскочил со стула.

Дровосек молча глянул на него, и Волк сел на место.

— Мы непременно побеседуем с господином Охотником на эту тему. А пока расскажите, — детектив пригладил свою аккуратно подстриженную светлую бороду, — что вы делали вчера в девять вечера у дома пропавшей?

— Просто мимо проходил, — развёл лапами Волк.

— Врёшь, зверина! — заорал Охотник из своего угла.

Волк возмущённо вскинулся, но ответить не успел.

— Спокойно! — прищыкнул детектив, и оба утихли.

— Тогда объясните, господин Волк, зачем вы заглядывали в окна Красной Шапочки как раз в тот вечер, когда она пропала?

— А чё к симпатичной девчонке не заглянуть? — ослабился Волк.

От этих слов лицо Охотника покрылось багровыми пятнами, вены на висках вздулись. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Волк довольно ухмыльнулся и продолжил:

— Разве кто-то меня видел с Красной Шапкой? Или я стырил чё-то?

Детектив покачал головой:

— Нет, полицейские осмотрели дом пропавшей. Ценности на месте.

— И я о том же, — Волк откинулся на спинку стула.

— То есть вы не знаете, где Красная Шапочка? — спросил детектив.

— Я вообще не при делах!

— И тот факт, что десять лет назад вы проходили обвиняемым по делу о несъеденной бабушке, никак не связан с вашим появлением у дома пропавшей?

— Да я бы не тронул бабку! — снова завёлся Волк. — Ну молодой был, глупый. С кем не бывает? Чё теперь, клеймо на всю жизнь? Меня сам детектив Золотая Борода оправдал! Или его слово для вас — ноль без палочки?

— Ну что вы. Я очень уважаю мнение моего наставника. Просто обязан уточнить.

Детектив Дровосек поднялся со стула и отошёл в сторону, чтобы не цеплять головой корень дуба, который извивался под потолком.

— Благодарю вас, господин Волк, — сказал он. — Можете быть свободны. Не покидайте пределы Тенистого Леса, пока идёт расследование.

— Вот так и отпустите его? Да он преступник, у него на морде написано! — закричал Охотник и двинулся на Волка.

Дровосек в последний момент успел перехватить его руку. Волк демонстративно придвинул свой нос вплотную к кулаку и ухмыльнулся:

— На свою морду посмотри, психованный! Ещё увидимся!

Дровосек проводил его взглядом и повернулся к Охотнику:

— Не переживайте, мы найдём вашу... эмм...

— Невесту, — сказал как отрубил Охотник.

— Конечно, — согласно кивнул детектив. — Невесту. Вы сказали, что вчера сопровождали на охоту графа из Белого замка с самого утра и до семи вечера. А в девять должны были встретиться с девушкой, но она не пришла. Всё верно?

— С невестой, а не просто с девушкой, — отрезал Охотник. — Да, всё так. Зачем повторять по десять раз, мы только зря теряем время!

— А вы уверены, что она не могла отправиться... в гости к кому-нибудь? К подруге, например?

— Она ни разу не уезжала одна из дома! А тут вдруг в гости?

— Но подруги ведь у неё были?

— Вышли замуж и разъехались.

— Совсем никого?

— Ну, только эта, — нехотя буркнул Охотник. — Белоснежка. Я могу уже идти?

— Конечно, — позволил детектив.

Охотник удручённо направился к выходу. И уже стоя на пороге, оглянулся:

— Сам её найду! Я не буду сидеть сложа руки!

— Правильно, паренёк! Не доверяй тупоголовым полицейским! — высунулся домовый и тут же спрятался обратно, увидев Дровосека.

Охотник хлопнул дверью.

Дровосек подозвал к себе тролля Ове.

— Пошли голубя к графу Белого замка, — сказал он. — Уточни, как долго вчера Охотник был с ним. И если он отлучался, то на сколько и когда? Всё понятно?

— Конечно, детектив, — ответил Ове, нервно перебирая пуговицы на своём жилете. — Я вас не подведу!

Ове побежал на голубятню, а Дровосек вернулся в свой кабинет. Только сейчас он заметил на полу тонкую косичку из белых шерстяных нитей. Видимо, её выронил кто-то из этих двоих. Детектив внимательно осмотрел косичку, но не обнаружил ничего подозрительного. Он убрал её в нагрудный карман и отправился к Белоснежке.

Глава 2. Таинственный поклонник

— Присаживайтесь, господин Дровосек, — улыбнулась Белоснежка и поправила причёску. — Нечасто в гости заходит такой эффектный мужчина.

Детектив посмотрел на усыпанный крошками стул и нахмурился. Он достал из кармана носовой платок, обмахнул сиденье и только после этого сел. Стул скрипнул под его весом.

— Вы переехали от семи гномов три месяца назад, верно? — спросил он.

Белоснежка откинулась на спинку кресла и подпёрла голову так, чтобы не смазать рукой ярко-розовые румяна.

— Они, знаете ли, такие зануды, — протянула она. — А я натура творческая.

Детектив посмотрел на заваленный грязной посудой стол, на пыльный столик с засохшими цветами и чуть заметно улыбнулся. В участке ему уже рассказали, что «творческий» характер Белоснежки не выдержали ни Принц, ни гномы.

— И после переезда вы стали тесно общаться с Красной Шапочкой?

— Встречались иногда, болтали о том о сём. — Белоснежка, расправила складки на платье. — Как вы считаете, мне к лицу баклажановый? Или бирюзовый подол смотрелся бы лучше?

— Вам очень идёт этот цвет, — выстрелил комплиментом Дровосек и продолжил свои расспросы. — А о чём именно рассказывала Красная Шапочка?

— О мальчиках, о чём ещё! — всплеснула руками Белоснежка и поднялась с кресла.

Она подошла к большому зеркалу в витой бронзовой раме и принялась внимательно разглядывать своё отражение.

— Кхм, — кашлянул Дровосек. — Красивая вещь.

— А? — Белоснежка посмотрела на него с удивлением, словно только теперь заметила, что в комнате есть ещё кто-то. — А, зеркало... Да, досталось по наследству.

— Красная Шапочка... — напомнил детектив.

— Ах, да. Например, она рассказывала о своём новом поклоннике.

— О каком поклоннике? — удивился Дровосек. — Я думал, что Красная Шапочка помолвлена с Охотником?

— Это он так думает, — усмехнулась Белоснежка. — Называет её «моя невеста». А сама Красная Шапочка уже устала от того, что он таскается за ней по пятам. Тем более она встретила кое-кого недавно...

— Имя?

— Какой вы резкий, — отмахнулась Белоснежка. — Она не говорила. Да и что вы заладили — Красная Шапочка да Красная Шапочка! Расскажите лучше о себе... Как такой интересный мужчина стал детективом?

— Это долгая история, — не попался на удочку Дровосек. — Вы, похоже, не особо обеспокоены исчезновением подруги?

Белоснежка пожала плечами:

— А чего беспокоиться? Убежала с новым кавалером. Подальше от Охотника и своей бабки.

— А с бабушкой-то что не так?

Дровосек встал, чтобы размять затёкшие на низеньком стульчике ноги.

— Старуха бредит тем, что внучка поедет учиться в Мерхенштадт. Будет работать в министерстве или где-то там ещё. Выберется из Тенистого Леса, выбьется в люди.

— А Красная Шапочка?

— Без ума от своего музыканта, — хихикнула Белоснежка.

— Музыканта? — переспросил Дровосек.

— А я ведь тоже отлично пою! — вдруг вскрикнула Белоснежка и затыкнула:

Мой милый мне подарил
Букет из алых цветов...

— Благодарю, — прервал её Дровосек. — Как-нибудь в другой раз. И последний вопрос: подруга, видимо, заходила к вам недавно?

Детектив указал на кофейный столик, на котором стояли две чашки и корзиночка с печеньем.

Белоснежка вздохнула и махнула рукой:

— Была на прошлой неделе.

— Спасибо, — сказал Дровосек. — Пожалуйста, сообщите, если что-то вспомните.

Детектив направился к выходу.

Наталья Добаркина



Человековывчитание

* * *

вот она моя сторона
мощи её и немощи
режущая пальцы струна
пение всеношной
долгие провода провода
вдоль магистрали жилами
мёртвая в колодцах вода
сделает враз живыми
станций плывущие острова
рек междометия
густо разросшаяся трава
и — лихолетие

* * *

Вода не попадает в ноты,
когда стучит по козырьку.
День замерзает до икоты.
А на соседнем берегу
подожжены макушки клёнов —
контраст с синеющей волной.
Убранство праздничной иконы
напоминает город мой.
И колокольное звучание
вот-вот сорвётся, полетит.
И хоровое величание
преобразит нехитрый быт.

Добаркина Наталья Сергеевна — родилась в 1988 году в Якутии. По образованию фармацевт. Публиковалась в журналах «Огни Кузбасса», «Сибирские огни» и других. Участница международных форумов молодых писателей России «Липки» и проекта АСПИР «Мастерские». Живёт в Иркутске.

В «Дружбе народов» печатается впервые.

* * *

Оставайся на дымном ветру.
Докричись до глухого колодца.
Опалённые ветки в саду
Шелестят: «Никогда не вернётся».

Оставайся в развалинах дней,
Где печная труба покосилась,
Где ползёт по стене муравей,
а подсолнечник так и не вырос.

* * *

дни за окном меняются
рвутся календари
только не возвращаются
люди как снегири
в ветках пустуют домики
полные зимних яств
только сугробы-холмики
да ненадёжный наст
стала как будто поляя
выгорев изнутри
и тишина свинцовая
слушай её смотри

* * *

Время вышивает на халате крест,
или это кровь проступает алая?
Сколько их, покинутых нами мест.
Сколько зим и лет — не считала я.

Стоит задремать — слышу чей-то крик.
Помоги мне, Господи, вынести
синеву небес и под сердце штык
по Твоей неведомой милости.

* * *

Идёт игра на человековычитание,
закону математики верна.
И никогда нельзя сказать заранее,
кого сегодня выберет она.

Идёт война — в домах, умах, на улицах.
И чёрной нитью шьётся новый день.
Загадывать нельзя, а то не сбудется.
Но волю дай, и буду я кремень.

Алена Новикова

Самый большой в мире проводник акустического резонанса

Рассказ

Шёл дождь, и хотя таксист два раза подавал назад у тротуара, объезжая лужи, кроссовки Захарии Литвака всё равно промокли, пока он добрался до подъезда. С пальто капало на ковры и на пол лифта, и женщина с дрожащей собакой под мышкой не забыла об этом сообщить, выходя на пятом этаже.

Никто не ответил на первый звонок, как и на второй. Захария нажал на кнопку ещё раз и не убирал руку до тех пор, пока не открылась дверь. Он шагнул в образовавшийся проём, не здороваясь и на ходу снимая с плеча чехол с ракеткой.

— Я не ждал тебя так рано, — сказал Матвей.

Захария молча стряхнул с ног кроссовки и направился в гостиную. Матвей покачал головой.

— Не буду спрашивать, — произнёс он ровно. — Ничего ужасного в этом нет, Захария. Ты в этом году...

Осёкшись, он едва слышно вздохнул и прошёл за сыном. Телевизор работал на максимальной громкости, и голос диктора, потрескивая, докладывал о землетрясении в Сальвадоре. Захария сел на диван и снял с головы повязку, придававшую ему отдалённое, но необходимое сходство с Бьорном Боргом. Повязка была куплена года три назад, и из неё уже начали лезть нитки. Захария провёл рукой по махорчатому краю и положил её на журнальный столик между миской с фисташками и стопкой газет.

— Будут ведь ещё юниорские соревнования, — сказал Матвей. — В категории до шестнадцати лет — в следующем месяце же?

Захария поднял глаза и неотрывно смотрел на него с минуту.

— У тебя в кармане зажигалку видно, — сказал он.

Прикусив губу, Матвей затолкал зажигалку поглубже в карман.

— Говорю же, я не ждал вас так рано, — повторил он, словно извиняясь. — Кстати, — где мама?

Захария потянулся за телевизионным пультом и принялся переключать каналы.

— Вы с ней приехали не вместе?

— Нет, — отозвался Захария. — Мы с ней приехали не вместе.

Алена Новикова родилась в 1999 году в Москве. Окончила МГИМО. Печаталась в журналах «Дружба народов», «Новая Юность», «Прочтение».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 9.

— Интересно. — Матвей присел на край дивана. — Почему?

— Я взял такси.

Матвей приподнялся и вытащил из-под себя ракетку.

— Я бы на твоём месте обращался с ней поосторожнее, Захария. Она, на минутку, фирмы «Хед».

— «Уилсон».

— А. Да. Вижу, — он покрутил ракетку в руках. — В любом случае, мы ведь купили её только в прошлом месяце.

Захария продолжал щёлкать пультом. Отложив ракетку, Матвей откинулся на спинку дивана и закрыл глаза.

— Ты слишком серьёзно это воспринимаешь, сынок. Это всего лишь отборочная стадия.

Захария смотрел на экран всё с тем же отсутствующим видом. Какое-то время они сидели молча.

— Надо узнать, что с мамой, — сказал Матвей, наконец. — Там, на стадионе, вообще есть телефон?

Захария хмыкнул. Матвей достал из кармана зажигалку и положил её перед собой на стол.

— Пожалуйста, Захария. Не надо грубить.

— На стадионе нет телефона.

Матвей посмотрел на часы.

— Жаль. Очень жаль. На сегодня матчи ведь уже закончились?

Захария пожал плечами.

— Она, должно быть, ищет тебя.

Соединение с треском прервалось. Матвей поморщился.

— Ты что-то сказал, Захария?

— Я сказал, что мне совершенно всё равно.

— Не очень-то это красиво, сынок. Берта — твоя мать. Мы ведь говорили на эту тему — в прошлую пятницу, кажется.

Телевизор по-прежнему трещал, отображая цветастую таблицу передач.

— Что ж, — сказал Матвей. — Если не вернётся до половины седьмого, придётся мне за ней съездить.

Захария фыркнул и столкнул телевизионный пульт с колен.

— Твои? — спросил он, взяв со столика пачку сигарет.

— Да. Да, конечно. Я забыл прибраться, сынок. Давай их сюда.

Захария достал из пачки две сигареты и прикурил их от отцовской зажигалки. Затем протянул одну Матвею.

— Спасибо, — сказал Матвей. Он затаился глубоко и резко, как если бы мечтал сделать это с той самой минуты, как Захария появился на пороге. Потом сказал уже серьёзнее: — Мне не слишком-то нравится эта твоя привычка. И маме, к слову, тоже.

— Она не знает.

Поразмыслив пару секунд, Матвей улыбнулся.

— Я ей тоже никогда не говорил, что курю, — он стряхнул пепел в миску с фишашками. — Ну, минут десять-двадцать у нас ещё есть.

Не отозвавшись, Захария сделал затяжку — французскую и весьма профессиональную. Курить он начал в двенадцать лет — в тот же год, когда сбежал из частной школы и когда Берте, наконец, пришлось бросить мечты о получении им кандидатской степени где-нибудь между Ролан-Гаррос и кубком Хопмана.

— Кстати, сынок, — сказал Матвей, — что Ганин сказал о твоей игре?

Захария стряхнул пепел с колен.

— Ничего. Ничего он не сказал.

— Ты не стал с ним разговаривать?

— Времени не было. Послушай, я не хочу это обсуждать.

Минуты полторы они курили, глядя на таблицу передач.

— Ты не собираешься снимать пальто? — спросил Матвей.

— Не собираюсь.

— Ну, это просто глупо. По-моему, батареи в доме работают исправно...

Обожжёшься!

Отведя взгляд от телевизора, Захария потушил сигарету о край миски. Матвей поднялся с места.

— Должно быть, хватит. Твоя мать рассердится, если узнает.

Он убрал зажигалку в карман. Затем, поразмыслив, взял со стола и сигареты. Прошёлся по комнате, на несколько секунд задержавшись у настенного барометра.

— Сними всё-таки пальто, — попросил он. — Пожалуйста. Оно ведь мокрое.

Захария не двинулся с места. Сделав шаг, Матвей схватил с дивана телевизионный пульт и нажал на кнопку. Экран погас.

— Прекращай. В самом деле.

Он затянулся сигаретой, но та уже погасла. Тихо выругавшись, Матвей бросил окурочек в миску.

— Какой всё-таки был счёт, Захария? Что с тобой происходит, я не пойму?

— Ничего не происходит, — сказал Захария. — Абсолютно ничего.

— Хватит, сынок. Мне и без того не очень-то весело. Да, невесело. Что в этом смешного? Ты мой сын, и меня волнует, что происходит в твоей жизни.

Взяв миску в руки, Матвей принялся указательным пальцем гонять по ней окурочек.

— Я понимаю, ты устал. Почему бы тебе не принять ванну? Снимешь напряжение в мышцах, отдохнёшь...

— Кто тебе сказал, что ванна снимает напряжение в мышцах? — спросил Захария.

— Твоя мама. Не надо так на меня смотреть, Захария. Да, тебя обыграли, но не я же это был, честное слово!

— Ещё бы это был ты.

Матвей рассмеялся — довольно и с некоторой долей удивления. Вместе с женой он входил в круг немногочисленных, но преданных поклонников манеры, с которой Захария имел привычку изводить людей, когда был не в настроении.

— Конечно. Разумеется.

Он снова сел на диван и поставил на стол миску.

— Бери орехи, — сказал он. — И раздевайся. Как ты смотришь на то, чтобы вечером пройтись до кинотеатра?

— Как думаешь, сколько мне лет?

Матвей вытянул перед собой ноги.

— Думаю, что пятнадцать, хотя ты себя наверняка чувствуешь на тридцать четыре.

Захария поднял «Уилсон» с пола и, сняв чехол, поднёс её поближе к глазам.

— Кто ронял мою ракетку? — спросил он сердито. — Рама вся исцарапана.

— Ты же и уронил, — сказал Матвей. — Швыряешься ими, как будто нам с матерью они достаются даром.

Проигнорировав это замечание, Захария убрал ракетку в чехол. Матвей поднялся, отряхивая руки от ореховой пыли.

— Я всё-таки съезжу на стадион, если ты не возражаешь. Понятия не имею, почему твоей мамы так долго нет. Вдруг она села не на тот автобус?

— Не села, можешь не беспокоиться, — сказал Захария. — У неё есть тысячи дел поважнее. Отвезти полотенца в прачечную. Присоединиться к митингу за освобождение Сектора Газы. Пожаловаться в профсоюз на Артемия Малиновского, этого проклятого дурака. Открыть собственный...

— На кого пожаловаться, сынок?

Захария покачал головой. Вид у него был мрачный — пожалуй, даже мрачнее, чем полтора часа назад при объявлении счёта.

— Артемий Малиновский — что это, чёрт возьми, за имя такое?

— Что за имя... — повторил Матвей, ни к кому, собственно, не обращаясь. Он снял с вешалки плащ. Вытащил из-под телефонного аппарата ключи, сунул их в карман и добавил уже громче: — Кстати, тебе звонили.

— Мне? — переспросил Захария. — Господи. Не говори ничего. Я уже вижу по твоему лицу, что...

— Тебе звонила Марго — или об этом тоже нельзя говорить?

Захария с грохотом уронил ракетку на пол.

— Когда?

— Больше не спрашивай, почему у тебя исцарапана рама, — сказал Матвей. Он подошёл к зеркалу и ловко застегнул плащ левой рукой. — Звонила часа в два — тебя уже не было, а новости ещё не начались.

— Рита, — сказал Захария. — Её зовут Рита.

— Я помню, сынок. Перезвони-ка ей, если время будет. Она в больнице и здорово расстроена. Сломала ногу или что-то в этом роде... Я что-то не так сказал?

Захария подцепил чехол за ремень и бросил ракетку в кресло. Встал, схватил со стола повязку и вышел в коридор.

— Куда ты идёшь? А. Ясно. Не выходи никуда, пожалуйста.

Захария с недоверием посмотрел на него через зеркало. Матвей кашлянул и поправил шарф. Захария развернулся и прошёл в свою комнату, закрыв за собой дверь.

Матвей потуже затянул узел шарфа. Минуты три смотрел на закрытую дверь, не шевелясь. Расстегнул верхние три пуговицы плаща, снял ботинки и прошёл за сыном.

Захария сидел на стуле спиной к письменному столу. На столе рядом с аквариумом стоял телефонный аппарат со снятой трубкой. Теннисный кроссовок соседствовал на кровати с пепельницей, в которой лежала дымящаяся сигарета.

Матвей неуверенно переступил. Склонив голову набок, Захария наблюдал за ним со своей позиции.

— Никогда раньше этого не видел, — сказал Матвей, указав на пепельницу.

Он сделал ещё шаг. Захария продолжал смотреть на него в упор.

— По-моему, мы договорились. Отдай-ка мне сигарету.

— Непременно нужна именно эта? — спросил Захария. — У тебя в кармане целая пачка.

Матвей тяжело вздохнул.

— Кончай дурачиться, Захария. Ты же знаешь, что мы с мамой запрещаем тебе курить.

Он взял пепельницу и потушил лежащую в ней сигарету.

— Я заберу это с собой.

Владимир Тренин

Кокосовая история с географией

Рассказ

...Снился стройной кокосовой пальме сон о белых равнинах, замёрзших горах и холодном солнце, чуточку выглядывающем из-за горизонта. Чужое солнце не давало тепла, оно поднялось невысоко, скользнуло по верхушкам странных, неизвестных деревьев с колючими ветками, немного похожих на пальмы, и становилось вокруг всё светлее, и холоднее, и холоднее... Адский ледяной белый свет заполнял остатки и закоулки тёплого влажного мира, казалось пальме, что до конца дней не будет ничего, только холод и белые мёртвые птицы, но самое страшное случилось с океаном — он замер и больше не дышал. ...Вздрогнула, очнулась от кошмара стройная пальма, взмахнула лохматой со сна головой, отломился один её сынок и выкатился на шершавый сухой песок. Океан вздохнул, выдохнул, поднажал, но всё равно кромка самой большой волны не смогла добраться до ореха, с шорохом сожаления вода уходила в горячую кварцевую крошку. Существование кокоса застыло на странной грани: то ли он есть, то ли его нет. Солнце припекало и заливал его тёплый дождь. Влага проваливалась в берег, и не мог пробиться пальмовый росток.

— Об этот орех я споткнулся, когда выходил на пляж вместе с твоей мамой. Вытащил лохматого друга из сухой зоны, положил на край, доступный волнам, сфотографировал для истории, а потом размахнулся и со всей русской дури закинул в океан — доверил кокос рукам-дорогам глобальных течений. Качнулся маятник, наконец, у ореха появился шанс. Случается и в жизни людей подобное, — подытожил Терехов свой рассказ с открытым концом и уже хотел пойти покурить.

— А дальше? — Лида нетерпеливо заёрзала, хотя, казалось, она засыпала мгновение назад.

Терехов каждый вечер нашёптывал дочери истории о птичках, ёжиках, белочках и ёлочках. Обычно, достаточно было начать неторопливо коротенькую сценку, убаюкивая, повторять по два раза некоторые слова, и через пять минут ребёнок начинал дремать.

Тренин Владимир Витальевич — инженер-геолог. Родился в 1977 году. Окончил КГПУ и аспирантуру при ИВПС КарНЦ РАН. Автор книг «Пять ржавых кос», «Исцеление инженера Погодина» и «Ягодные Земли», вышедших в 2020 году; «Король шмелей» (М., 2023). Живёт в Петрозаводске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 2.

Иногда он импровизировал, как акын, черпал сюжеты из окружающей обстановки: дождь ударил в окно, и — вуаля — появилась сказка про маленькую глупую капельку, родившуюся в серой тучке; пошёл снег — и готов рассказ про красивую эгоистичную снежинку. История про кокос не исключение, тоже имела реальную основу. Два месяца назад Терехов с женой ездил отдыхать на Шри-Ланку и на пляже нашёл большой пальмовый плод, который забросил в океан, правда, его кокос вечером прибило обратно к берегу, но ведь сказки так не заканчиваются.

Почему-то сегодня, в холодный день с хлещущей в окна ледяной пургой, он вспомнил про шуршание солёной пены и сиротливый орех, ждущий его на светлой полоске горячего пляжа.

Лида искренне заинтересовалась судьбой кокосика, и надо было как-то выстраивать дальнейшую сюжетную линию.

— Сейчас, секундочку, расскажу, что случилось дальше... «Орех упал в воду, а потом... потом суп с котом», — Терехов судорожно искал варианты жизненного пути кокоса, смотрел на обои с сердечками, восстанавливал в памяти схему течений Индийского океана, — не зря же он два десятка лет назад окончил географический факультет, есть польза: хотя бы дочери рассказать сказку на околонуточной землеописательной основе. — ...Значит, так. Кокос принял в свои пенистые объятия Индийский океан. Его отнесло от берега отбойным потоком, и тёплая вода муссонного течения подхватила плод, покрутила, погладила и отдала передачу через сетку экватора южному пассатному течению, с ветерком орешек доехал до Мадагаскара и получил командировку на юг. Но это был не наш юг, не Краснодарский край, а другой — холодный и неудобный. Потрепали, подрезали рыжие кудри западные волны и выкатился орешек на мыс Пьюсегур, что в Новой Зеландии. Спасибо землетрясению в декабре 2009 года, в тот же самый день, когда ты появилась на свет, со дна морского поднялась суша, назовём её Землёй Лидии. Наш кокосик как раз зацепился за кусочек свежего берега.

— И он прорастёт там?

— Нет, слишком плохие условия. Суша, рождаясь, поднимается из недр земли расплавленной, как горячий шоколад, потом остывает, твердеет, покрывается вулканическим пеплом, со временем образуется почва — из птичьего помёта, перегнивших листьев и мёртвых червяков. Это долгий процесс.

— Пап, а что такое помёт?

— Помёт получается, когда птичка и любое живое существо сходит по большому... Странно, ты не спросила про муссонное течение и вулканический пепел, а вот про помёт тебе интересно?

— То есть это — какашки? — Лида прыснула в подушку.

— Получается, так... И не надо смеяться. Между прочим, помёт — органическое вещество, благодаря которому происходит рост травы и деревьев. А зачем нужны растения, вам говорили на природоведении?

— Они очищают воздух, выделяют кислород... Пап, ты рассказывай дальше.

— Хорошо, не будем отвлекаться... Что там с нашим кокосиком?

— Его вынесло на мой берег.

— Это была совсем новая земля, ещё тёплая, неостывшая. Большая волна выбросила кокос на сушу, и опять он задержался между двух миров: вроде живой, а может, и нет. Прорасти он не мог из-за бедной почвы, да и климат неподходящий, и волны теряли силу, не добираясь до его места, — слишком далеко укатился.

— Наш кокосик, прям как колобок, — заметила дочь.

— И правда, Лидуся, тропический колобок. Лежал он очень долго на сорок шестом градусе южной широты... От всех ушёл, да никому не нужен.

Терехов думал, что же делать дальше, и придумал:

— ...Пока его не нашёл мой друг Таратауэнга.

«Это я удачно про аборигена завернул, этакий “рояль в кустах”, прям сюжет сериала по второму каналу», — хмыкнул он про себя.

— Интересное имя, Та-ра-та-та... — пискнула дочь из-под одеяла.

— ...Уэнга, в переводе с языка народа маори значит «многоликий воин, охраняющий землю», — фантазировал Терехов.

Таратауэнга аккуратно положил кокос в багажник своего пикапа и приехал на восточный берег Южного острова Новой Зеландии, показал кокосику короткую дорогу в тёплые места, зашвырнул орех со всей маорийской дури в ещё один океан, который побольше... Кстати, как называется самый большой океан на Земле?

— Тихий, — еле слышно прошептала дочь, не открывая глаз.

— Правильно, Тихий, хотя никакой он не тихий, а очень даже шумный и иногда грохочущий.

Терехов увидел, что Лида дремлет, и закруглил историю:

— Прибьётся кокосик к благодатному острову Уа-Хука, и вырастет из него красивая стройная пальма. Вот и сказочке конец.

Он поправил одеяло, поцеловал дочку и тихонько прикрыл за собой дверь.

Вышел на балкон покурить.

На улице пусто и неуютно, только вьюга гоняла по двору пустые пакеты от чипсов, оставленные пьяной компанией у детской площадки. Озябший Терехов накинул рабочую куртку, висящую на балконе.

Ветер наигрался с мусором и взлетел на пятый этаж, словно хотел задуть раздражавший его мелькающий огонёк сигареты, но не успел. Человек опередил стихию, затушил окурок в пепельнице и закрыл створку окна, преодолевая напор холодного воздуха. На его лице таяли льдинки, миллионы молекул воды спускались по щеке. Терехов вытер ладонью влагу: «Всё в этой жизни связано, и, возможно, эти самые молекулы выльются слезами на моих похоронах». Иногда его посещали странные мысли.

Он прошёл в спальню. Разделся и прижался к спящей жене. Засыпая, улыбался, вспоминая, как забрасывал непослушный кокос.

На отдыхе все дни похожи один на другой. Утром Терехов открывал нараспашку стеклянные двери, впуская в номер пьянящий тёплый воздух, насыщенный ароматами тропических растений. После завтрака — гулял с женой по пляжу до ближайшего скалистого мыса. На серых покатых гранитных лбах суетились крабы, и тёплые волны взбивали с шипением белоснежную густую пену.

На прогулке в первое же утро им попался большой кокосовый орех. Плод недавно упал и откатился от родительских зарослей в песок. Терехов схватил кокос и, раскрутившись юлой, как метатель молота, с безумным криком на разрыв связей зашвырнул тяжёлый орех в воду.

В следующую прогулку кокос ждал туристов на том же самом месте. Терехов опять запустил его в волны. Он выкидывал этот орех несколько дней подряд. Ошибки быть не могло, это был один и тот же плод с характерным выступом на боку. Может быть, кокос не очень-то и хотел отправляться в далёкое путешествие, прибываясь

обратно к родному берегу, но упрямый человек упорно забрасывал его в бурные воды Индийского океана.

К десяти часам народ подтягивался к бару. Терехов ориентировался по двум пожилым англичанкам в широкополых панамах. Ровно в половину одиннадцатого они заходили в бассейн, медленно брели к стойке по грудь в воде и заказывали шампанское. Значит, пришло время коктейлей.

Спустя некоторое время, появлялся крупный мужчина лет тридцати пяти в сиреневых плавках. Важно вышагивал, беленький и пузатый, с красными пуговицами сосков. На предплечье его красовалась надпись: *Veni, vidi, vici*.

Победитель по жизни поворачивался спиной к загорающим, расправлял взопревшие складки, потягивался всем торсом, наверняка очень красивым, но скрытым от посторонних глаз слоем текучепластичного жирка в три пальца толщиной. На дрожащей гладкой коже между лопаток синели японские иероглифы: 武士道 : бусидо — «путь воина». У этого самурая был один маршрут: плюхнувшись в воду, шумно отфыркиваясь, он подплывал к бару, кряхтя, залезал на табурет и заказывал куба-либре. С алкоголем неторопливый и скучный курортный день становился веселее.

Чуть позже приходил Бруно со своей молодой подругой и, улыбаясь, махал рукой Терехову.

Они познакомились в день приезда, во время послеобеденного ливня. Дождь в районе трёх часов дня — обычное дело для этих мест.

Терехов смотрел на мокрые пальмы и горизонт, подёрнутый серой дымкой. Странное и волшебное чувство, когда ты сидишь в бассейне, и на голову опрокидывается ушат тёплой влаги. По привычке, люди убегали от дождя, закрывались полотенцами, а он стоял по грудь в воде, впитывал в себя новые ощущения, и ему казалось, что ничего лучше нет на свете: стакан хорошего рома, разбавленного водопадом из экваториальной тучи, и океан под боком, отсчитывающий свой ритм. Вода с неба срослась с земной влагой. Стихия дышала, задавая темп мыслям, и рождала новое в сознании.

Под крышей у барных столиков — аншлаг. Люди, зажатые ливнем, теснились, подсаживались к незнакомцам. Начиналась интернациональная вечерняя выпивка. Терехов вылез из бассейна, выжал полотенце, заказал выпить и занял свободное местечко.

К нему вдруг обратился на русском сидящий рядом человек.

— Привет, меня зовут Бруно.

— Григорий, очень приятно.

— Григорий, ты очень похож на моего друга, — заметил Бруно. — Можно сфотографироваться с тобой?

— Давай позже... Кстати, ты хорошо говоришь, почти без акцента.

— Спасибо. Я родился и вырос в Гданьске, школу окончил ещё в социалистической Польше. Мы изучали ваш язык.

Бруно оказался очень разговорчивым человеком. Он рассказал, что получил в Варшаве профессию зубного врача, переехал в Америку, имеет канадский паспорт, а последние двадцать лет живёт в Дубае.

— В Дубае такого дождя не увидишь. Наслаждайся, Бруно! Хотя, прогресс не стоит на месте, я слышал, в Эмиратах научились делать тучи, из которых выпадают искусственные осадки.

Бруно кивал, глотал местный ром и смеялся, довольный, — похоже, Терехов ему понравился.

— Слушай, Бруно, а ты отлично выглядишь, по моим расчётам, тебе должно быть около шестидесяти, а на вид не более сорока.

Бруно кивал и смеялся ещё громче.

— Как ты оцениваешь бардак, происходящий в мире? — спросил Терехов.

— Я канадец, живу в Дубае, у нас спокойно, — Бруно сделал вид, что его не интересует политика.

Разумно с его стороны, ведь в разговоре между поляком и русским надо быть очень аккуратным, слишком много в совместной истории сложных моментов, но выпившего Терехова меньше всего заботила дипломатия, его уже было не остановить:

— Какой же ты канадец? Родился в Гданьске, ты поляк да и не похож на канадца. Я видел канадцев в «Южном парке»: у них маленькие глазки-бусинки, головы дёргаются и рты открываются и закрываются, как хлебницы.

— Ха-ха. Мне тоже нравится этот сериал, хотя некоторые обижаются. Серьёзно, Григорий, я — канадец, в нашем мире немного по-другому: я имею канадский паспорт и давно не поляк... Ты очень похож на моего друга, давай сфотографируемся, покажу ему, вот он удивится, — Бруно не терял надежды сделать общее фото.

— Потом как-нибудь, — Терехов заказал ещё рому.

Пружина общения раскручивалась, становилось теплее... Русский язык Бруно крепчал. Он понимал шутки и различал полутона.

— Русские, они такие, — гоготал Бруно.

— Какие? — прищурился Терехов.

— Вы хотите всего.

— А вы — нет? У поляков был шанс четыре сотни лет назад в Смутное время, не фортануло, не срослось, иначе существовала бы не Российская Империя, а Речь Посполитая от океана до океана. Вижу, обида осталась, — горячился Терехов, говоря неприлично громко, не обращая внимания на косящихся за соседними столиками туристов.

— Да, не срослось, — улыбался Бруно, он, кажется, учил правильную историю в той, другой Польше.

«Мутный он какой-то и акцент деланный, искусственный», — подумал Терехов.

Вспомнил недавние события, возмущившие его до крайности:

— Почему сносите памятники нашим солдатам? Если бы не Красная Армия, не было бы никакого Польского государства, Гданьск, родина твоя, вообще немецкий город. Больше полумиллиона советских воинов погибло, освобождая вас, мой дед, между прочим, тоже там воевал, а вы что творите?

— Это неправильно, — сморщился Бруно. — Я канадец, живу в Дубае, — он заказал ещё рома. Его акцент сделался сильнее. Он стал коверкать слова, будто внезапно забыл язык. — Ты так похож на моего друга, как это по-русски, давай — сделаем один кадр.

Терехов перевёл разговор на футбол. Совместного фото не получилось. Они душевно распрощались, но больше вместе не пили.

Тактичный Бруно не подходил к Терехову, здоровался издалека. Да и некогда ему было. Подруга постоянно выдёргивала зубного врача из бара, забиралась на бортик бассейна, оттопыривала ягодички, и покорный поляк с канадским паспортом фотографировал её с разных ракурсов.

Молодых красивых женщин отдыхало немного, основной контингент отеля составляли европейские пенсионеры и пожилые индийцы, поэтому Терехов сразу заметил длинноногую изящную девушку в золотистом бикини. Она гуляла без компании. На правом плече её были набиты две короткие строчки. Любопытный Терехов всё время отпуска хотел подойти поближе и прочитать, но так и не решился. В бассейне она не плавала, только в океане. Хотя всех прибывших предупреждали, что спасателей на пляже нет и отель не несёт ответственности за жизнь отдыхающих. Девушка стояла на берегу с полчаса, словно ждала определённого момента, грациозно и медленно заходила по колено, потом по пояс, водила ладошками по воде и долго-долго, задумавшись, смотрела вдаль. Она не боялась стихии, а ведь даже в штить океан накатывал гигантские буруны, сбивающие с ног, но главную опасность представляли отбойные волны — внезапно возникающие потоки, уносящие воду в океан со скоростью нескольких метров в секунду, — и даже самые искусные пловцы могли утонуть, оказавшись в коварном течении.

Терехов испытал однажды на себе мощь подобного явления. Был обычный день: солнце, лёгкий бриз и всё те же волны, как и вчера. Он зашёл по грудь, и его потащило на глубину. Попытался двигаться к берегу, но тщетно, — он словно попал в горную реку. Конечно, Терехов слышал про тягуны, знал, что единственное спасение — движение поперёк, параллельно пляжу, но стихия застала расслабленного туриста врасплох. Поначалу организм, изнеженный праздным отдыхом, вяло сопротивлялся потоку. Терехов начал выдыхаться, выгребая по диагонали, и до последнего не верил, что это происходит с ним. Только когда его отнесло на сотню метров, он собрался с силами, вырвался на спокойную воду и вылез на сушу далеко от того места, где заходил. Жена не поняла, что с ним произошло. Терехов хорошо плавал, и она не могла и подумать, что жизни мужа грозила опасность. За ужином он рассказал о происшествии, о чём очень пожалел. Супруга строго-настрого запретила ему плавать в океане. Купание теперь напоминало водные процедуры в пионерлагере. Он заходил в воду по пояс, барахтался с детишками у берега. Если его захлёстывало волной с головой, она хваталась за сердце и кричала, что ему пора выходить из воды.

Терехову не сиделось на месте, он обследовал все окрестные деревни. Там, в нескольких сотнях километров от экватора, отец семейства словно помолодел на десяток лет, почувствовал себя первооткрывателем. Его окружали растения и животные, известные только по книгам. Вот хлебное дерево, а вот коричневое, гигантские баньяны, мангровые прибрежные леса, банановые заросли — листья размером с зонтик. Наглые обезьяны и повисшие на ветках летучие лисицы с кожистыми крыльями, двухметровые вараны перебежали тропинки, сновали туда-сюда.

— У нас кошки и собаки, а там домашние драконы, гуляющие сами по себе, — шутил Терехов, рассказывая дочери о далёкой стране.

Он нашёл общий язык с местными, утром помогал вытаскивать лодки рыбаков. Аборигены смеялись, думали, наверно, что за блажь нашла на странного чужака. Один пожилой сингал пригласил его к себе домой. Их встретила строгая жена, пузатый добродушный брат и трое мальчиков-подростков. Во дворе гуляли курицы, гуси, утки, козы и важный павлин, который сразу распустил свой волшебный хвост, повысив и без того зашкаливающий градус экзотики, убивая на повал поражённого гостя из северной страны. На пороге дома появился патлатый обнажённый по пояс дед в клетчатом саронге со смуглым малышом на руках.

Маленький сингальский ребёнок потянулся к иностранцу — он ещё не видел белых людей. Их мир только недавно начал оправляться после ковидной истерии. Терехов наклонился и дал потрогать свою сгоревшую щёку и выцветшую бороду. Малыш засмеялся в восторге. Терехов чувствовал себя счастливым.

Он достал телефон и показал в альбоме фотографии заснеженных лесов и ледяные торосы на Белом море.

— My land and my home, — сказал Терехов.

Его не поняли, хотя хозяин изъяснялся на ломаном английском. Терехов забил слова в переводчик и повернул к полуголым зрителям экран с завитушками на сингальском.

Сингалы переглядывались и недоверчиво качали головами.

На пятый день в отель приехала древняя худая сутулая немка в чёрном пуховике и с чёрным же пластиковым блестящим чемоданом. Терехов с женой сидели в лобби и видели, как она прошаркала к стойке ресепшен. Седые кудрявые волосы, поджатые тонкие губы и прямой нос, — копия Лени Рифеншталь. Старуха сердито оглядела присутствующих, взгляд её стальных глаз остановился на Терехове. Он отвернулся с неприятным ощущением.

— Наверное, ей лет сто, — предположил Терехов. — С прошлого века на кладбище прогулы ставят, а всё туда же — на моря и шведский стол. Какая злая маркиза, наверное, в концлагере надзирательницей служила, загоняла людей в газовые камеры.

— Слушай, может, она всю жизнь детским врачом работала, жизни спасала. Ты чего завёлся? Ну приехала старуха отдохнуть. Что в этом такого? — осадил жена. — Жаль, наши бабули не имеют такой возможности.

— Не знаю, не нравится она мне.

На завтраке он наблюдал, как пенсионерка, похожая на Лени Рифеншталь, долго тянулась за декоративным багетом в хлебном углу. Булка, сделанная из папье-маше или из пластика, служила украшением, но злая упорная немка всё равно хотела именно его, не теряла духа, и в итоге стащила с полки и отпилила себе кусок.

— Слушай, надо ей сказать, что это ненастоящий хлеб, она же сейчас его откусит, — жена толкнула Терехова в бок.

— Да брось ты, вменяемая вроде бабка, ума же хватило сюда приехать. Сейчас сообразит.

Старуха с белыми волосами стрескала за милую душу отрезанный ломоть. Намазала его джемом, тщательно пережёвывала несъедобный материал и проглотила всё без остатка.

— Наверное, это был настоящий багет, просто засохший, — предположил Терехов, успокаивая себя и жену.

До того страшного вечера, старуха себя вела, как и большинство отдыхающих. Занимала с утра место у бассейна и, раскинув руки, часами дремала на лежаке.

Терехов запомнил навсегда разговор в момент трагедии. Они сидели в баре. Жена спросила:

— Почему эта бабка всё такая же бледная, как в день приезда, лежит на солнце без перерыва и ни капельки не покраснела?

— Потому что она мёртвая, а мёртвые не потеют и не загорают, — усмехнулся Терехов. Тогда он пошутил, но позже понял, что в его словах содержалась доля правды.

Крики прервали беседу, к океану бросились люди. Парни в форме персонала отеля вытащили из подсобки лебёдку на раме из нержавеющей стали и поволокли её на берег.

— Кто-то тонет! — крикнул Терехов, рванулся к пляжу, но жена крепко схватила его за руку.

— Не пушу, сиди на заднице... Хватит там и без тебя людей. Только мешаться будешь.

Через пятнадцать минут приехала «скорая», пробежали смуглые медики в белых халатах. Мимо пронесли носилки с телом, небрежно накрытом пляжными полотенцами. Бармен разливал коктейли. Громко играла музыка. Терехов не слышал ничего. Он не отрываясь смотрел на плечо мёртвой девушки, кусок смуглой гладкой кожи с татуировкой в виде четырёх слов, которые смог прочесть только сейчас:

Right place

Right time.

— Нужное место, подходящее время, — прошептал он.

Немка с белыми волосами поднялась с шезлонга и тоже наблюдала, как уносят утопленницу. Казалось, пенсионерка помолодела, выпрямилась. И ещё важная деталь, поразившая Терехова. Ошибки быть не могло, он видел своими глазами: брезгливое сердитое её лицо изменилось — старуха улыбалась.

Терехов спал, и ему снилось, как бледное вино заката разливалось на непричёсанные пальмы и загоревшие красивые девичьи плечи. Он помнил эти руки. «Интересно, о чём она думала все эти дни? Предчувствовала ли свою смерть? А ведь я мог её спасти».

Океан волнуется раз, и два, и двести. Вроде бы полный штиль, но океан дышит, поднимает зелёные стены воды. У Хроноса игривое настроение, он отсчитывает век не секундами и минутами, а волнами. Терехов заходит в океан и чувствует ход времени, его сбивает с ног кипящая пена дней. Крутится бесконечная плёнка очень старого кино. Он слышит, как стучит железный посох Создателя по гранитной крыше мира. Маленький испуганный краб смотрит на него с каменной глыбы, весь мир смотрит на него, вопрошая:

— Ну что же ты, проснись, наконец!

Терехов открыл глаза. За окном гудела вьюга.

Он поцеловал жену в ушко, растормошил:

— Слушай, родная.

— Уже вставать? Сколько времени? — жена потянулась за телефоном.

— Рано ещё... Просто хотел сказать, что старуха эта сердитая — ведьма была. Из-за неё девушка утонула. И часть её жизненной силы немка впитала.

— Какая старуха? Терехов, опять на ночь ужастиков насмотрелся? Не мели ерунды, не пугай меня, пожалуйста. Спи.

— И ещё, мы с этим несчастьем совсем забыли тогда про наш кокос. Он же потом исчез с пляжа. Я надеюсь, всё-таки его отнесло от берега, и попал орех в муссонное течение, может, он и правда давно пересёк экватор, проплыл, наверное, мимо Мадагаскара на юг...

— И что с того... закрывай глазки, спи, мой хороший.

Денис Попов

Примета жизни

* * *

Улеглась шумиха
В глубине души.
Господи, как тихо!
Будто не грешил.

Зреет облепихой
Над рекой закат.
Господи, так тихо,
Что Тебя слышать!

Только трётся оземь
Лодка на мели.
Крестики стрекозьи.
Камешки-нули.

* * *

Молча и почти на автомате,
Взгляд не поднимая в синеву,
На могилах бабушки и бати
Выкошу малину и траву.

Посижу, уставясь на портреты.
Помяну батонком с молоком.
Не спрошу, как спится. Их ответы
Не услышу. «Больно высоко

Забрались!» — придёт на ум некстати.
Покурю ещё на посошок.
— Спите с миром, бабушка и батя,
У меня не всё, но хорошо!

Попов Денис Николаевич — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1979 году в с.Усть-Цильма (Коми АССР). Окончил курсы водителей и курсы охранников. Работает на объектах «Лукойл» в Республике Коми. Автор двух книг стихов: «Лиственничное небо» (Сыктывкар, 2018) и «Птицы ковчега» (Саратов, 2022). Печатался в журналах «Сибирские огни», «Нижний Новгород», «Север» и республиканских альманахах. Живёт в Усть-Цильме. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Крещение

За Покровом деревья нагие,
Как душа за молитвой моя.
Боже, глянь на дороги земные,
Видишь — я?

На одном из распятий дорожных,
Где не пишут ни дат, ни имён,
Это я умираю, безбожник,
Для времён.

Я — стакан с чёрной корочкой хлеба,
И у ног моих два воробья.
И дитя, что наследует небо, —
Тоже я.

Между миром и войной

Когда сквозь мокрый проступает снег
Пятно земли, другое — чуть поодаль,
И красная толстовка пешехода,
Кровь будто на автобусном окне,

Как если б кто-то выстрелил извне,
Надеюсь, Боже, в дождевых разводах,
На полосатом жизни переходе,
Не страшно будет за других краснеть

И мне как современнику войны
И мира, если у одной стены
С последним я поставлен буду первым.

Дай, Боже, не отвесь стыдливо глаз, —
А мир не отведёт — не в первый раз! —
И до конца смотреть в глазницы стерве.

Примета жизни

И снова он дальний, восток,
Недавно ещё бывший близким.
С поклонным на мысе крестом
С цветами в тени обелисков.

Но птиц, воплощающих мир,
И строгость молчащих орудий
Запомню, как ориентир,
Что из лесу тягостных буден

На свет Божий вывел меня.
А свет, хоть на краешке света,
На грани земли и огня —
Хорошая жизни примета.

Маленьким карандашом

Алексей Алёхин

Варькины истории

Рассказики, сочинённые внучке

Хнык-Хнык и Плак-Плак

Есть неподалёку от Москвы городок Плаксеево. Маленький такой городочек. Домики жёлтые, белые и красные, а между ними зелёные сады с птичками. На площади старинная пожарная каланча, раньше на ней пожарный сидел, высматривал, не горит ли где. Только он уже давно оттуда слез. Вокруг поля. А ещё там валенки делают, с калошами. На площади ими ряды под навесами уставлены — со стороны кажется, будто целая армия в калошных валенках вышла на парад. Кто мимо на машине едет, остановится, вылезет и валенки покупает.

И стоит там на краю городка домишко старенький. Покосившийся. Весь какой-то пересохший, окна пыльные-препыльные, паутиной затянуты. А ступеньки на крыльце такие грязные, что и не поймёшь, каменные они, кирпичные или деревянные — одна земля. И живёт в этом домике Хнык-Хнык.

А на другом конце городка другой домишко. Тоже маленький, покосившийся, только весь отсыревший. Стены в потёках, на ступенях лужа, и весь до крыши мхом зарос и даже водорослями. В нём живет Плак-Плак.

Они с Хнык-Хныком приятели, можно сказать, друзья. Чуть не всякий день ходят друг к дружке в гости. То есть обычно Хнык-Хнык к Плак-Плаку ходит. Он не очень любит, когда Плак-Плак к нему навдывается: наплачет целые лужи, сырость разведёт.

Вот, наденет обычно Хнык-Хнык валенки с калошами, придёт к Плак-Плаку, сядут они чай пить, и хнычут, и плачут.

— Я тут к тебе шёл, — рассказывает Хнык-Хнык, — а вокруг в садах листва, листва, да такая яркая, ну прямо зелень в глазах...

— Ох, — отзывается Плак-Плак, — прямо зелень! Хоть плачь... — и плачет.

— Да, хоть хнычь. А небо-то, небо! Просто синька какая-то, так глаза и режет, так и режет!

— Ой, режет, — Плак-Плак рыдает, — ой, режет...

Алёхин Алексей Давидович — поэт, эссеист, критик. Родился в Москве в 1949 году. Автор многих книг стихов и прозы. Создатель и главный редактор журнала поэзии «Арион», выходящего с 1994 по 2019 год. Живёт в Москве. Постоянный автор «ДН».

— А на ветках птицы свистят, — хнычет Хнык-Хнык. — Да так пронзительно свистят, будто сверлят тебя. Я просто весь в дырках, как дуршлаг. — И грязным пальцем показывает на себе, где в нём дырки: тут, и тут, и вон тут.

— В ды... дырках! В ды... ды... дырках! — Плак-Плак заходится и уже третий носовой платок выжимает.

— Да ещё бабочки кружатся так, что голова кругом идёт, — жалуется Хнык-Хнык. — Ну прямо как карусель, сушая карусель.

— Такая карусель, хоть плачь! — Плак-Плак кивает, а у самого с носа слёзы капаят. — Вот и у меня: такая сырость, такая сырость. Одна книжка в доме была, и та заплесневела. Мышь под шкафом жила — к соседям сбежала. Ты мне, говорит, всех мышат перетопишь. Хоть плачь!

— Ох, хоть хнычь!..

Так они хнычут и плачут и чай пьют. Хнык-Хнык на своей лавке только ножки поджимает, потому что даже в калошах мокро, столько заплакано.

А неподалёку от того городка жила девочка Варенька на даче, с папой и мамой, с дедушкой и бабушкой. Бабушек у неё даже две штуки было, про запас: одна уедет куда-нибудь, так другая с Варенькой играет и возится; другая отлучится, так первая тут как тут. Так что жила она счастливо, никогда не хныкала и не плакала, на горшок просилась вовремя, в куклы играла.

Вот как-то раз говорит ей дедушка:

— А не пойти ли нам с тобой за калитку, по тропинке, вон в тот городок? Хнык-Хныка навестить, утешить.

А Варенька, хотя и не знала Хнык-Хныка, отвечает:

— Давай пойдём. Навестим. Только куклу с собой возьмём.

Взяла куклу, взяла дедушку за руку, и пошли.

Тропинка через поле вилась, потом кончилась, и городок начался. Нашли они тот самый домик в паутине, а дверь заперта. И записка висит на гвоздике: УШОЛ В ГОСТИ.

Варенька-то ещё читать не умела, а дедушка прочитал и говорит:

— Хнык-Хнык в гости ушёл. Только тут неправильно написано.

— А что неправильно? — Варенька спрашивает. — Не ушёл или не в гости?

— Да нет, — дедушка покачал головой. — Ушёл-то он в гости, только слово «ушёл» не так пишется. Ты потом узнаешь. А ушёл он не иначе как к Плак-Плаку, дружку своему. Он где-то на той стороне живёт. Пойдём поищем.

— А как же мы его найдём, если дома не знаем? — Варенька засомневалась.

— Да уж найдём как-нибудь, — дедушка улыбнулся. — По приметам.

Они его и правда скоро нашли: другого такого мокрого домишки в городке не было. На стенах ракушки-мидии налипли, водоросли и мох на крышу захлестывают, перед крыльчком лужа, и из-под двери капает. Дедушка даже Вареньку на руки взял, чтобы та туфельки не промочила.

Постучались, вошли. А там в полумраке эти двое сидят: и хнычут, и плачут. А как дедушку с Варенькой увидели, того пуше расхныкались-расплакались:

— Вот какие девочки бывают! В платьицах! С куклой! С хвостиками на голове! Даже с тремя хвостиками! (Это мама Вареньке на макушке ещё один хвостик сделала, чтобы чёлочка в глаза не лезла.) А у нас тут мрак и сырость! Сырость и мрак! Ой, бедные мы бедные, несчастные-пренесчастные...

Варенька удивилась и говорит:

— Зачем же вы тогда в сырости тут сидите? Да у вас и свет в окна не проходит, так они заросли! Дедушка, — говорит, — давай мы с тобой у них приберёмся! Поставь меня вон в те калоши.

Схватила веник и воду всю за порог выгнала. Дедушка окна распахнул, а она их тряпочкой протёрла. Солнышко заглянуло в дом, и всё осветило, и мигом всё высушило. Чашки на столе засверкали. И Плак-Плак первый раз в жизни улыбнулся:

— Ох, как светло, и солнечно, и хорошо! Хоть пл... хоть радуйся, я хотел сказать!

Только Хнык-Хнык пуще прежнего расхныкался:

— Вот, у Плак-Плака так светло, и солнечно, и хорошо! А я-то в пыли и паутине, света белого не вижу, бедный я, несчастный...

— Так давай, — Варенька засмеялась, — все вместе к тебе сейчас пойдём и у тебя тоже приберёмся. Правда, дедушка? И Плак-Плак пойдёт, да?

— Конечно! — согласился Плак-Плак, и во второй раз в жизни улыбнулся.

Так они и сделали. А когда всё вымели и вытерли, Варенька ещё из маленькой леечки дорожку перед домом побрызгала, чтобы пыль прибить. И соседняя травка, совсем было поникшая, спасибо ей сказала.

Кстати, ступеньки, когда их отскребли, оказались деревянными. Из старых-престарых дубовых досок того ещё времени, может, когда пожарный на каланче сидел. И Хнык-Хнык с Плак-Плаком уселись на них, как на скамеечку, в обнимку, и улыбаются.

— Смотри, — говорит Хнык-Хнык, — какое небо синее-пресинее! Как у Вареньки глаза, прямо! Смотри и радуйся!

— Вот-вот, — кивает ему Плак-Плак. — Ну, прямо как Варенькины глаза, такое весёлое!

— Ну и ладно, — Варенька отвечает. — Любуйтесь себе. А нам с дедушкой домой пора. Бабушка ждёт. И малина там, в саду у нас, наверное, новыми ягодками поспела. Надо её поесть.

Взяла дедушку за руку, и они пошли домой. А Хнык-Хнык с Плак-Плаком им вслед махали.

С тех пор Хнык-Хнык и Плак-Плак уже не хнычут и не плачут, а живут и радуются. И Варенька с дедушкой их время от времени навещают. Даже малинки им к чаю приносят. Только немного — той, что от Вареньки осталась.

Да, городок-то тот тоже потом переименовали! Он теперь зовется — Смеялово.

И вместо валенок с калошами там делают босоножки.

Дедушкин сон

После обеда дедушка заснул в своём полосатом кресле на терраске, и ему приснился чудесный сон. Пальмы. Жёлто-зелёные попугаи. Порхают большие бабочки. Гуляют слоны, и скачет весёлый круглый бегемот.

До того красивый сон, что внучкиной плюшевой обезьянке — той, что с клетчатыми заплатками на голове, — тоже захотелось полюбоваться. Она как раз у дедушки за спиной на хвосте висела. И без спросу в его сон запрыгнула.

И вот что натворила.

Сначала побегала по пальмам, покачалась на лианах и даже покаталась немножко на бегемоте, а потом проковыряла во сне дырку. И все через эту дырку улетели и ушли: попугаи, бабочки, слоны, бегемот и пальмы с лианами. Остался только жёлтый песок и голубое небо.

Дедушка страшно рассердился.

— Что ты сделала с моим прекрасным сном?! — закричал он. — Никого нет. Тут какая-то пустыня! Немедленно прекрати!

И он даже затопал во сне ногами.

Обезьянка не очень испугалась, она ведь такая смелая, умеет висеть вниз головой. Но пожалела дедушку. И загнала всех-всех обратно.

И снова сделалось как было: пальмы с лианами, бабочки с попугаями, слоны с бегемотом. И дедушка улыбнулся во сне и принялся смотреть дальше.

А дырку потом заштопали.

Для этого дедушке бабушка приснилась.

Вот только обезьянка повадилась с тех пор забираться в дедушкины сны. И доигралась. Допрыгалась.

Однажды она опять скакала там по всему сну и до того расшумелась, что разбудила дедушку. И он проснулся. А обезьянка так во сне и осталась.

Пришла внучка Варенька на терраску, ищет-ищет свою обезьянку, а та пропала. Нигде её нет. Дедушка тоже ищет, под стол заглядывает, под кресло. А потом вспомнил:

— Варенька! — хлопнул себя по лбу ладонью. — Я же её во сне видел! Наверное, я её там забыл.

— Как! — закричала Варенька. — Мою обезьянку? Любимую?! Забыл?!!

И горько заплакала.

Пришлось дедушке срочно садиться обратно в кресло и засыпать. А когда хорошенько заснул, то он разыскал обезьянку в самом дальнем конце сна. Она там свернулась в тенёчке под слоном — тот, как обычно, стоя спал — и тоже задремала. А что ей снилось, неизвестно, дедушка не стал заглядывать. Наоборот, он обезьянку разбудил и строго-настрога велел, чтоб больше так себя не вела. Не скакала, когда он спит, не шумела. А то вон что выходит. И выпроводил её из-под слона и вообще из сна обратно к Вареньке.

Варенька так обрадовалась!

А обезьянка по-прежнему в дедушкины сны забирается. Но ведёт себя потише. И под дальним слоном вздремнуть не ложится, чтобы её там не забыли. Она шалашик на самом виду из пальмовых листьев построила. Полежать в тенёчке, когда жара.

Варвара Заборцева



Вон оно как!

Рассказы

Куда поднимается дым

До Рождества оставалось всего ничего.

Мы с сестрой переделали все дела, что только смогли придумать. Пирог состряпали, конфет под ёлкой поели. Принесли по охапке дров и даже подрядили Марью, кошку нашу, их сторожить. Поленья дельненько так сложили под стулом у печи, а её сверху посадили. Кошка и рада, тепло любит. Пускай сторожит, мышей у нас всё равно не водится. А сами бегом до лесных озёр, веток еловых набрать. До чего же пахучие. Хорошо будет в доме.

Да только угораздило нас на дым засмотреться. Дружно топятся печи над нашим угором. Холода стоят что надо, рождественские. А мы про мороз и думушки не думаем. Аж валенки примерзают, а мы все глаза по-над крышей оставили. Сестре говорю:

— Шура, гляди! До чего цветной дым! Ты видишь?

— Вижу-вижу. Никакой он не серый, оказывается...

— Да-да, ты гляди, Шура! У самой трубы дым тёмно-синий, потом серый столуба, а окончанье даже с розовинкой, аж с небом сливается, видишь?

— Вижу-вижу я. Мне вот другое покоя не даёт...

— Что такое?

— Можешь ли ты разглядеть, куда поднимается дым? — спросила Шура очень солидным голосом. Я даже растерялась.

— Как куда... это... на небо, конечно!

— Ага, ещё скажи, в облака превращается.

— А что, похожи они!

— Ой, до чего ты простая. Кто ж на похожести научные теории строит. Не, тут дело серьёзное...

Заборцева Варвара Ильинична — поэт, прозаик. Родилась в 1999 году в посёлке Пинега Архангельской области. Окончила Академию художеств имени Ильи Репина (факультет теории и истории искусств). Печаталась в журналах «Юность», «Звезда», «Новый мир» и других. Участница проектов СЭИП и АСПИР. Лауреат литературных конкурсов, в т.ч. литературной премии «Лицей» (2023). Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

Потом я малёха подумала, не сморожу ли опять какую-то глупость, но не стерпела:

— Дым не уходит бесследно... правда же? Наша бабушка, тётя Зина, дед Никанор да и все на угоре от всей души печи топят. Не может же всё тепло домашнее вот так... без следа рассеяться...

— Тоже так думаю.

Ой, как мне радостно было от этих слов! Сестра у меня умная, значит, и я что-то соображаю. Я на радости разошлась:

— Слушай, а если забраться наверх и самим проверить, куда уходит наш дым?

— Ага, ага, конечно. Верхом сядем на дым и помчимся с проверкой. Так, что ли?

— Ну да, именно так!

— Ага, а на крышу на метле полетим.

— Да ну, что мы, колдуньи какие? Мы сугроб нароем до самой крыши. Снега — хоть до неба ступеньки городи!

Наверное, потом я сказала что-то очень убедительное. Через минуту мы уже строили снежную лестницу до самой крыши. Ясное дело, у задней стены дома, где нет окон. Если бабушка заметит, плану конец.

А план был такой. Заходим погреться. Заметно так ходим-бродим по дому, чтобы бабушка не подумала, что мы весь день на морозе шастаем. Между делом находим верёвку и дедушкину сеть. Как только бабушка соберётся печь затоплять, мы скорее на крышу. Привязываем к сети верёвку с обеих сторон, чтобы нам схватиться. Кидаем сеть на дымное облако, что поупитаннее. И дело за малым: держаться изо всех сил.

Не утерпели, вышли чуток заранее. Тишина на угоре — аж небо хрустит. И мурлычет почему-то...

— Шура, ты слышишь?

Прислушались, плач из трубы идёт. Марьин голос в печи! Только этой беды не хватало.

Марья наша больно ответственной оказалась. Велели дрова сторожить — она и сторожит. Дрова в печь — и она за ними. В тёмной печи разве заметишь чёрную кошку. Бабушка дрова сложила, да, видно, отвлеклась. Захлопнула печь и, видно, снова отвлеклась. Вот и сидит Марья в темнице.

Посидела всего ничего, а страху-то натерпелась. Голоса наши услышала — как поползла по трубе, а тут и мы её встречаем.

Вот и сидим на крыше. Я, сестра и наша чёрная Марья. Дыма дожидаемся.

А он тут как тут. Высоко-высоко поднимается. Сетку бросать доверили Шуру, а я Марью держу, куда её денешь. Шура с первого раза поймала — будто всё детство дым рыболовной сеткой ловила.

Так и летим по дороге дымной. Выше и выше — над угорами нашими, над рекой. Небо темнее Марьи. Но звёзды чем ближе, тем ярче светят.

— Шура, гляди, как светло! Что это, Шура?

— Держи давай кошку покрепче, скоро приедем.

И правда. Дым поверху больше не шёл, прямо стелился по белому-белому полю. Будто свечами поле усеяно — до того ярко сияет. Даже ступать боязно, не дай бог что-то раздавим.

— Шура, надо слезать с дымного облака, верно же? Что будем делать?

— Погоди, я думаю.

А Марья долго не думала. Как выскочит у меня из рук — и бегом по белому полю. И надо же — лапы её в белый окрасились.

— Шура, гляди! Теперь у нас чёрная кошка с белыми лапами! Это хоть не опасно? А Марья бежала себе вперёд, не зная опасностей. Будто чуяла верную дорогу. И мы пошли на носочках по её следам. Не знаю зачем, но на всякий случай.

Я всё по сторонам глядела. И разглядела — никакие это не поля. Дым печной слой за слоем стелется, плотно ложится. Нет-нет да засветится точка ни с того ни с сего. И вдруг — так же внезапно — погаснет.

— Шура, почему же точки гаснут?

— Они вовсе не гаснут, — отозвался голос, мне незнакомый.

Я обернулась и увидела маленького белого волчонка. В детстве я жутко боялась того, как ветер воет в печной трубе. Мне казалось, в ней поселился страшный волк. И тут передо мной стоял, конечно, нестрашный, но всё же волк. Ростом чуть выше Марьи. Думаю, сейчас как встанет кочергой наша кошка при виде волка! А она нет, бежит к нему, не боится. Какой-то свой разговор повели. Но у меня терпежа нет. Присела на корточки и спрашиваю:

— Здравствуйте, господин Волк. Скажите, пожалуйста, почему гаснут эти сияющие точки?

Нет бы спросить, где мы и как домой попадать. Я первым делом про точки.

— На землю спускаются. Это ж не просто точки. Это тепло, что людьми натоплено да накоплено.

— А вы, прошу прощения... — не утерпела Шура.

— А мы, волки, стережём тепло это. Да если в каком дымоходе застрянет, всякое бывает, летаем к вам и помогаем, как вы назвали, точке, до нужного человека добраться.

— А что ж значит — «нужного»?

— Это уже не волчьего ума дело. Наше дело сбересть и доставить человеку в тот самый момент, когда для него тепло загорается. Всегда нежданно-негаданно.

— Печки топят все, а тепло не поровну возвращается? — не унималась Шура.

— Выходит, что нет. Я и не думал об этом... Вы, это, кошку свою берегите. Тепла в ней много. Видите, аж лапки тёплым цветом окрасились!

Марья и правда чувствовала себя как дома.

Волчонок даже не спросил, как мы сюда попали и зачем. Только добавил:

— Домой возвращайтесь по следу вашей кошки. Она вас выведет.

Марья нырнула сквозь дымную пелену. Грудка её тоже сделалась белой.

И мы за её хвостом. По белому следу, что лапы её оставляли.

Долго ли, быстро — на угоре дома показались. Много печей топится. Друг перед дружкой.

Марья быстро наш дом нашла. К самому крылечку вывела.

Тут как раз дядя Витя приехал, молоко привёз. Прямо с вечерней дойки, ещё тёплое.

— Псс, Шура, давай и Марье миску нальём? С Рождеством, наша милая Марья!

Берегиня

— А знаешь, почему облако не тонет в реке?

Сестра моя, хоть и младшая, но с ответом совсем не замешкалась. Будто он давно лежал у неё в кармане, где полным-полно всякой полезной всячины на разные случаи жизни:

— Конечно, знаю. Потому что у него есть своё дело. Облака оберегают небо, чтобы оно случайно не упало на наш угор или ещё хуже — в нашу реку.

— Вот оно как! Если найду своё дело... тоже не буду тонуть в нашей реке, а значит, мигом плавать научусь. Да мне всё на свете нестрашно будет, когда я найду своё дело.

Думала, думала и придумала.

А может, моё дело — оберегать сестру?

Шура такая умная, в сто раз умней меня, хотя я выше ровно на один выключатель. Мы чёрточками на стене давно измеряем. В этом деле точность нужна.

Умная, но такая хрупкая сестра у меня. За дровами идём — обязательно занозу схватит. В поле венки плетём — травой умудрится порезаться. Как же её не оберегать. Шура очень, очень нужен оберег, а лучше — бережность.

Бережность... Тут же полюбила я это слово. Оно мягкое, будто овечка у тети Люси. А звучит оно как! — повторять его хочется. Слово будто волшебное — своим звуком бережёт всю нежность, какая только есть на свете.

Я даже не знаю, умею ли я беречь, живёт ли во мне — хоть немного — та самая бережность...

Думала, думала и придумала. Начну-ка с морковки.

Бабушка никогда не доверяла нам с Шурой сеять и чистить морковку. Говорит, терпение морковке нужно. Без него, привереда такая, расти не хочет. С горем пополам уговорила бабушку поручить мне маленькую грядку морковки. Обещаю-преобещаю, всё сделаю бережно.

Взялась я сеять — всё, как бабушка делает. Высыпала семена в блюдце поглубже, — чтобы ветром не выдувало их. Рядки кочергой начертила, два кулачка между ними отмерила. Вдруг большая морковка придумает вырасти, вширь как поползёт — место в земле нужно. Чего тесниться-то, это вам не укроп с петрушкой.

Рядки водой пролила, чтобы семена быстрее взялись. Тут как с гостями: посуху не держат, чаем надо поить. Земелька у нас не больно гостеприимная, сухая. Может, поласковой примет морковку, если рядки обильно пролью.

Зарывать надо бережно — не сбить семечко. Бабушка говорит, собьёшь его, выскочит морковка мимо рядка — тебе же глаза ломать на прополке, среди сорняка выискивать. Половину с мокрицей и выдернешь, не заметишь.

Вот я и поглаживаю земельку бережно-бережно. Бабушка слова какие-то всегда шепчет, я тоже пошептала, что на ум пришло: «Расти, морковушка, в голову, всем на радость расти, милушка моя».

И надо же — хорошо подросла, дружно взялась.

С прополкой успела, пока мокрица не заглушила. Ай, как полюбила я чистить морковку. Даже веселее, чем с дедушкой в шашки играть. Он мне то и дело поддаётся, я точно знаю, а тут всё по-честному — без поддавок.

Сижу себе, сначала между рядками мокрицу дёргаю, а потом и к морковке потихоньку подбираюсь. Вычищу рядок и налюбоваться не могу: неужели это я такую

красоту сотворила? И главное — сберегла её, красоту. Бабушку позвала, она давай охать:

— Анделы, кака красивяшша грядка, любо посмотреть!

Закатились белые ночи — морковка скорее в землю пошла. Видно, как и я, тёмных ночей боится. Всё приду к ней, поговорю. Привязалась я даже к своей морковке, но делать нечего, убирать пора.

Ай да морковка, не подвела. Одна другой краше, и крот ни одну не погрыз. Морковки надёргала ведер пять — с моей-то маленькой грядки.

Всю зиму с сестрой хрупостили морковкой. Может, поэтому и зима была солнечная, а морозы терпимые. Или просто мы холод не замечали — на морковкиных витаминах пробегали.

Я и забыла, что сестру хотела оберегать. У меня это само собой выходить стало.

Лепили мы как-то снеговика. У Шуры здорово лицо получается, глаза и улыбку никому аккуратней не сделать. Вижу, что варежки у неё совсем сырые — что я, не сбегаю, что ли, домой за сухими варежками? Зачем ей отвлекаться, пусть и дальше снег оживляет. Гляжу, как Шура старательно красоту творит, и радуюсь. Сберечь надо такие руки, сама-то она разве доглядит за ними.

А вечером мы с бабушкой, мамой и Шурой делали Северную Берегиню.

Взяли по лоскутку от нашей одежды, и вышла тряпичная кукла. Будет наш дом теперь охранять, как метёлка, ссоры и горести выметать. Вроде маленькая, а какую работу берёт на себя, разве одна управится...

На Новый год я так и загадала. Говорю, берегиней хочу быть, решила. Той, кто бережёт.

Конечно, поваром или изобретателем тоже интересно. Они создают разное вкусное и всякое нужное. Но на нашем угоре и без меня столько всего хорошего есть, это же надо кому-то беречь.

У неба много берегинь — это облака, тут мы разобрались. А наш травянистый берег — то затопит его, то мусор какой большая вода оставит. А наш огород — я только маленькую грядку морковки сберегать научилась, огород-то у нас ого-го.

О нашей семье и говорить нечего. Кто сестре напомнит летом о панаме, а зимой о варежках? Кто дедушке сказку перед сном расскажет? Да, мой дедушка любит сказки на ночь слушать, но об этом знаю только я. Стесняется он, а меня не стесняется.

А из дома выйдешь — опять берегини нужны. Я вот дяде Евсею, соседу нашему, всё хлеб в магазине выбираю — он старенький, видит плохо, а так любит зажарный хлеб, обязательно с корочкой да порумяней.

Ерунда вроде, а ждёт он этот хлеб. Ест да улыбается, улыбается да ест.

А радость, даже такая маленькая, она ещё привередливее морковки, это я знаю. Не сбережёшь — пропадёт. А жалко, если мокрице достанется.

Татьяна Муравьёва

Ануш

Рассказ

Глядя на неё, я вспоминаю мамину маму. Маленькая. Я так вижу её — маленькой. Детские ладошки, пальчики. Светло-карие глаза, лучики морщинок вокруг. И взгляд. Взгляд девочки, которая встречает на своём пороге незнакомцев. Чуть смущённый, настороженный и в тоже время любопытный. Её мама всегда говорила: «От чужих хорошего не жди». Так ли это? Именно этот вопрос я вижу в её глазах.

— Ануш джаааан! — кричу я, открыв калитку. — Ай, Ануш джаан!

Из дверей дома высовывается голова другой Ануш — Анушик, той, что назвали в честь бабушки. И только потом откуда-то из глубины дома выходит та, кого я звала. В кипенно-белой косынке и таком же переднике. Значит, я вовремя. Ануш делает сметану. Или творог. Или режан¹. Смущённо смеётся, когда я прошу снять процесс на видео.

У Ануш трое детей. Две дочки и сын. А ещё пять внучек и один внук с чудным именем Людвиг. Восемь лет назад она похоронила мужа с тем же именем, сгоревшего буквально за год от рака мозга. И теперь у неё есть только маленький Людвиг — Люто, — двухлетний малыш с ямочками на щеках, который каждое утро стучит в мои ворота и кричит: «Танаааа!»

Ануш всего пятьдесят два, я смотрю на неё и с ужасом думаю, что её жизнь как женщины закончилась тогда, восемь лет назад. Когда ей было, примерно как мне сейчас.

Больше никогда мужчина не обнимет её крепко, не поцелует. В сорок четыре Ануш суждено было остаться бабушкой, мамой, но больше никогда не быть любимой женщиной. И меня охватывает ужас от слов «никогда не...». Может, потому я вижу в ней свою бабушку, оставшуюся вдовой в сорок, с четырьмя детьми на руках?

Как-то я, как положено соседке, принесла Ануш пирог. Ничего особенного, просто шарлотка. Я удивилась, когда она сперва понюхала, а только потом попробовала.

Муравьёва Татьяна Витальевна родилась в 1975 году в Москве. Окончила факультет психологии СФГА. Работала школьным психологом. В 2019 году переехала в Армению. Живёт в деревне Зар Котайской области.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Армянский национальный молочный продукт. Режан может быть отличной закуской или завтраком.

Я списала это на восприятие. Я тоже сначала нюхаю то, что ем, особенно незнакомое. В другой раз я принесла торт с безе. Тут она даже нюхать не стала, коротко отрезав «я такое не ем». Мне было обидно, — это то, от чего невозможно оторваться. Я даже слегка разозлилась: смотрите-ка, капризничает, или хуже того — брезгует. Я не раз сталкивалась с ревностью хозяйек к чужой выпечке, и именно этим объяснила себе её каприз.

И только потом, позже, я поняла причину. Ануш не ест яйца. Ни в каком виде. И выпечку нюхает поэтому. Запах яиц она не переносит.

Ануш дважды хоронила своих детей. Одного — когда тому не было и полугодика, крошечного мальчика, умершего от какой-то кишечной инфекции. А ещё девочку, годовалую, которая умерла от сальмонеллёза. И это было не пятьдесят лет назад. Её младший сын почти ровесник моему...

Полдня прошло, и где-то около двенадцати — в деревне время для кофе-мофе. Собираются соседки: сладости, последние новости, потому это не просто кофе, а кофе-мофе. А для меня каждый раз — новые откровения. Не было дня, чтобы я не услышала хотя бы новую поговорку, слово или ещё что-то, ценность чему знаю только я.

Круг наш узкий. Никого, кроме «ближних». Я, Ануш, Армине и её мама, которую я с первой встречи почему-то зову мам-джан. Хотя всю жизнь я говорила, что мама у человека одна, не понимая, как невестки могут называть свекровей этим драгоценным словом.

У мам-джан шесть дочерей, и теперь ещё я — пстик бала (маленькая детка).

В общем, ничего необычного, просто соседские посиделки. Настроение задаёт Ануш, в минуту меняя его с хмуро-ноябрьского на радостно-солнечное. Ануш пришла в смешной детской шапке своей внучки! Такой, знаете, с двумя помпонами-ушами. Серьёзная Ануш! И, конечно, этот её вид вызывает бурю радости и смеха. Ануш отвечает на мою реакцию улыбкой:

— Ай, Таня, я только испугалась, после коровника, голова мокрая, а свою я постирала! Люто тоже очень смеялся, когда увидел.

И вот, когда мы уже выпили кофе, обсудили погоду, последние фото соседок в фейсбуке, порадовались обновкам Армине, — у меня зазвонил телефон. Я радостно говорю в трубку: «Аннушка, привет», — и выхожу из кухни.

Возвращаюсь с улыбкой: Аннушку я нежно люблю, и всегда рада слышать.

Ануш, видя мою улыбку, спрашивает:

— Это кто звонил? Сестра?

— Почти, Ануш. Не по крови, но сестра. Я два года прожила у неё в Ереване. Видишь, какая я счастливая? У меня там сестра есть, и здесь есть сёстры, и даже мама!

— Армине, у неё что, мамы нет? Там, в России? — тихо спрашивает Ануш, надеясь, что я не пойму, ну или, в крайнем случае, не услышу.

— Есть, как нет? — громко отвечает Армине сквозь шумно льющуюся воду, которой она моет новую порцию фруктов к столу (на столе всегда должно быть много еды).

И тут вступаю я:

— Ануш, у меня две мамы есть, плохо разве? Но моя мама, там, не любит меня так, как мама здесь, — говорю я и осекаюсь. Как-то совсем по-детски вылетела у меня последняя фраза. Но поздно. Недоумение повисло в воздухе.

— Это как, Таня? Разве так бывает? Ты что, ей не звонишь? Или она с тобой не говорит?

— Бывает, Ануш. Звоню, разговариваем. И она меня любит, по-своему, как умеет. Просто по-другому её никто не научил. И потому она так, как мам-джан, не умеет.

— Не понимаю. А кто должен был научить?

— Ну, её мама и мама её мамы. А они тоже не умели...

— Таня, а так, что, бывает? Чтобы мама не умела любить своего ребёнка? Это как?

— Бывает, Ануш, бывает. — Я пытаюсь подобрать слова, чтобы объяснить. Ануш неплохо говорит по-русски, но вряд ли поймёт, если я полезу в дебри детско-родительских отношений. И я пытаюсь по-простому: — Понимаешь, у нас, наверное, не очень принято *целовать детей в попу*. У нас, во времена моего детства, детей воспитывали, а не держали. Понимаешь? (В армянском языке по отношению к детям не говорят «воспитывать», а употребляют глагол «держать», то есть «ухаживать», «охранять», «поддерживать», «защищать».)

— Нет! Ай, Таня, не понимаю.

И тут я пускаюсь в объяснения теории воспитания советских времён, когда важнее всего было — вырастить Человека. Дать ему достойное образование, заложить нравственные ценности, выработать волю и т.д. и т.п. Что *телячи нежности* (тут, кстати, нам с Армине пришлось отдельно потрудиться с переводом) считались лишними, так как это приводит к *избалованности* (ещё одно слово, перевод которого был непрост).

Ануш смотрит на меня, понимает и не понимает одновременно.

В этот момент мам-джан (которая по-русски практически не понимает), притягивает меня к себе, гладит по голове и ласково приговаривает что-то сюсюкательно-нежное, повторяя «жаль, очень жаль». А потом кладёт мне в тарелку последний кусок сладкой домашней халвы. И я растекаюсь, плавлюсь и наполняюсь любовью. Той самой, что бывает только на кофе и на молоке...

Ануш смотрит на меня так, что я не могу удержаться от вопроса:

— Ануш, я тебя расстроила?

Ануш молчит, но я всё вижу в её глазах, полных слёз.

Она искренне удивлена тому, что на свете бывают мамы, которые не умеют любить своих детей. И бывают дети, почти пятидесяти лет отроду, которых любят чужие мамы.

На том и расходимся. Напоследок Ануш снова веселит меня шапкой. До моего дома мы идём вместе, а потом я смотрю вслед маленькой женщине, что пошла любить своих внуков так, как её научили мама, бабушка и жизнь...

Денис Сорокотягин

Барби

Рассказ

Где же та первая Barbie, попавшая мне в руки (просто подержать, не дыша)?

Где та первая, как выяснилось, ненастоящая Barbie (не было гнувшихся коленных суставов, эта привилегия делала Барби фирменной и настоящей), ставшая поистине моей, которой впоследствии я открутил руки и не сразу смог приделать их на место?

Секунда, когда разрушение осмыслено со скоростью этой секунды, и страх, что случившееся непоправимо. Barbie с двумя дырами вместо рук, в эти дыры можно было заглянуть, сказать что-то, попытаться рассмотреть, что внутри сисек, попытаться найти пластмассовое сердце. Тщетно. Пустотно.

Хранились мои ненастоящие Barbie в полиэтиленовом пакете многоразового использования, он был затаскан почти до дыр, с полустёртым рисунком (так сейчас выглядят вечные пакеты из «Библио-Глобуса», кажется, они и нас переживут). Туда же, в пакет, складировались связанные и сшитые мной платья, всевозможные аксессуары: розовая неоткрывающаяся сумочка, серёжка-гвоздик (одна, — всё-таки дыра в пакете), каблучки, флакончик духов (карамельный аромат, вот бы сейчас брызнуться!). Кукол мне привозила мама с торговой базы игрушек (по моему запросу). Речь идёт о позднем детсадовском возрасте; тогда, наверное, во мне и зародилась мысль, что из этой коллекции Barbie (шесть-семь сестёр, калейдоскоп характеров и типажей) можно сделать настоящий кукольный театр с ситуациями, с неминуемым конфликтом с самой первой секунды игры, с празднотами по детсадовским набережным-подоконникам. Моими подружками-ассистентками стали рыженькая Настя и блондинка (не помню имени и врать не хочу, но в неё я, кажется, был впервые влюблён, помню, мы улыбались друг другу, наши Barbie-подружки сразу же сошлись характерами и были не прочь перемыть косточки Настинной безвкусно одетой Barbie. Мы даже ссорились, расходились по углам, заводили знакомства на стороне, но потом вновь объединялись в трио; это были нежные ссоры. Для меня эти вымышленные розовые миры Barbie были убежищем от реальной, не всегда радующей жизни, всплесками неповторимой (никогда) первозданной радости. Наверное, такой восторг испытывает ребёнок, поняв, что умеет ходить. Как ещё объяснить это ощущение?

Позднее, когда я был уже подростком, в подвале хрущёвки (где я и жил), мы вместе с подружками открыли Музей кукол: собирали всем двором будущие экспонаты, отмывали, очищали, чинили, наряжали и выставляли на всеобщее обозрение.

Сорокотягин Денис Андреевич — актёр театра и кино, режиссёр, драматург, художественный руководитель «DAS-театра», педагог по актёрскому мастерству и вокалу. Родился в 1993 году в Екатеринбурге. Окончил Свердловский мужской хоровой колледж (пианист) и Екатеринбургский государственный театральный институт. Печатался в журналах «Знамя», «Нева», «Новый мир» и других. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 4.

К нам приезжало местное телевидение, мы давали интервью, как самые настоящие взрослые; застигнутые вопросом врасплох, говорили какую-то невнятную глупость. Но речь не об этом. Для статусности коллекции (мы тогда ещё не знали таких слов, но понимали, что так будет точно круче) нам были необходимы «самые настоящие» Barbie (с уже упомянутыми коленными суставами). Такие были у другой Насти и у Даши (тоже подруги детства, дорогие, привет, вы ведь тоже что-то помните?). Было не так-то просто договориться с владелицами о взятии их кукол в «аренду» — три красотки Barbie стоили как вся наша выставка вместе взятая (нам так казалось), но мы сошлись на том, что Barbie будут экспонироваться в подвале (Музее) не больше месяца. Мы отвели им специальное место: узкий проход между стеной и чешской стенкой, позволяющий контролировать подход (строго по одному) к нашим уникальным экспонатам. И, конечно, фирменное «не трогать руками», покровительственно произносимое нами — юными зрителями. А всем ведь так хотелось поддержать, пощупать, проверить, настоящие ли — они!..

Однажды в подвале случился разрыв трубы, и помещение нашего Музея затопило «понятно чем». О чём я подумал в первую секунду? Секунду, когда неизбежное случилось и нет возможности ничего изменить?.. — как там Barbie Даши и Насти. Они чудом спаслись от «понятного чего» благодаря своему привилегированному положению (шкаф как-то уберёт). Особенно пострадали текстильные куклы. Мы вынесли их на улицу и повесили сушиться на крепкие ветки тополей. Помню, среди «промокашек» была кукла, которая должна была отправиться в Беслан (шёл 2004 год, нам по одиннадцать, я что-то понимаю, точнее, что-то чувствую, низ живота сжимается от страха при взгляде в глаза этой кукле), но почему-то не отправилась и осталась у меня и теперь висела на ветру, а настоящие Barbie в целости и сохранности в день протечки вернулись к своим владелицам.

В этом году моя мама наводила порядок в нашем подвале нашего дома (правлением дома было принято решение убрать так называемые кладовки, — пожарная безопасность, захламлённость, все дела), и нашла пакеты с теми «музейными» куклами. Нет, Barbie среди забытых экспонатов не было: девчонки наверняка уехали в своём кабриолете в какую-то страну малиновых закатов. Мама выслала мне фото с куклами советского периода: с отвалившимися руками, свалывшимися волосами, перемазанными землёй. Это всё напоминает какую-то детскую, но страшную игру в войну. В контексте сегодняшнего дня эти фото потянули за собой вереницу других изображений реальной трагедии, происходящей на наших глазах.

Если бы мы... нет, лучше так: если бы я был ребёнком не начала двухтысячных, а нынешнего времени, играл бы я в Barbie, придумывал бы кукольные спектакли? Наверное, нет. Куклу мне с лихвой заменили бы телефон и планшет.

Когда я пишу этот текст, смотрю на свои носки розового цвета. И понимаю, что это и есть та часть моего сохранившегося детства. Через эти розовые носочки, как через каплю, можно увидеть меня сегодняшнего.

Да, и мои коленные суставы уже пытаются пародировать тот самый звук фирменных Barbie. Вот только с вечной голливудской улыбкой что-то не задаётся. Знаю, кого-то это бесит, глядя на идеальную, такую безоблачную кукольную жизнь, а меня, наоборот, эта улыбка терапевтически обнимает, хотя она и не такая искренняя, как нам кажется.

А я всё жду, что где-то там, за поворотом, покажется белоснежный пони с радужной гривой и увезёт меня в какую-нибудь прекрасную страну будущего (в мою страну), где не будет разрывов и «понятно чего».

Как нам хочется вдруг измениться, но мы остаёмся в привычных координатах, обозначенных штриховкой нашего детства. Вот и мир точно так же.

Эгвина Фет

Предположим...

Рассказы

Мой дедушка — супергерой

Во всех самых ранних воспоминаниях так или иначе всегда всплывает вата. Ватой набиты разные звери, вату окрашивают в зелёный, вата становится изумрудно-бурой.

Предположим, мне три года и у меня проблемы с колёсами. У брата они не переводятся, у него автопарк. И пока у него автопарк, у меня есть колёса. Всё кончилось аппендицитом. Колёса и всё, что накопилось, вытащили, но врач забыл внутри какой-то инструмент и вату, началось воспаление, и нитки пришлось распарывать.

Предположим, мне четыре, теперь я живу у бабушки и дедушки. И пока они не видят, я катаюсь задом-наперёд на коляске. Потом я лежу посреди двора на животе. Потом бабушка выкладывает мне лицо ватой в облепихе. Дедушка прижимает меня к себе и бежит по улице. Потом я лежу на столе, дедушка держит меня за руку, тётка с огромными руками вдавливают меня в стол, а вторая — толстой иглой пришивает лоскут подбородка на место, как было.

Никто на улице не хочет больше со мной играть, только дедушка. Дедушка говорит, что в такой ситуации, как у меня, мне стоит научиться читать.

Предположим, мне пять, и в пятый раз я читаю рассказы Толстого для детей, но это не помогает мне сдружиться с детьми. Вместо детей как-то раз дедушка приносит мне петуха с цветным хвостом в компании трёх куриц. Курицы белые и похожи на вату. Они очень мягкие и тёплые. Они летают, но не отрываясь от земли. Курицы Аглая, Александра, Аделаида и петух Петя теперь живут с нами вместе. Дедушка назвал их в честь своих сестёр. Я об этом ничего не знаю, потому что я даже не знаю, как зовут дедушку. Мне кажется, его так и зовут, как зову его я, хотя бабушка зовёт его Захарович.

Курицы и Петух проживут с нами до самой своей старости, пока однажды утром дедушка не объявит нам с бабушкой, что наши Аглая, Аделаида, Александра и Петя уехали в Будапешт. В Будапешт к тому моменту уехали очень многие: несколько наших соседей, соседские собака Тузик, кот Кузя и даже коза Дора. Из Будапешта ещё никто не возвращался.

Предположим, мне шесть, у меня много друзей, и я сижу на речной кладке. Я не захожу в воду, потому что не умею держаться на воде, которая не содержит хлорки. Только хлорка в бассейне держит тело на плаву. В следующую минуту я уже в воде. Я не могу понять — я вниз головой или вверх, потому что я уже довольно далеко от поверхности. Кажется, я уже стою ногами на дне, мне нравится, что дно твёрдое

Эгвина Фет — поэт. Родилась в 1984 году. Живёт в Ставрополе. По образованию учитель истории, кандидат политических наук, редактор научного журнала КАНТ, финалист литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина (2019), литературного конкурса на соискание премии Правительства Москвы имени Корнея Чуковского (2022).

и надёжное, я планирую ещё немного постоять. Где-то там — над — плавает вата, отсюда она неразличима, но это всё равно, что различима. Теперь я поднимаюсь на поверхность, это происходит само собой, как будто внутри меня вата, которая разбухла и выталкивает на поверхность. Потом все меня поздравляют с тем, как мне повезло, что вовремя хватились и вытащили. Но я думаю, это потому, что внутри меня вата.

Предположим, мне девять. Завтра я собираюсь ехать к бабушке и дедушке. Я больше не хочу возвращаться обратно осенью и останусь потом у них.

Первый день лета. Я сижу под столом. Уже вечер. Никого ещё нет дома. Утром от бабушки пришла телеграмма: Захарович умер.

Но я знаю, что он просто уехал в Будапешт.

Кто мы и на сколько

В итоге (осенью) мы поехали в музыкальную школу. Большую часть времени мы занимались тем, чтобы удержать яблоко. «Представь, что ты держишь яблоко и только после этого можешь взять ноту». И я представляю. Я представляю самое большое яблоко. Когда мы доходим до последней ноты, мы убираем яблоко в ящик.

Мой папа запирает все звуки в чемодан после своих музыкальных тренировок. Всю неделю он работает композитором. И когда он надевает усы, шляпу и полосатый костюм, мы уже знаем, что он едет в Болгарию на гастроли.

Мама чистит рыбу. Я хочу знать всё о рыбе: водится ли она в наших водах, и вообще всё о рыболовстве. Наш дедушка знал всё об этом, когда брал лодку и уходил на середину реки. С тех пор, как его не стало, тема рыбы витает в воздухе нетронутой и рыба скучает на столе, уложенная на фарфоре.

Помимо рыбы, есть много других тем, которые нельзя доставать из ящика.

Например, никто в доме не говорит о поляках. Потому что родители папы за что-то на них обижены, и мы не можем позволить себе быть поляками, тем более раньше, тем более сейчас. В конце концов, эта скользкая тема — почти как рыба — была исключена из меню.

Помимо поляков, никто не говорит о том, куда делась наша кошка, тело которой мы нашли в снегу на балконе, когда вернулись домой. Никто не говорит о том, какие часы она провела перед тем, как совсем остыла.

Помимо кошки, никто не станет распространяться о том, почему мы с братом так и не освоили музыку, которая всё время двигалась туда-сюда по комнатам, выбираясь из чёрного ящика с проигрывателем.

И хотя больше всего меня беспокоит наша кошка, мне хочется думать, что все эти темы связаны между собой проблемой выбора. Скажем, когда я иду в школу с нотной тетрадью, я уже знаю, что мне не удастся удержать яблоко и что это непременно расстроит Аргентину Адольфовну, и меньше чем через четверть часа она будет колотить моей рукой о клавиши. Но я всё равно иду в школу, чтобы порадовать папу.

Предположим, когда мама ставит на плиту рыбный противень, она не собирается прикасаться к готовому блюду, но она полна решимости порадовать нас в это воскресное утро перед походом в парк.

В парке мы, скорее всего, встретим много разных кошек, и притом, что их наличие не восполняет нашей утраты, нам приятна их компания. В отличие от незнакомых мужчин возраста нашего дедушки, которые, как и кошки, будут прогуливаться по парку и сидеть на скамейках.

В общем это всегда довольно трудный вопрос: кто мы и насколько осведомлены о том, что составляет счастье других. Особенно если это наша кошка, которой, по словам её доктора, оставалось пару недель до того, как мы уложим её изнурённое болезнью тело в картонный ящик.

Мария Габрилович

Объяснение в любви

Моё славное несладкое детство

Начну с того, что родилась я от большой любви двух совершенно несовместимых очень талантливых людей. Они не могли быть вместе и не могли вместе не быть. Их отношения были страстными, бурными, порой буйными, полными изысканной фантазии и бессмысленной ревности.

Вот от этого человеческого жара родилась я.

Мое рождение, как говорила мама, принесло ей работу. Незаслуженно невостребованная актриса стала очень популярна. Предложения о новой работе, новых ролях буквально посыпались.

Она была абсолютно счастлива. Мама не отказывалась даже от самых маленьких ролей, боялась «сглазить судьбу».

Позже она говорила: «Любовник может предать, муж может предать, друзья могут предать. Не предаёт только работа».

В это же время папа, который жил жизнью в основном светской, бездельничал и пижонил, начал снимать «своё» кино и впоследствии стал известным режиссёром-документалистом.

Она снималась, он снимал.

Родители колесили по стране, писали друг другу записочки, письма, посылали телеграммы.

Они всё время расставались, а я жила в разлуке с ними.

Нас у мамы было трое: моя старшая сестра Зина, мамина младшая сестра Вера, которая переехала к нам шестнадцатилетней после смерти бабушки, ну и я.

Зина тоже жила с бабушкой, маминой мамой, до её смерти, приезжала домой на каникулы. Но этот период я помню плохо.

Рождалась я долго и сложно. Все ждали мальчика Гришу 23 февраля. Я всех подвела, родилась Машей 24 февраля.

Первую мою няню нашла нам бабушка, папина мама. Не то чтобы нашла, а отдала свою помощницу по хозяйству, замечательную и добрую бабу Маню. Баба Маня прожила с нами довольно долго.

Я подрастала и, когда мне исполнилось года три, у нас с ней налачился бизнес. Мы с бабой Маней собирали бутылки, мыли их в отдраенной мамой до снежно-белого

Габрилович Мария Алексеевна родилась в Москве в 1965 году. Мама — народная артистка РФ Майя Булгакова. Папа — режиссёр Алексей Габрилович. Дедушка — прозаик и сценарист Евгений Габрилович. Окончила МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности правоведение. Адвокат Московской Адвокатской палаты (Коллегия Адвокатов «Карабанов и партнёры»). Почётный адвокат РФ. В «ДН» публикуется впервые.

цвета ванне, а потом, простояв не меньше часа в длинной очереди, сдавали в приёмном пункте. Моя роль в бизнесе была главной. Я высматривала бутылки в кустах, ловко ныряла за ними и передавала в сетку бабе Мане. В конце рабочего дня, после получения денежек за бутылки, мне покупались мороженое или шоколадка. Все были довольны.

Пока... пока проезжающая на «Волге» мимо длинной очереди в пункт приёма бутылок бабушка Нина не заметила нас с няней. Стоит ли говорить, что бабушка не связывала моё будущее со сбором стеклотары. Няня была уволена.

Вслед за бабой Маней появилась тётя Тоня.

Её я полюбила больше всех. Тётя Тоня проработала у нас, гаверное, лет семь. Она жила в нашей квартире и заслуженно считалась членом семьи. Родители дома практически не бывали: частые командировки или почти круглосуточная работа в Москве. Поэтому все тяготы по ведению хозяйства и моему воспитанию легли на плечи няни. Характер у неё был достаточно жестким, и воспитывала она меня в строгости.

— У нас, у кубанских казачек, не забалуешь, — часто повторяла Антонина Тимофеевна.

Но, надо сказать, меня она очень любила и относилась ко мне как к родной.

Тётка она была простая, деревенская, могла сутками ходить по Москве и восхищаться столицей. Обожала салют, на котором мы с ней во весь голос орали: «Уря!»

Ещё она была фанаткой игры в хоккей, болела за ЦСКА. Перед каждой трансляцией хоккейного матча тётя Тоня жарила большую сковородку картошки с луком, и мы с ней садились у телевизора и вопили: «Шайбу, шайбу!», а если любимая команда забивала гол, то на весь дом кричали наше дружное «уря!». Иногда папа покупал ей билеты на стадион ЦСКА, и более счастливого человека, чем тётя Тоня, на стадионе я, пожалуй, и не вспомню.

Я безумно влюбилась в хоккеиста Виктора Кузькина. Предполагаю, что всё же из-за фамилии. В его честь был назван мой первый хомяк, а папа сочинил стишок:

Живёт на свете Кузькин,
Товарищ он Маруськин,
Назло соседке Гоське,
Назло соседке Люське,
Маруську любит Кузькин,
А Кузькина — Маруська!

Тётя Тоня провожала меня в школу и везла обратно на трамвае. Каждый раз, когда попадался счастливый билет, она его тут же съедала, поэтому ей нечего было предъявить контролёру, который непременно в этот день совершал обход трамвая и её штрафовал. Придя домой, записывала в маминой тетрадке расходов: «штраф — 1 руб.». Мама возмущалась, почему она должна оплачивать Тонины штрафы, и просила не есть билеты до выхода из трамвая. Но тётя Тоня считала, что если сразу не съесть, желание не сбудется.

Наверное, её желание сбылось. Я была классе в четвёртом, когда она вышла замуж и покинула наш дом. Первое время она приезжала к нам раз в неделю, скучала очень. Привозила мою любимую клюкву в сахаре. Потом приезжать перестала.

С уходом тёти Тони начались наши мытарства.

Бедная мама! Находясь в бесконечных командировках, она порой по несколько дней не могла связаться с домом. Сердце её изболелось.

У няни, которая появилась у нас после Тони (имя я уже не помню), была мечта выйти замуж за военного. Она брала нас с Зиной на вечерний сеанс в кино, лелея надежду познакомиться там с мужчиной своей мечты.

И однажды счастье ей улыбнулось!

Новому другу она сказала, что мы племяшки, которые временно живут в её квартире. Мужчина оказался домовитым, хозяйственным и, оглядевшись, принялся делать ремонт в коридоре.

Вот за этим славным делом, в пилотке из газеты, его и застала мама, вернувшаяся из очередной командировки.

Уставшая, голодная, соскучившаяся по дому... А тут такое! Скандал.

Ремонт закончен не был, выгнала обоих.

Следующая няня, тётя Люба, была принята на работу теперь уже только по рекомендациям. Соседка, москвичка. Вот кому можно доверить детей и хозяйство.

И действительно, первое время тётя Люба со всем справлялась, я начала к ней привыкать. Но она... запила.

Представьте: приходит ребенок лет двенадцати-тринадцати из школы, а в кухне на полу лежит пьяная описавшаяся няня. Крепко спит.

Вот что с ней делать? Мама-папа-отчим... а в Москве никого.

Только дед. Дед, который знал толк в человеческих душах, в человеческих доблестях и пороках, но совсем ничего не смыслил в пьяных нянях.

Звоню:

— Дед, тут няня пьяная, что делать?

— Милая (так дед обращался ко всем лицам женского пола), ну чем я могу помочь? Попробуй её разбуди.

— Пробовала, не будится!

— Можно попытаться вызвать вытрезвитель.

Приехали сотрудники вытрезвителя, няню забрали. Я всё за ней помыла. Маме ничего не сказала, иначе бы она с ума сошла.

Через два дня няня Люба вернулась как ни в чём не бывало. Она просила, её простили. Но это повторилось. Пришлось с ней расстаться.

Как-то раз мне позвонила моя закадычная подруга, Ира Сировская, и я, чтобы мама не поняла, куда мы намылились, стала с ней говорить по-английски. Для мамы это было, мягко сказать, неожиданно. Когда-то она учила немецкий, но вот английский совсем не знала. Снявшись в замечательном, но, к сожалению, забытом фильме «Перевод с английского», она мастерски произносила: «I'm glad to see you again», — но на этом всё.

Мама вызвала папу для принятия решения.

— Алёша, — сказала мама, — если твоя дочь стала такой хитрожопой, то никакая няня ей уже не нужна.

Вот так и закончилось моё славное несладкое детство.

Але-он!

Дом, где я жила с рождения, разделён на несколько корпусов. Первый корпус — жилищный кооператив под названием «Актёры кино и драмы», корпус второй — ЖСК «Артисты цирка».

У каждого корпуса — свой большой двор, засаженный яблонями и разными другими деревьями. Сейчас почти всё пространство застроено стоянками и гаражами. Но тогда у нас, маленьких, было такое раздолье для игр в прятки, казаки-разбойники и всякие догонялки. Требовалось только крикнуть: «Я у циркачей!» — и маме можно за меня не тревожиться. Наш актёрский двор был славен девчонками, тогда как двор циркачей — мальчишками. Ребята с ранних лет выходили с родителями на манеж, ездили на гастроли и школу посещали редко. Они даже зарабатывали какие-то

небольшие деньги, тогда как мы, иждивенцы, ежедневно с переполненными ранцами расплзались по учебным заведениям.

Во дворе у соседей всегда можно было встретить цирковых красавиц, стройных, с ярким макияжем, волосами, окрашенными в чёрный, белый или рыжий цвет. Женщины шеголяли на высоких каблуках, держа под мышкой модно подстриженных карликовых пудельков. Казалось, что в любой момент хозяйка произнесет заветное: «Але-оп!» — и собака выполнит затейливый трюк. Мужчины у цирковых красавиц — им под стать. С прекрасными мускулистыми фигурами и какие-то шумно-праздничные. Ещё во дворе у циркачей всегда отдельной небольшой компашкой собирались лилипуты. Маленькие люди были очень хохотливые и словоохотливые. Своими звонкими детскими голосами, увидев тебя, издали кричали: «Маша, как дела в школе, какие оценки? Пятёрку сегодня получила?»

В корпусе циркачей есть арка-въезд во двор. Когда-то в оконном проёме, расположенном прямо над этой аркой, в тёплое время года можно было увидеть маленькую обезьянку. Она сидела на подоконнике, всё время что-то жевала, а шкурки и огрызки бросала на улицу. Я не знаю, делала ли обезьянка это нарочно, но корки и скорлупа от орехов всегда попадали точно в цель, прямо по макушке входящего во двор. Со временем мы научились обезьянку обходить, крадучись вдоль стены дома. А потом обезьянка куда-то исчезла. Мама сказала, что она уехала на гастроли. В Париж.

У одного из дрессировщиков жил маленький медвежонок. Совсем крошечный. Дрессировщик выгуливал его во дворе на поводке. Нам разрешали с мишкой играть, но аккуратно, чтобы он своими острыми молочными зубками не поранил наши руки. Однажды мишка сорвался с поводка и забрался на дерево. Слезть не мог, сидел на ветке и плакал от страха. Я даже помню этот звук — такой умилительно-грустный рык, сбивающийся на вой. Вокруг дерева бегал дрессировщик и, нервно жестикулируя, объяснял собравшимся детям и лилипутам, что медведь не кошка, если навернётся с дерева, уж точно костей не соберёт. И тогда горе ему, дрессировщику, полный аллес капут! Срочно был вызван пожарный наряд. Однако к мишкиному дереву пожарная машина подъехать никак не могла. Решено было подставить длинную-предлинную пожарную лестницу. Дрессировщик грустно, почти прощаясь, посмотрел на детей и лилипутов и, громко матерясь, полез за своим питомцем. Пожарные крепко держали лестницу, а для мишки растянули специальный брезент — на случай, если он сорвётся с ветки. Но всё обошлось. Какое-то время мишка по-прежнему на радость нам гулял во дворе, а потом переехал жить в цирк.

Когда простужаются слоны, им дают выпить коньяку. Слоновья инфлюэнция отступает, и гиганты животного мира быстро идут на поправку. Неудивительно, что самым весёлым во дворе у циркачей был дрессировщик слонов: у него всегда были коньяк и маленькие рюмочки. А закусывали яблоками, срывая их прямо с дерева. Когда созревала смородина, растущая в глубине двора, то «слоновье зелье» заедали спелой ягодой.

Весело было. Носились дети, хохотали лилипуты, ухоженные цирковые звёзды садились в американские длинные машины и уезжали украшать собой арену цирка. Але-оп!

Вот и я, когда приболею, пью коньяк. Совсем не помогает.

Значит, я не слон.

Стрелин

Когда *других* маленьких детей за плохое поведение должен был отругать дядя милиционер или могла забрать на перевоспитание Баба-Яга, мне грозили Стрелиным.

Несмотря на мою ангельскую внешность, ребёнком я была вредным. Родители довольно часто хватались за ремень, но я забиралась под диван, в самый дальний уголок, куда взрослые никак не могли пролезть, и оттуда громко кричала:

— Бейте меня сколько хотите. От своей мамы совсем не больно!

Даже лёжа под диваном, я чувствовала, как мама улыбалась.

Воспитательный процесс на этом завершался.

Когда я плохо ела, не убирала за собой игрушки, скандалила («габриловичская порода» или «Алёша, твоя дочь надо мной издевается, сил моих больше нет»), мама грозила отдать меня Стрелину. Жить с ним мне совсем не хотелось. Почему-то чудилось, что дядя Стрелин заставит чистить картошку, перебирать гречневую крупу и мыть полы в его квартире. Образ несчастной Золушки не покидал меня.

— Мама, когда ты меня отдашь Стрелину, ты же будешь меня навещать?

— Маша, навещают девочек послушных, а ты не слушаешь маму, капризничаешь и не хочешь учить стихи к празднику. А Стрелин с тобой быстро справится.

— Мама, а ты точно знаешь, что Стрелин меня возьмёт к себе?

— Конечно, он умеет ладить с непослушными девочками и мальчиками.

Павел Васильевич Стрелин был известным советским киноактёром. Но мне он запомнился как самый главный в нашем доме человек: Стрелин был председателем ЖСК «Актёры кино и драмы».

Павел Васильевич был мужчина представительный. Всегда до блеска выбрит, одет в костюм и шляпу. Образ его дополняла трость. Выходя во двор, он тут же попадал в окружение народных и заслуженных красавиц отечественного кино, решающих неотложные вопросы по управлению кооперативным домом.

Я стала внимательней присматриваться к Стрелину. Он казался очень строгим дядечкой, и трость его превратилась для меня в волшебную палочку колдуна. Главное — надо было сделать так, чтобы он не захотел забирать меня у мамы.

И вот однажды я застала Павла Васильевича сидящим на лавочке возле дома и читающим газету «Правда». И решила с ним поговорить.

— А вы кого больше любите к себе брать: мальчиков или девочек?

Стрелин удивлённо посмотрел на меня:

— А зачем мне кого-то к себе брать?

— Чтобы воспитывать и потом возвращать в семьи.

Стрелин был в недоумении от услышанного.

— Маша, вот и Оля Голованова вышла гулять. Иди с ней поговори.

Беседовать с Волей, я так её называла, совершенно не хотелось. Мне надо было постараться сделать так, чтобы Стрелин не стал меня забирать к себе.

— А вы заставляете детей чистить картошку и перебирать крупу?

Павел Васильевич помрачнел и начал оглядываться по сторонам в надежде, что кто-то из соседей выйдет из подъезда и он сможет от меня отвязаться.

— Маша, каких детей я должен заставлять чистить картошку?

Я решила, что Стрелин не хочет мне рассказывать правду о том, что некоторые родители отдают ему детей на перевоспитание. Это же большой секретик, тайна взрослых.

— А вы можете своей тростью колдовать?

— Нет, не могу.

Я уже явно начала раздражать Стрелина.

— Знаете, вот если я перееду к вам жить, то я совсем не умею мыть полы. Мама меня называет неумехой и неряхой.

— Маша, а почему, собственно, ты должна ко мне переехать? Ты ведь живёшь со своими родителями. Они тебя любят и никому не отдадут.

— Мама тоже иногда говорит, что любит меня до смерти, но, если и отдаст, то только вам. Вы единственный сможете со мной справиться. Даже участковый не сможет, а вы сможете. Ещё меня надо в садик водить и стихи со мной учить. У нас концерт скоро. А мама вам не говорила, нянька моя тоже к вам переедет?

— А почему это вы все должны ко мне переезжать?

Стрелин быстро засобирился, сложил газету, спрятал очки, подвинул к себе трость.

— Мама сказала, что если я буду плохо себя вести, то она отдаст меня вам. А я веду себя не очень хорошо. Так что отдаст, наверное.

Стрелин поднялся с лавки и строго на меня посмотрел.

— Маша, передай своей маме, что ни тебя, ни няньку твою, я к себе брать не собираюсь.

Как же я была рада его словам! Я тут же помчалась домой рассказать маме эту новость.

— Мама, мама, — громко кричала я, взбегая по лестнице на третий этаж. — Стрелин отказался меня брать. Он сказал, чтобы я тебе это передала. Я ему не нужна, а нужна только тебе.

Мама засмеялась своим заразительным смехом. Потом вдруг задумалась:

— Господи, Маня, как я теперь во двор выйду?..

Большой белый пёс

С большим белым псом я познакомилась по дороге из школы. Он тщательно обнюхивал дерево, кружась вокруг ствола. Я попыталась привлечь его внимание, ласково позвав несколько раз:

— Собака, знакомиться будем? Ты лапу давать умеешь?

Пёс не откликнулся, он был занят. Тогда я подошла поближе и села перед ним на корточки. Пёс внимательно посмотрел и вдруг, завиляв хвостом, бросился облизывать. Лицо, шею, руки. Было похоже, что он меня умывает. Вытирая лицо рукавом школьной формы, я смеялась и трепала его по мощной спине. В голове звучал мамин голос со всеми хорошо известными мне интонациями: «Маня, ты точно не будешь больше трогать дворовых собак? Пообещай. Сколько можно уже всякие болячки хватать! Дождешься, ещё и уколы от бешенства в живот придётся делать». Ответ у меня был готов. На большой белой собаке был ошейник. Значит, она не была дворовой и больной. Мы зашлись с псом в игре. Бегали друг за другом, катались по траве, он чуть-чуть прикусывал мою ладонь и тихо тявкал, требуя продолжения баловства. Я назвала его Снежок. Немного похож на лабрадора, только больше по размеру, а морда как у овчарки, острая, хвост длинный и пушистый. Но надо было домой.

Пёс пошёл за мной к подъезду. Он вежливо забрал у меня мешок со сменной обувью и понёс его в зубах. Я не могла пригласить его в квартиру. Нянька бы ни за что не пустила. Я попросила Снежка подождать меня. Няня Тоня хлопотала на кухне: «Садись обедать, а потом сходи за хлебом, ни кусочка не осталось. Руки помой».

Но какой тут мог быть обед, если меня на улице ждал голодный Снежок?

— Ты мне сколько котлет положила?

— Две.

— Давай три. Я очень голодная, с тренировки же. И макарончиков побольше.

Классический сюжет

*Школьная программа: книга на всю жизнь —
и так и не прочитанная. Почему (тогда, потом и сейчас)?*

*В обсуждении участвуют: Вера Богданова, Валерий Былинский,
Алексей Варламов, Александр Григоренко, Максим Гуреев,
Андрей Дмитриев, Елена Долгопят, Денис Драгунский, Анна Козлова,
Илья Кочергин, Александр Мещеряков, Кирилл Рябов,
Алексей Сальников, Антон Секисов, Роман Сенчин*

Вера Богданова, прозаик (г. Москва)

«Павел Чжан — абсолютный Раскольников»

Книги из школьного списка по литературе всегда были для меня тягостным чтением. При одном взгляде на стопку книг, заданных на лето, мне становилось дико скучно. Я любила жанровую прозу: зачитывалась Дюма, после Кингом и Брэдбери, Сапковским и Буджолд. Ну и вообще, одно дело, когда ты сам выбираешь, что тебе читать, и другое — когда выбирают за тебя, не считаясь со скоростью твоего развития и предпочтениями. Самыми невыносимыми в программе казались былины и древнерусская литература в целом. Я понимала, что они важны для исследователей разного толка, что это памятники культуры и о них действительно нужно иметь представление для расширения кругозора. Но дочитать, например, «Поучение Владимира Мономаха» не смогла: 1) даже я, которая читала с трёх лет всё, что содержало буквы; 2) даже отрывок, приведенный в учебнике; 3) даже в средней школе, не говоря уже о младшей.

В школу я ходила в период с 1992 по 2003 год, и за это время программа успела измениться. В списке литературы больше нет «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского, а это была одна из лучших книг: забавные истории о жизни обычного школьника, которые учили сопереживать и мечтать. Возможно, сейчас кому-то они покажутся наивными, но даже мой сын читал их с большим удовольствием — а он упал от моей яблони максимально далеко, в соседний математический огород: любит компьютеры и читает только под угрозой того, что у него заберут мобильный телефон. Для него это был взгляд в другое детство — без ноутбуков и смартфонов, без иной, виртуальной, реальности, в которую ты в любой момент можешь провалиться. Реальность того времени была плотнее и *реальнее*. Она была одна, в конце концов.

Я очень любила «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мёртвые души» и «Нос» Гоголя: переплетение фольклора, сатиры и горькой реальности, высокого стиля и разговорной речи. Гоголь — величайший стилист, тонко подмечающий язвы общества и высмеивающий пошлость и лицемерие. И все это до сих пор остается актуальным. Важным для меня стало «Преступление и наказание» Достоевского: злой промозглый роман о сумраке в умах и душах человеческих. Достоевский создавал мастерски точные психологические портреты с помощью незаметных на первый взгляд деталей, особенностей внешнего вида, диалогов и монологов. Борьба добра и зла внутри человека, неоднозначность любой личности близка мне не только как читателю, но и писателю тоже. Нет чёрного и белого, нет идеальных людей. Мне интересно рассматривать причины тех или иных поступков, обстоятельства, которые могут по-разному направить нас и изменить всю последующую жизнь. Например, Павел Чжан из моего романа «Павел Чжан и прочие речные твари» — абсолютный Раскольников, перед которым стоит выбор без выбора: жить свою жизнь дальше или же остановить преступника, совершив преступление самому. Были ли у него варианты? С одной стороны, да, он мог не убивать, найти иной способ для достижения цели. Но, с другой стороны, исходя из его внутренней логики, выбора не было — Чжану *хотелось* совершить преступление. Хотелось отомстить и сделать это своими руками.

Но если бы нужно было выделить из всех книг в школьной программе одну, самую значимую для меня, я бы назвала сборник «Мещерская сторона» Паустовского. Больше ни у кого я не встречала настолько шемяще настоящего и не избитого до пошлости описания природы средней полосы России, а именно Рязанской области. В детстве я каждое лето проводила в тех краях. Глухие сосновые леса и болота, озёра с черной тихой водой в чаще, поля с высокими травами, по осени пустые и пожелтевшие. Прозрачные зимние ночи, время в которых будто замерзло, но есть островок тепла — дом, где тебя всегда ждут и куда приходят гости. Всё это очень знакомо, всё это — неотъемлемая часть меня, запечатленная Паустовским. И «Мещерская сторона» — это та книга, которую я буду перечитывать снова и снова.

Александр Бушковский, прозаик (г.Петрозаводск)

«Такие герои в земле лежат,
а мы вот на диванах...»

В школе я учился не очень, но книжки читать любил. У меня была лучшая учительница литературы на свете. Никто не вёл урок интереснее и строже, чем она, и никого (из учительниц) не было красивее. Мне очень хотелось удивить ее каким-нибудь своим сочинением, но это долго не получалось. Потому что сочинения мы писали по произведениям, которые изучали в рамках школьной программы, а они, как бы интересно ни рассказывала о Чехове или Шолохове Лариса Ивановна, почему-то меня не цепляли.

Например, в «Капитанской дочке» меня интересовала только история любви Петруши Гринёва и Маши Мироновой. Ещё бы, тут столько волнующего! И глаза, и смущённый румянец, и коса до пояса. Дуэль, рана и разлука. Героическое спасение и верность до гроба. Какой уж тут тулупчик заячий и при чем здесь причитания Савельича?

Понять же и осознать, какую нужно иметь стальную волю, честь офицера и верность присяге, чтобы ответить маньяку-кровопийце вслед за своим казненным только что командиром: «Ты нам не государь, ты, дядюшка, вор и самозванец», —

и тут же быть повешенным, я до сих пор не могу. Да и никто не может. Такие герои в земле лежат, а мы вот на диванах.

Однако я отвлекся. Сочинения по «Поднятой целине» мне не давались, и учительница сказала: «Ну что ты мучаешься? Напиши о том, что тебе нравится». Хоть я и не читал еще, но мне ужасно нравились названия: «Прощай, оружие!» и «Осквернитель праха». «Рановато пока», — сомневалась она. Я захотел было по рассказам О.Генри, в крайнем случае по «Приключениям Тома Сойера», как вдруг она подняла указательный палец и воскликнула: «Точно! Марк Твен! Только не Том Сойер, а Гекльберри Финн! Потому что именно из него вышли все эти хемингуэи и фолкнеры, да и вообще вся современная американская литература». Возможно, это произнёс до неё кто-то из великих, но лично я услышал от моей учительницы литературы.

Поначалу, видимо, после Тома, героя романтического, удачливого в приключениях, любви и обретении богатства, простоватый, практичный и осторожный Гек мне не заходил. Ну что это за сравнение: «вспотел, как индеец»? Как он может так презрительно отзываться об отважных чингачгуках и оцеолах, коренных жителях Америки? (Один мальчик у нас говорил: «Овцеола, вождь семиногов».) Или описание Геком своей трапезы: «То ли дело куча всяких огрызков и объедков! Бывало, перемешаешь их хорошенько, они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче».

Но постепенно всё стало на места. И выяснилось, что в книге есть всё что хочешь. Даже спустя почти сорок лет после первого прочтения ничего не пропало. Только прибавилось. Есть лихой сюжет с приключениями, погоня и триллер. Травелог — путешествие по огромной реке, как по жизни. Есть настоящая дружба и борьба за права негров. Есть боевик с вендеттой, ужас, смерть и печаль. Есть юмор с иронией и философией — Герцог и Король. (Понятно, что вдохновило Ильфа и Петрова на некоторые перипетии Остапа и Кисы.) Есть хеппи-энд, в конце концов, и это важно!

И главное — есть язык. Сэм Клеменс, конечно, молодец. Но низкий поклон Нине Дарузес. Любой уважающий себя читатель знает это имя. Боюсь, если б не она, мы думали бы, что Маугли — это молодая лягушка, а Белый Клык — собачий зуб. Мы меньше любили бы Вождя Краснокожих и презирали шакала Табаки. Друзья, читайте английскую и американскую литературу в переводе Нины Леонидовны! Не пожалеете.

Теперь о грустном. Мне не везёт с Достоевским. Точнее, с одним из его главных романов. «Бесов» я прочёл не отрываясь. «Идиот» сперва меня захватил, а потом я отлистывал по несколько страниц и ждал, искал глазами, ну когда же он её зарежет. Рогожин Настасью Филипповну. А «Преступление и наказание» так оказалось тяжело, что я до сих пор боюсь за него схватиться. Но, слава Богу, у Него обителей много, и даже, возможно, найдутся для тех, кто пока «Преступления» не осилил.

Валерий Былинский, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Возвращение в океан

Сколько себя помню, в детстве я все время читал. На двор из нашей девятиэтажки меня было не выгнать, книги всегда были интересней какой-то там банальной жизни за окном. Хотя, конечно, иногда предки меня все-таки погулять во двор выгоняли, ведь в те идеалистические советские времена можно было сбежать из дома на несколько часов, и никто о тебе не беспокоился — родители знали, что ничего с их чадом не случится. Например, на Кубе, где я жил с отцом и матерью два года — с восьмого по девятый класс — мы с друзьями сразу после школы хватали пики, ласты, маски, трубки, подводные ружья и уходили на несколько часов охотиться в океан. На рифах

мы ловили рыб, лангустов, кальмаров и возвращались домой затемно. Никто нас не ругал, и кстати, я совершенно не помню: когда же мы учили уроки?

Сегодня я всерьёз полагаю, что те мои плавания в Мексиканском заливе тоже были чтением книг. Потому как — ну что такое книжки в моем детстве и подростковом возрасте во времена СССР? Романтика и приключения, и ничего более. Толстого и Достоевского я в школе ненавидел, Пушкина читать заставляла бабушка, Чехова вообще не помню, хотя его рассказы мы вроде проходили... Я предпочитал Уэлса, Фенимора Купера, Александра Беляева, Жюль Верна, Джека Лондона. Да, позже русскую классику я таки прочитал, и еще как, запоем, — но это когда мне уже было за двадцать. А вот самой первой, жутко интересной книгой в первом классе для меня стала повесть «Капитан Сорви-голова». Потом сразу — «Всадник без головы», тут же — «Приключения Робинзона Крузо»... Классе в третьем я был сражён наповал «Островом сокровищ» Стивенсона. И пошло-поехало: никаких унылых советских будней, только приключения на затерянных островах, индейцы, сокровища, пираты.

Еще, помню, произвёл впечатление Носов с его «Незнайкой на Луне». Потому, наверное, что это было путешествие в загадочный и опасный капиталистический мир...

Какие я книги пропустил... Да никаких! Потому что уверен: то, что тебе по-настоящему в определённом возрасте необходимо — ты обязательно получишь. Вот не читал я, к примеру, «Мушкетёров» Дюма или Стругацких — и не жалею. Полистал как-то уже лет в тридцать — не мое. Никаких там «Денискиных рассказов» в глубоком детстве я тоже не помню. То, что происходит в советском быту с такими же мальчишками, как я, — что может быть скучнее!

Что там еще... Какая книга из детства осталась со мной на всю жизнь? Сейчас подумаю. Может, «Остров сокровищ»? Нет, этот гениальный роман я снова никогда не открою. То, что вызывало восторг в десятилетнем возрасте, преступно опощлять перечитыванием в пятьдесят с лишним. Да ни за что! Пусть остается в памяти сердца.

Что еще... А-а-а! Вспомнил! Те книги, что я жадно читал, ныряя в океане близ Гаваны в восьмом классе, — вот они, пожалуй, остались со мной навсегда. И сейчас я нередко перечитываю тот свой морской, родом из детства, вечный роман. Он у меня всегда под рукой — несмотря на то, что за питерским окном сейчас дождь и слякоть, а вместо прозрачного океана на горизонте мелкий и мутный финский залив. Прививка свободой — это, знаете ли, навсегда.

Алексей Варламов, прозаик (г. Москва)

Прививки от взрослых болезней

Если честно, в такой формулировке мне трудно дать конкретный ответ. Нет ни книги на всю жизнь, ни книги, так и не прочитанной, по крайней мере, из школьной программы. В ту пору, когда я учился в школе, литература как предмет меня не слишком занимала — в отличие от географии, истории, языков. И к текстам в школьной программе отношение было довольно ровное. В сущности, и «Капитанская дочка», и «Мёртвые души», и «Война и мир» оставили меня тогда равнодушным. Ну да, читал, проходил, отвечал на вопросы, писал со скукой правильные сочинения, но не более того. Единственное исключение — «Преступление и наказание», да и то, потому что в этом романе угадывалось нечто «оппозиционное». Все-таки по отношению к советской идеологии в целом русская классика была безразлична и на мой тогдашний взгляд не вступала с ней в противоречие. Она ее как бы не замечала, не знала о ней или знала, что рано или поздно советское пройдет, а Пушкин и Толстой останутся.

Иное дело — Достоевский. В нем был виден «антисоветчик». Он отрицал то, чему нас учили на уроках обществоведения, и это было интересно, потому что было другим, непохожим.

Я оценил книги из школьной программы позднее, но все же полагаю, что первое поверхностное знакомство с ними не было ни лишним, ни бессмысленным. Всё равно что-то в человеческую душу западает. Возможно тогда мы этого не осознаем, но потом оно дает о себе знать. Чувство стиля, языка, какие-то детали, сравнения, эпизоды. Мне, скажем, в целом был непонятен «Онегин», но начало восьмой главы — «В те дни, когда в садах лица...» — завораживало. Я не понимал ни «Тамань», ни «Бэлу», но что-то меня тревожило, когда я их читал. Нравился Андрей Болконский и не нравился Пьер. Казался ужасно скучным Чехов, но нравился его язык. И потом, когда я перечитывал эти романы, повести, рассказы в университете и после, я поражался, как они бездонны, изменчивы, обманчивы, сколько смыслов и ходов в них запряваны, как меняется мое к ним отношение.

В этом, правда, есть какая-то загадка. Как написать так, чтобы оно было живо и много лет спустя? Какие секреты они знали? Почему одни книги остаются в своем времени, сгорают, падают, а другие вращаются вокруг нас? Или мы вокруг них. В чем тут дело? В языке? В стиле? В приемах? В судьбе? У меня нет ответа, но почему-то кажется, что не прочитай я их тогда, этого чувства удивления не было бы. Прививки от взрослых болезней надо делать в детстве.

Александр Григоренко, прозаик (г. Дивногорск)

«Так русский человек служит, любит, умирает, бунтует»

На всю жизнь остались «Преступление и наказание» и «Капитанская дочка» — последнее даже больше... Главные персонажи — за исключением, разумеется, Швабрина — для меня идеальный образ русского человека ныне и присно и во веки веков. Так русский человек служит, любит, умирает, бунтует. Классе в седьмом задали нам сочинение о любимом герое повести, и я уже собрался было писать про капитана Миронова и его жену: меня зачаровывала их простота и верность (которую я тогда вряд ли смог бы описать), и от слов «свет ты мой, Иван Кузьмич, удаляя солдатская головушка, не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие... Унять старую ведьму...» — горло перехватывало, и сейчас перехватывает... Но нас заранее предупредили, что любимым героем должен быть Пугачёв, иначе выше тройки не ждите, а за тройку могут на хоккей не пустить, поэтому я и пошел путем конформизма, недостойным литератора. Однако, несмотря на эту измену, все упомянутое выше — осталось и стало даже не убеждением, а некой частью кровеносной системы.

Пугачёв, кстати, мне тоже нравился, только я тогда не понимал четко — чем именно. То, что он «за народ», конечно, замечательно, я ведь тоже за народ, я, наконец, и сам — народ. Но картину портила его глупая жестокость. Зачем он вешал хороших людей? Вешал бы плохих... Много лет спустя, открылся секрет этой привлекательности в эссе Марины Цветаевой «Пушкин и Пугачёв» — два антагониста, соперничающие в благородстве, очаровывают всех и всегда.

Что касается «Преступления и наказания», то роман остался во мне как загадка, разгадывать которую интересно, страшно и невероятно важно, ибо она касается самой сути человека, и потому не жалко потратить на нее жизнь. Вот понемногу и трачу. На мой взгляд, великая литература отличается от обычной, в том числе вполне

качественной, прежде всего своей многомерностью, ее можно исследовать как собственно природу, в то время как обычная являет собой прекрасное лесное озеро глубиной два сантиметра.

Не остался во мне, как ни странно, всё тот же Пушкин, а именно «Евгений Онегин». Полностью, по-честному я прочитал его совсем недавно, в 55 лет, на нижней полке плацкартного вагона. Причина такого опоздания в том, что мне изначально не интересна жизнь декоративных собачек. Аристократ, который не воюет, не философствует, не правит, или хотя бы не зверствует над простолюдинами, а всего лишь живет в свое удовольствие за счет труда других, — для меня именно такая собачка. И потому я не мог — да и теперь не могу — убедить себя, что у него возможны какие-то трагедии. У собачек трагедий нет, есть блажь, удовлетворенная или не, и потому мой организм не принимает не только героев стихотворного романа, но и Анну Каренину, оперетты Кальмана, кинематограф Висконти — не принимает при полном рассудочном знании, что это изделия великих мастеров.

Одно время я всего этого стеснялся, полагая, что булькает во мне затаенное классовое сознание. Но сам по себе «Евгений Онегин» — сильнейшее предостережение об исторической нежизнеспособности класса, который не только паразитирует, но находится в культурном и, наконец, языковом антагонизме с народом. Пушкин, обрамляя предисловием переводчика послание Тани, не умевшей по-русски написать «я твоя», видимо, догадывался о такой грустной перспективе. К которой затем подтягивали нашу революцию, но ведь так бывало и раньше, и не у нас. В Японии сороковых годов XIII века аристократов свергли самураи, в то время — слуги, мужичье с оружием. Языком аристократии был китайский, книги, мода — всё оттуда. Вряд ли Пушкин об этом знал, но что-то такое чувствовал...

Максим Гуреев, прозаик (г. Москва)

В поисках загадки, или Опыт ожидания

Правильно, оказавшись на рейсе Москва — Махачкала, или Москва — Владикавказ, взять с собой в дорогу томик Михаила Юрьевича. В том смысле, что это как бы само собой напрашивается. Кому-то, впрочем, сие может показаться трюизмом, мол, кого как не командира отряда пластунов (спецназовцев по-нынешнему) М.Ю.Лермонтова читать по пути на Кавказ. Его и читать, но вовсе не потому, что там воевал героически, а потому, что как никто другой из русских писателей (по моему мнению) постиг он эту землю, ведь лежал на ней, таился в ней, подолгу смотрел в небо, ведь оно тут совсем близко.

Сначала перечитывал «Героя нашего времени» автоматически, просто привык наблюдать знакомые картины, переживать выверенные до мелочей эпизоды, вслушиваться в монологи и диалоги, где каждое слово уже давно было больше, чем слово, но фрагмент, житие, иероглиф.

А вот когда в начале 2000-х впервые поехал на Кавказ, то сразу и понял причину этого подсознательного влечения к тексту Михаила Юрьевича — он зазвучал и ритмически оформился так, как тут (в горах) все звучит на протяжении многих веков, как все ритмизовано тут и веками, из рода в род, из поколения в поколение установлено.

В Москве этого было не понять, не усвоить...

То есть получается, что роман (или повесть) перемещается не только во времени, для классического текста это нормально, но и таинственным образом

в пространстве. Особенно в станице Тамань это становится очевидно, когда теплой сентябрьской ночью выходишь на берег залива, оглядываешься по сторонам и видишь слепого, сидящего у воды. Далее по тексту: «...Я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с небольшим сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление».

Что же касается до книг, которые так и не осилил, то тут почему-то сразу на память приходят «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». И вовсе не потому не дочитал, что роман не нравился, скорее, напротив, нравился, выглядел легко, даже лихо написанным, а потому отложил книгу, что сразу про нее все понял. Поиск загадки, тайны не увенчался тут успехом, что вызвало досаду в первую очередь от того, что не хотелось думать о себе лучше, чем об авторе, а приходилось. Совершенно неожиданно сработала известная русская интенция «а я могу, и не хуже». Дерзко, но для того, кто уже замыслил взять в руки перо, — закономерно.

Умение найти загадку (не загадывать ее) и понять, что разгадать ее невозможно, — дорого стоит, это тоже своего рода амбиция. Например, амбиция пластуна М.Ю.Лермонтова, который лежит на каменистом откосе Аргунского ущелья и пристально всматривается в таинственные мерцающие сумерки. Он не знает, что его ждет, но он уверен, что именно это ожидание, зафиксированное на листе бумаги, и есть текст, который закончится, неведомо когда и где.

Если закончится, конечно...

Андрей Дмитриев, прозаик (г. Москва)

«Что я навсегда пропустил в 5-м классе...»

Вопрос озадачил. Прежде чем ответить на него, мне пришлось вспомнить, что собой представляла программа по литературе, принятая в 1960 году, по которой училось мое поколение школьников. После школы я учился на филфаке, окончил ВГИК, и неудивительно, что одна школьная и две вузовские программы как-то склеились в моей памяти.

Попросил у интернета эту память освежить.

Говоря о школьной программе, мы имеем в виду уроки по литературе в 8—10-х классах, когда литература преподавалась в своей исторической последовательности. В перечне произведений, упомянутых, к примеру, «Арзамасом», я не нашел ни одного, которое не было бы мною прочитано хотя бы один раз. За исключением разве что «Коняги» Салтыкова-Щедрина. Ума не приложу, как так вышло, и чем «Коняга» провинилась предо мной.

Я решил заглянуть в хрестоматии для разных классов школы. Увы, пока не нашел ни одной для 8—10-х классов, но был потрясен тем, как формировалось представление о литературе у школьников 5—7-х классов. Историческая последовательность в этих хрестоматиях, понятно, полностью проигнорирована, вместо нее — хаотичный произвол составителей, но зато этим составителям удалось меня пристыдить: из предложенного ими я много чего не читал и вряд ли когда-нибудь прочту.

Вот, к примеру, что я навсегда пропустил в 5-м классе (привожу в предложенной составителями последовательности):

Пришвин — «Перелёт»; Шолохов — «В лесу осенью»; Пришвин — «Зазимок»; Бонч-Бруевич — «Наш Ильич»; С.Михалков — «В музее Ленина»; Ю.Герман —

«Восстание в тюрьме» (из рассказов о Ф.Дзержинском); И.З.Суриков — «Весна»; Лебедев-Кумач — «Мы Родину славим трудом».

А вот это прошло мимо меня в никуда уже в 6-м:

Демьян Бедный — «Кларнет и рожок»; С.Михалков — «Слон-живописец»; И.З.Суриков — «Доля бедняка»; А.И. Пантелеев — «На ялике»; А.И. Куприн — «Тапёр»; М.Горький — «Симплонский туннель»; С.Т.Аксаков — «Лебедь»; Н.С.Тихонов — «Сами»; М.Исаковский — «Дума о Ленине»...

Оговорюсь, что Пантелеева, Куприна, Аксакова, Горького, даже Исаковского я в целом высоко ценю, но составителям этой хрестоматии, а значит, и их выбору я в целом не доверяю. Остается лишь гадать, насколько были готовы тогдашние пяти-семиклассники к восприятию литературы хотя бы на уровне дальнейшей школьной программы, если предположить, что иного доступа к литературе, кроме как в подобных хрестоматиях, они не имели...

Елена Долгопят, прозаик (посёлок Лесной, Московская область)

«Мог стать героем на войне, но был ли он хорошим человеком?»

Я читала всё: и «Молодую гвардию», и «Что делать?», и «Героя нашего времени», — такой я была всеядный читатель, меня только передовицы в тогдашних газетах могли уморить. А книги школьной программы увлекали. Хотя и в разной степени. Особенно я полюбила «Героя нашего времени». В «Молодой гвардии», к примеру, было совершенно ясно, кто герой (и значит — хороший человек), а кто предатель (и значит — плохой человек). Печорин вполне мог стать героем на войне, но был ли он хорошим человеком? Нельзя сказать однозначно.

Печорин был странный. Сложный. Он занимал мои мысли. Я думала о нем как о действительно живом человеке. Он как будто выступал из книги и смотрел на тебя. Прочие герои меня не видели, их мир был замкнут.

Но самое сильное впечатление произвела другая книга.

Со школьных времен сохранилась тетрадка (была толстая, стала тонкая, много листов утратила) в серой, клеенчатой обложке. В этой тетрадке полно отрывков из «Войны и мира». И про княжну Марью, и про князя Андрея, и про Наташу, и даже про Наполеона. Про самоуверенность немцев, французов, англичан, итальянцев и русских (русский ничего не знает и знать не хочет). Про Николая (можно убить и быть счастливым). В отошавшей этой тетрадке немало математических формул (загадочных для меня сегодняшней). Есть какие-то мои умствования. Есть отрывки из других книг. Но «Война и мир» — на первом месте.

Я читала ее летом, на каникулах, в Муроме; страшно рыдала, когда убили Петю.

Все герои были живыми, я не могла их иначе воспринимать (как вымысел). Они и сейчас живые для меня. Потому что жили полной жизнью. И в моем воображении тоже. Толстой вдохнул в них душу.

Я несколько раз перечитывала «Войну и мир». В больнице, например, в городе Пушкино. Морозище, сосны за окнами, в окнах щели; мы заталкивали газеты, чтобы не дуло. И вот я читала, забывала о себе, мир оказывался велик, и все в этом мире бессмертно, даже погибшие, не дожившие до финала, до последней точки в последнем предложении.

В прошлом году я сделала операцию на глаза. Читать нельзя, и я слушала «Войну и мир» в исполнении Александра Клюквина. Это было забавно, потому что

до этого я слушала в его исполнении «Гарри Поттера». Так что они все говорили его голосом (точнее, голосами; Клюквин умеет и любит менять голос, интонацию). И поначалу мне казалось, что я слушаю какое-то странное продолжение «Гарри Поттера», но это длилось недолго.

Дело не в этом. Слушая Клюквина, я уже не пропустила в этом мире войны.

Нет, я и в школе читала про небо Аустерлица (и про гибель Пети, если вы не забыли). Но я не читала про все эти перемещения войск. Или читала невнимательно (быстрее, быстрее, к Наташе, как она там). Но Клюквина я слушала внимательно. Закрывала глаза и слушала. И, как ни странно, мне было не скучно.

То ли поумнела, то ли постарела.

P.S.

Сегодня утром мы с мамой сидели на кухне. Октябрь, ветер, дождь, бог знает что творится в мире. Мама принесла потрепанного «Евгения Онегина» и прочитала мне: *театр уж полон, ложи блещут...*

Чудо. Магия. А волшебная палочка — гусиное перо.

Денис Драгунский, прозаик (г. Москва)

Александр Сергеевич и Николай Гаврилович

Школьная классика, которая со мной на всю жизнь, — это «Евгений Онегин». Почему, за что я так полюбил этот роман в стихах? За изящество. Онегинская строфа (я даже об этом писал сочинение) — капсула жизни, одновременно лирика, драма и басня — две финальные строки завершают подробное, но ясное высказывание. Онегин — это водопад толкований и комментариев. Не только брежет и боливар, но и: почему у Ленского отдельная могила? «У ручья в тени густой», а не на кладбище, как положено? Потому что дуэли запрещены, и его смерть оформили как самоубийство, а самоубийц на кладбище не хоронят, — так сказала одна умная девочка. Но вообще — говорили мы все — смерть Ленского была запрограммирована. Они с Онегиным давно поссорились. Он на Онегина злился из-за Ольки. Онегин сказал, что Олька толстая, краснокожая и глупая. А Ленский обиделся и стал ругаться. Как там у Пушкина:

Владимир «Сука!» отвечал
И всю дорогу взад молчал.

Вот он ему и припомнил. Онегина не ссучишь!

А у меня — личная благодарность Онегину. Я был в восьмом классе. Папа мне вслух читал роман Пушкина, объяснял непонятные слова и вдруг спросил: «Как ты думаешь, сам Евгений Онегин был образованным человеком?» Я, надменный советский школьник, ответил: «Ну что ты! Какое там! Молоденький поверхностно начитанный светский франт!» Но папа сказал: «Бог с ним, с Адамом Смитом, а также с Гомером и Феокритом. А знаешь ли ты *довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать?* Помнишь ли ты, *хоть не без греха, из Энеиды два стиха?*» Я страшно разозлился и прямо назавтра купил учебник латыни, но скоро понял, что в одиночку не справлюсь. Тогда мне нашли учительницу латинского языка. Дело кончилось филфаком МГУ, отделением классической филологии.

А Чернышевский пролетел.

«Что делать?» — наверное, единственная книга из программы, которую я не осилил. Не мог. Открою, две страницы читаю — и снова закрою. Не лезет. Даже всякие соблазнительные для школьника штучки меня не интересовали — например, такие: *Сторешников вообразил себе Верочку в разных позах и хотелось ему, чтобы эти картины осуществились. Не осуществит их в звании любовницы — пусть осуществляет в звании жены; главное дело не звание, а позы, то есть обладание. Уж слишком глубоко эти позы тонули в социализме.*

Мне кажется, мало кто из нашего класса прочитал эту книгу. Ну и хорошо, а то бы она кого-нибудь перепахала, как Володю Ульянова, — и ой-ой-ой. Зато в учебнике была картинка — Чернышевский сидит в Петропавловской крепости, в тюремной камере, за столом, и пишет свою книгу. Мы рисовали на столе бутылку и стакан и писали: «Великий русский демократ в поисках сермяжной правды». Или вырезали эту картинку и подклеивали к знаменитому портрету Некрасова кисти Крамского — где больной поэт лежит на диване весь в белой пижаме — и надписывали: «Умиравший Чернышевский у постели выздоравливающего Некрасова».

Сильнее всего я боялся, что на вступительном экзамене на филфак мне попадет «Что делать?». Но — повезло. Там был Гоголь. «Мёртвые души» я люблю так же сильно, как «Евгения Онегина», но уж ладно, об этом в другой раз.

Анна Козлова, прозаик (г. Москва)

«С недоверием я открыла эту книгу и пропала»

В школу я пошла в 1987 году и имею честь принадлежать к последнему поколению детей, принятых в пионеры.

С самого начала, с самого первого дня стало понятно, что уроки «чтения» существуют для того, чтобы вызвать стойкую неприязнь к чтению как процессу и литературе как феномену человеческого самовыражения.

Читать приходилось рассказы Бонч-Бруевича о Ленине, абсолютно лишённые смысла, юмора и сюжета. Каждый рассказ был просто призван проиллюстрировать, что Ленин гораздо умнее и смекалистее тех, кто чинил ему козни.

Тогда, конечно, я не задавалась вопросом, как такой умный и хитрый Ленин загремел в тюрьму, где ему пришлось «кушать чернильницы», и в этом смысле точно попадала в школьный советский мейнстрим.

Литература существовала исключительно как иллюстрация исторических процессов. Ещё она могла описывать природу (это самое мучительное) и повадки животных.

Создавалось впечатление, что людям, чьи произведения попали в школьную программу, просто нечего было делать.

Сколько можно писать про угнетение рабочего класса и крестьянства? И, главное, зачем, если и так всем было давно ясно, что и тех и других страшно угнетали?

Была ещё одна ветвь чтения, призванная демонстрировать, что не только в бывшей России мучили рабочий класс и крестьянство, но, скажем, и в Монголии не все с этим обстояло гладко, да и поэты Средней Азии любили понюхать про притеснения и попутно восхититься красотой родного края.

Дома мне были доступны сокровища.

Я читала сказки народов мира, в моем распоряжении наличествовало собрание сочинений Гофмана, «Фауст», Джеймс Крюс, Томин, на худой конец.

Помню, что как раз во втором классе я обманулась названием «Остров пингвинов» Франса, рассчитывая, что там будет про приключения пингвинов, но там была скучная политическая антиутопия, и прочла я роман только в университете.

При этом, что любопытно, Акутагава в этом возрасте шел очень и очень хорошо.

Сломить мое презрение к школьной программе смог «Герой нашего времени».

Пушкиным насильовали так, что ты уже не мог вникать в суть им написанного, «бура мглоу» были выжжены кочергой на печенке.

А Лермонтов мощно укреплялся в сознании словами «погиб поэт, невольник чести».

Работало и работает, скажу я вам. До сих пор я помню наизусть «На смерть поэта» и гимн Советского Союза, при том что гимн России я так и не смогла выучить.

Помню, что классе в пятом или шестом встала необходимость прочитать «Героя нашего времени» под страхом, естественно, двойки. Что кто-то будет читать добровольно, наши педагоги не верили, если, конечно, речь не шла о «похабщине».

С недоверием я открыла эту книгу и пропала.

Это было настолько прекрасно и настолько соответствовало моим собственным, тогда еще слабо проявленным, представлением о жизни, что на Лермонтова я посмотрела совершенно иными глазами.

У меня впервые возникло некое личное, не от родителей, сомнение, что человека, способного так писать и так видеть, очень сильно волновало угнетение крестьян и что именно этому обстоятельству он посвятил свой гений.

Несмотря на то, что на уроках литературы весь роман нам подавался через Максим Максимыча, а Печорин порицался, я отлично понимала, что Максим Максимыч в силу своей примитивности не может быть героем такого великого произведения.

И что речь идет не о распущенности отдельного Печорина, а о том, что есть человек, как устроена его душа, в которой в равных пропорциях наличествуют и свет, и тьма.

Любовь к этому роману я сохранила на всю жизнь. И сколько бы ни переезжала, всегда брала с собой «Героя» в белой глянцево́й обложке с обманчиво кротким портретом Лермонтова под заглавием.

Илья Кочергин, прозаик (деревня Кривель, Рязанская область)

Последствия аллергии

Я часто радуюсь невозвратности моего ушедшего счастливого детства. Почему-то нет ностальгии. Полная семья, любящие родители, несменяемые лозунги несменяемого мира, солнце, целыми днями бьющее в окна уютной московской двушки в Тёплом Стане. Потом английская спецшкола, где за десять лет учёбы видел всего пару вялых драк. Всё это, наверное, очень важно для начала жизни. Но тем труднее тебе потом, когда ты покидаешь свой уютный парник и пытаешься высадить самого себя в открытый грунт.

В английской спецшколе моего детства дети находились в полной безопасности, единственное, что им могло грозить — аллергия на некоторые предметы и отвращение к общественной жизни. Я подхватил оба заболевания, и жальче всего, что у меня возникла стойкая аллергия на русскую литературу, которую я лечил довольно долго.

К докторам не ходил, занимался самолечением. Пугающего Достоевского в тридцать лет пытался сочетать с влюблённостью, чтобы создать положительные ассоциации. Толстого по очереди читал вслух с сыном в деревне вечерами, радуясь

семейному теплу. До «Капитанской дочки» — до её осмысленного, радостного и неторопливого проглатывания — дозрел на пятом десятке. Стихи некоторых советских поэтов слушал от лесников у таёжных костров, Айтматова обсуждал с колхозным конюхом-алтайцем на охоте. Что-то наверстал в Литинституте, что-то заставил себя прочитать волевым усилием.

Но до чего так и не заставил себя добраться — до Пришвина с Паустовским. Слышу эти фамилии, и сразу в ушах раздаётся жужжание ламп дневного света, в глазах встают портреты классиков на стене, тоска крашенных казённых стен и ненавистные упражнения из учебника русского языка с цитатами из них, в душе появляется тоска обречённости перед контрольной.

Поэт Комаров недавно предложил мне осилить Пришвина вместе, восполнить зияющий пробел, так сказать. Вместе не так страшно. К тому же в этом году был полуторавековой юбилей этого писателя. Давай восполним и обсудим?

Но нет, не получается, хотя я и согласился на это предложение. Что же мне мешают? Взятся писать этот текст и задумался об этом.

В моей семье химиков-технологов к гуманитариям относились подчёркнуто толерантно, как и положено относиться к неполноценным людям — не стоит их обижать, людям и так сильно не повезло в жизни. Но пренебрежение не утаишь. Такое же, наверное, отношение к этим писателям — несколько пренебрежительное — осталось у меня с нежного возраста. Дескать, великие умы берутся рассказать нам о человеке и через изображение человека, ибо человек — мера всех вещей. А второстепенные занимаются второстепенными темами: природой, птичками и цветочками. Первых ты должен читать, чтобы прокачать культурность, вторые — необязательны.

Не ожидал от себя такого признания. Я, человек, который прожил свой «золотой век», работая лесником в заповеднике, который уехал из Москвы в деревню и считает, что во многом через природу и осознание своего места в ней мы можем деколонизировать себя, выкарабкаться из опостылевшего модерна и перестать как пироманы любоваться очищающим огнём постмодерна. Выкарабкаться и сказать, наконец, что-то свежее, новое. Взять и вот прямо сказать это новое и честное, без постиронии и постпостиронии.

Считать-то я так считаю, но почему-то жалею свои силы и время на тех, кто в крошечном двадцатом веке смог увидеть в литературе что-то кроме человека, его идей, эмоций и свершений. Стараюсь, наверное, быть эффективным — жизнь коротка, а обязательных к прочтению писателей много. На ком-то нужно сэкономить.

Меня опечалило это осознание, скажу честно. Пойду всё-таки открою дневники Пришвина. А вдруг они окажутся книгой на все времена? Хотя сомневаюсь, что бывают такие книги, да и как проверишь — не будешь же сравнивать «Моби Дика» и эпос о Гильгамеше.

Александр Мещеряков, переводчик (г. Москва)

«Круг чтения я определял сам»

В первом классе я бойко озвучивал букварь, но читать ещё не полюбил. Мама, которая мыла раму, не вызывала желания открыть другую книжку. Тем не менее за отличную успеваемость и примерное поведение наша учительница Анна Павловна Косицкая после окончания первого класса подарила мне «Рассказы о зверятах» Чарушина. Июнь 1959 года выдался холодным и дождливым, и, хотя мы жили на привольной даче, гулял я мало. Тогда-то я и прочёл от начала до конца эту свою первую

книжку с зелёной обложкой и чудными рисунками и вдруг понял, что поставленные в правильном порядке буквы вызывают ветер, способный разгонять тучи. Действительно, с последней страницей настали солнечные деньки, и я зажил на улице. Но зимой заболел свинкой. Уши болели ужасно, голову забинтовали и утеплили. Утопившись в перине, я разглядывал «Весёлые картинки», перебирал сухими губами истории из «Мурзилки». Журнальчики убивали лихорадочное время, лечили меня. После свинки до самого десятого класса я не пропустил по болезни ни одного школьного дня, но теперь мне уже не требовался предлог, чтобы открыть книжку. Так что я успел прочесть не так мало. Сидя у подоконника, развалившись на диване с неудобными для головы валиками, укрывшись с фонариком под одеялом... Прочтя Свифта, я усаживался обедать и воображал себя Гулливером: ножка курицы представлялась мне быком на вертеле, а рисинки — зажаренными овечками. Читая Бианки, я хотел стать добрым зоологом, наблюдательным фенологом... Круг чтения я определял сам, что сильно раздвинуло границы моей свободы.

Когда закончилось детство и я вступил в пубертатный возраст, я стал дерзить и хуже учиться, казалось, что меня никто не понимает и не любит, мне хотелось избавиться от самого себя, сердце и головной мозг не поспевали за ростом конечностей. У меня обнаружили сердечные шумы, врачаха строго-настрого запретила заниматься спортом, велел через несколько месяцев снова явиться на осмотр. Возвращаясь после уроков домой, я грел щи и котлету с макаронами, заваливался на диван и читал. Стивенсон одаривал меня стакселями и брамселями, пиратами и ромом. Дюма заставлял делать выпады воображаемой шпагой. Индейцы Майн Рида с непроизносимыми именами гнали бизоньи стада прямо на диван. После Джека Лондона мне захотелось податься в старатели, заболеть цингой и вылечить её хвойным отваром или картофельным соком. Прочтя Луи Буссенара, я мечтал поучаствовать в бурской войне, побыть ненадолго убитым или хотя бы раненым. Никогда в жизни доля иностранной словесности в общем объёме чтения не была так велика, как тогда. Всё-таки странно, что русские писатели хорошо сочиняют для детей и взрослых, а для юношей умеют плохо.

Я и сам по себе любил читать, но учительница литературы, Евгения Леонидовна Шиманович, с ласковым прозвищем Геша, давала направление, называла имена, о которых у нас дома и не подозревали: Цветаева и Мандельштам, Булгаков и Хармс. Евгения Леонидовна была молода, с чёрным пушком на верхней губе и гладкой желтоватой кожей, которую тянуло потрогать. Глаза-бусинки и чувствительный любопытный нос делали её похожей на сказочную мышку из детской книжки с картинками, нарисованными добродушным художником. Такую мышку хочется немедленно угостить сыром. Вместо этого приходилось обходиться тюльпанами на 8 марта.

Когда Евгения Леонидовна вызывала к доске, я с выражением читал «Онегина» непосредственно ей. Ей, похоже, этот текст нравился. Как-то раз она попросила меня почитать вслух в классе «Ревизора». Это была сцена, когда объявляется, что от заседателя разит водкой, поскольку мамка в детстве ненароком ушибла его. Во время чтения мне стало так уморительно, что я непритворно свалился со стула вместе с книжкой, которую продолжал озвучивать, уже катаясь по полу. Стоя на своём учительском месте, Евгения Леонидовна тоже от души засмеялась, мы смеялись вместе, это было счастье. Она была единственным учителем, у которого я бывал дома, ещё учась в школе.

Евгения Леонидовна хвалила меня и поддерживала убеждение, что у меня есть литературные способности. В последних классах я уже пописывал ужасные упаднические стихи, зачитывался Блоком. «Уж не мечтать о нежности, о славе, // Всё миновалось, молодость прошла! // Твоё лицо в его простой оправе // Своей рукой убрал я со стола». Когда я томно читал стихи на вечерах самодеятельности, девочки

рдели и млели, но одноклассники дружно ржали. От окончательного мужского презрения меня спасало только то, что я был капитаном сборной школы по ручному мячу и бегал быстрее всех.

В последнем классе литературу преподавала уже не Евгения Леонидовна, а Петруша (Пётр Георгиевич) с жутковатой фамилией Волкоедов, которая так не вязалась с изящной словесностью. «Шолохов прекрасно описывает природу — сразу видно, какое это время года», — втолковывал он. Пётр Георгиевич был раздраженный контузией фронтовик с тёмной кожей, подкопчённой взрывами снарядов и табачным дымом. На этом фоне слегка выпученные белки казались особенно белыми. Пётр Георгиевич учил «по учебнику», вольнодумства не поощрял, а я им бахвалился. В сочинениях записывал Горького в графоманы, позднего Маяковского не признавал, нахально заявляя, что лучше бы он остановился на «Облаке в штанах», а перед хихикающими одноклассниками гордо декламировал: «Вам ли, любящим баб и блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре блядям подавать буду ананасную воду!» Петруша ярился от моих сочинений, яростно отчеркивал нахальные пассажи, тетрадь краснела. Но с моей грамотностью он ничего поделывать не мог и не хотел. Вот я и получал за грамотность «пять», а за содержание — «тройк» или даже того меньше.

Недавно я впал в детство и перечитал Джека Лондона. «Сердца трёх» оказались полным бараклом, а вот от ранних рассказов снова повеяло северным ветром, несущим скупой мужской восторг.

Кирилл Рябов, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Пушкин — великий русский гений. Вот и всё»

А сколько мне было? Лет десять? Пожалуй, десять. Бабушка заставляла читать ей вслух «Капитанскую дочку», а я умирал со скуки. Хотелось бежать на улицу, играть в футбол, в прятки, во что угодно, Господи, но лишь бы не сидеть на диване, источающим затхлый запах, и не читать эту муть. Сказал бы кто, что спустя ещё лет десять эта книга станет моей самой любимой на веки вечные, никогда бы не поверил. Но так случилось. Как? Не знаю. Пушкин — великий русский гений. Вот и всё. И добавить тут нечего. Я перечитал «Капитанскую дочку» раз... Да не знаю даже. Не считал. Ещё и послушал аудиокнигой. Не любитель такого формата. Но в исполнении Иннокентия Смоктуновского это звучит чудесно, волшебю. И вот прямо сейчас, при написании этого незатейливого текста, включил фоном «Капитанскую дочку» и залип, дальше писать невозможно. Потому с большой неохотой нажимаю на паузу, включаю фоном любимую мою группу Khruangbin и продолжаю.

Как известно, люди в мире делятся на две категории. Те, кто читал «Анну Каренину» и те, кто делают вид, что читал. Признаюсь, я в категории тех, кто делает вид. Совсем не помню, чтобы в школе этот великий роман был в учебной программе. Ведь наверняка был. Но, впрочем, кто его знает. Учился я в девяностые годы, программа то и дело менялась, учителям, которым не платили зарплату, было интересно лишь прокормление семей. Это отдельная история. Но вкратце. В начале моего учения Владимир Ильич Ленин был великим вождем, почти что нашим Иисусом Христом, а спустя год он вдруг превратился в человека, убившего Россию. Успел я попасть в октябрюта, а спустя год носить на лацкане звездочку с юным Володей Лениным стало позорно. Короче говоря, всё менялось постоянно. Тут, наверно, и «Анну Каренину» каким-то образом вымело из учебной программы. Совсем не помню ее. Впрочем, дело тут, возможно в том, что сам я слишком часто прогуливал уроки.

Любил, знаете, вместо школы сесть в трамвай и кататься часами по городу. А город мой прекрасен, невозможно налюбоваться. Потому мог и пропустить. Ну а дальше столько прочитал и послушал про роман, что читать его вроде бы уже и смысла не было. Глупо, конечно. Сам понимаю. Потому не далее как позавчера зашел на один известный сервис, торгующий всем на свете, от зубочисток до автомобилей, и купил «Анну Каренину».

Хочу ещё про одну книгу рассказать. Ее точно не было в моей школьной программе. Но ее читали все мои знакомые, друзья и приятели. А я не читал. И все мои знакомые, друзья и приятели, узнав об этом, сильно удивлялись и удивляются. Это повесть Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Всего Сэлинджера прочитал, а вот эту повесть не читал. Была такая история. В свое шестнадцатилетие зашел я в книжный магазин, денег имелось на одну книжку, выбирал я, выбирал и выбрал «Заводной апельсин». А потом уж время как будто ушло, читать «Над пропастью во ржи».

Алексей Сальников, прозаик (г. Екатеринбург)

«Фокус в том, что загадка не разрешается с возрастом»

Не ручаюсь за точность цитаты, но обнаружил у Чехова замечательную фразу, которой спешу запоздало поделиться: «Русская публика не верит в справедливость, раздающую пощечины». К чему это? Да просто так. Потому что речь пойдет о Достоевском.

Так получилось, что он, как только появляется в школьной программе, так из нашей жизни и не уходит, хотим мы этого или нет, а становится чем-то вроде осей координат для дальнейших культурных переживаний в жизни, и все последующие впечатления от книг, фильмов, пьес — находятся в разных частях нашей души, порой сдвигаются относительно друг друга, но точкой отсчета всему этому движению служит история про убитую старушку-процентщицу. (Кстати, заметьте, процентщица — феминитив, естественно появившийся еще задолго до того, как за них принялись, а затем бросили бороться).

Возможно, «Преступление и наказание» вовсе не образец изящной словесности, всё тут не так, чтобы читать было комфортно: в каморке Родиона постоянно толкотня, сам он бродит по Петербургу, впадает в горячку, страдает, и многие вокруг страдают, заламывают руки, стушевываются, спорят ни о чем, треплют нервы другим, а прежде всего самим себе, и всё это как будто без надобности. В Петербурге жароша, Раскольников шатается по городу в пальто и вроде бы ни разу не моется за все время романа. И ещё в школе, даже если читаешь роман фрагментарно, лишь для того, чтобы подготовиться к сочинению на четверку, всё равно проникаешься этой вот болтовней, жаром, мельтешением говорливых персонажей. Школьником наталкиваешься на этот роман, как на стену, с абсолютным непониманием, для чего это обсуждать, ведь и так понятно, что Родион Романович неправ. Фокус в том, что загадка эта не разрешается с возрастом, пусть некоторое понимание поднятых вопросов (или иллюзия этого понимания) отчасти и возникает.

Есть отдаленное сходство с партией в настолку «Подземелья и драконы» в этих обсуждениях литературы в школе, в компании. Разве что вместо подземелий у нас жизненные ситуации и экзистенциальные вопросы, а вместо драконов отдельные персонажи. Сценарий «Преступления и наказания» — один из самых сложных,

и тем-то он и прекрасен. Считаю, нам очень повезло, что именно в нашей литературе есть это произведение, которое мы можем воспринимать без перевода, так сказать, из первых рук понятной нам речи, в некотором смысле играть в этот роман, начиная с подросткового возраста, счастье не принимать его, не принимать автора этого романа, упрекать его в лудомании, болезненной ревности, зависти к Ивану Сергеевичу, но чужими от этого не станут ни тексты, ни сам Фёдор Михайлович.

Мы как-то словесно сцепились с супругой прямо во время вечеринки с друзьями по причине того, что Лена сказала, что в школьной программе по литературе нужно что-то менять, сделать ее более понятной для детей, я стал брызгать ядом, предлагая тогда и арифметикой заниматься до одиннадцатого класса, причём не выходить в счете за пределы пяти десятков, можно оставить только сложение и вычитание, никаких дробей, биологию можно отменить, а оставить только природоведение, вот тогда-то все всем будут довольны.

Как же она веселилась потом, когда выяснила, что я не читал «Евгения Онегина» дальше первой главы. В свое оправдание могу сказать, что зато первую я знал когда-то наизусть, но это оправдание слабое. Но, что поделать, не могу себя пересилить, и всё. Видимо, дело в том, что знаю, какие там дела творятся дальше, не понимаю, в чем причина конфликта Ленского и Онегина (скажете — Татьяна, так какая это причина?), мне с детства не нравилась вся эта дурь с дуэлями, которая русскую литературу не доводила до добра. Не знаю, как-то хватало того, что в свое время пролистал до письма Татьяны Евгению, выучил, забыл, что там дальше первых двух строк. Запомнил замечательное «Татьяна в лес, медведь за нею», что в настоящее время вызывает в голове почему-то комичные кадры из мультсериала «Маша и медведь».

Каюсь, как Раскольников перед всем честным людом.

Антон Секисов, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Когда слышу имена персонажей, охватывает тоска»

«Преступление и наказание». Прочитал его на пару лет раньше, чем следовало по школьной программе, и это был сильный ожог. Когда началось погружение в лихорадочный мир Раскольникова, у меня самого поднялась температура, я читал, забыв об обеде (чего со мной никогда не случается), и, когда наконец явился на кухню, бабушка сообщила, что у меня как-то странно блестят глаза. Правда, перевалив за середину книги, подустал от этих метаний и истеричной взвинченности большинства персонажей и дочитывал из-под палки: но запал первых десятков страниц был очень мощным. С тех пор навсегда полюбил Петербург и тогда же, вероятно, если не понял, то впервые почувствовал, о чем хочу писать сам: о странных нервных героях, абстрактных идеях, которые овладевают людьми, о пограничных состояниях между сном и реальностью. Перечитывал этот роман раза три-четыре.

Розанов говорил о Салтыкове-Щедрине так: «Не читал, и этим многое спас в душе своей». Раньше я комплексовал по поводу каких-то непрочитанных книг, но потом уговорил себя думать так, что это, может, и к лучшему. Если что-то интуитивно читать не хочется, то и не стоит. Вот так у меня, например, с «Тихим Доном» Шолохова. Не сомневаюсь, что это великий роман, но также абсолютно уверен, что во мне он не отзовется и даже, быть может, окажет негативное влияние. Почему-то, когда слышу имена персонажей: Мелехов, Аксиныя, — сразу охватывает тоска. Простите, если кого-то оскорбил или привел этим в ужас.

Роман Сенчин, прозаик (г. Екатеринбург)

«В школе нам литературу преподавали невкусно»

Я учился в школе в 1979—1989 годах, и школьную программу по литературе того времени не помню. Отдельные произведения. Да и в то время, кажется, не очень ею интересовался — читал то, что мне нравилось, что сам считал важным. Зачем книги по школьной программе лет в одиннадцать-двенадцать, когда есть Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер, а потом, лет в четырнадцать, — Шукшин, Распутин, Андрей Платонов, Леонид Андреев...

Два раза за школьные годы прочитал «Тихий Дон», которого не было тогда в школьной программе, а «Поднятую целину», которая была, только первый том, второй же, в основном из-за обилия там деда Шукаря, стал вызывать у меня протест, и я бросил.

Вообще чувство протеста у большинства подростков обострено, и заставить их следовать школьным программам почти невозможно. Да и не могу представить подростка, осиливающего «Войну и мир». Есть реальная жизнь вокруг, улица, а теперь компьютер с его огромным миром. «Война и мир» и подобные произведения — для взрослых людей. Хотя каким-то образом приучать к чтению необходимо, а приучить можно только в подростковом возрасте. Человек, не читавший лет до пятнадцати, вряд ли в тридцать-сорок станет читателем...

Что касается ответа на вопрос, то очень важным произведением, прочитанным в рамках школьной программы именно в то время, когда его проходили, стал рассказ Льва Толстого «После бала». Он меня буквально потряс не столько художественным языком (Толстой долго казался мне скучным, не умевшим писать гладко, да и попросту грамотно), а тем, что продемонстрировал одного и того же человека в разных ипостасях (хотя этого слова я тогда наверняка не знал) — на балу, с дочерью, он внимателен, нежен, а на работе... В общем, два разных человека в одной оболочке.

И до прочтения «После бала» я встречал такое раздвоение, а уж после, по ходу жизни — десятки и десятки раз. Да и в себе я это нередко чувствую и пугаюсь.

Рассказ Толстого я перечитывал с тех пор несколько раз, и он становится для меня всё важнее, ранит всё острее.

А из непрочитанного... Просматриваю сейчас школьные программы по литературе разных лет и вижу, что почти всё читал, а то, что не читал, — читать не тянет. Но есть одна книга, которую всё время хочу прочитать целиком и никак не могу. Это «Что делать?» Чернышевского.

Верю многим отзывам людей и прошлого, и настоящего, что это важная книга, помню слова Ленина: «Роман “Что делать?” меня всего перепахал». Надо бы прочитать от начала и до конца...

В школе нам литературу преподавали невкусно да и не стремились к тому, чтобы мы читали. Из больших вещей велели прочитать и пересказать эпизоды. Ну и четвертый сон Веры Павловны, и спящий на гвоздях Рахметов скорее забавили, чем вызвали любопытство и желание заглянуть в эту книгу глубже.

Предложение написать о прочитанном и непрочитанном вызвало у меня новый приступ заглянуть. Сильный. Что ж, пора — шестой десяток идет.

Михаил Павловец

Читать или проходить

Коллега несколько лет назад поделилась замечательной цитатой из сочинения ЕГЭ по литературе: «И ведь я сам, прочитав произведение Льва Николаевича Толстого “Война и мир” и проникшись романом, начал невольно подражать одному из главных героев — поручику Ржевскому...» Конечно, витализм и жовиальность анекдотического поручика могут служить образцом для подражания подрастающему поколению! Однако, отсмеявшись, большинство читателей, конечно, возмутится тем, что автор сочинения не прочитал «Войну и мир», но о романе рассуждает. Заметим сразу — нынешний формат ЕГЭ не оставляет ему альтернативы: старшеклассник лишен права выбрать для своих размышлений другое произведение Толстого или другого писателя, которое читал, но, вытащив несчастливый билет, вынужден выкручиваться из неловкого положения.

Мне же кажется, гораздо хуже в этой ситуации, что юный автор хочет понравиться эксперту ЕГЭ, говоря о том, во что сам ни минуты не верит. Вот еще характерная цитата — на этот раз из так называемого итогового сочинения, которое все 11-классники принуждены писать в декабре, чтобы получить допуск к ЕГЭ, скажем, по математике и русскому языку: «Отдельно стоит сказать о средствах художественной выразительности, которых в “Русалке” огромное количество. Меня всегда интересовали замысловатые сравнения, ёмкие эпитеты и метафоры, так как они расширяют словарный запас и помогают развивать речь, делать ее разнообразнее и красивее... Очевидно, что это не прекрасный юноша полюбил пушкинскую «Русалку» за то, что в ней «замысловатые сравнения и ёмкие эпитеты» и она помогает ему «развивать речь» — это он пересказывает понимание предмета «литература» теми, кто сочиняет этот предмет.

Очень интересно и очень горько, какими, судя по этим двум цитатам, видят нас, взрослых, своих учителей и экзаменаторов, наши ученики — пусть не все и не всех. Похоже, видят они нас довольно ограниченными существами, искренне верящими, что можно «делать жизнь» с героев литературной классики, воспринимать их как образцы для подражания. Считающими, что читать классику стоит ради «развития речи» (это как в ресторан идти с мыслью о инициировании пищеварительных процессов). Или того хуже — видят они нас измученными лицемерами, которым давно уже ничего не надо от подрастающего поколения, кроме как умения связно и без излишних ошибок произносить правильные речи о «духовности» и «патриотизме», «цельности натуры» и «нравственных исканиях», «выразительном русском языке» и «развитии речи», — никак не соотнося произносимое с тем, как строится его личная жизнь за стенами школы.

Михаил Павловец — филолог, преподаватель словесности. Родился в 1972 году. Окончил МПГУ. Кандидат филологических наук, доцент школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, учитель словесности Лицея НИУ ВШЭ, автор более 150 публикаций по истории русской литературы XX века — поэтического авангарда, неподцензурной литературе, современного литературного процесса, а также глав школьных и вузовских учебников и работ по истории литературного образования в России.

Кажется, о покоем писал в своей нашумевшей книге «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак, когда определил бахтинским словом «внезаходимость» способ существования позднесоветского человека, который ритуально посещал партийные собрания и там ритуально поднимал руки или зачитывал бравурные отчеты, а потом возвращался к себе на кухню и за рюмкой чая бранил советскую власть и крутил ручку транзистора, ловя западную музыку или западные «голоса». Впрочем, прототипом модели такого рода «двоедушия» можно посчитать и «тёмное царство», изображенное А.Н.Островским в его драме «Гроза» (увы, одним из наиболее нелюбимых школьниками произведений школьной программы).

Напомним, автор консервативного «Московитянина» и человек далеко не либеральных взглядов, Островский долгое время писал о том, как патриархальный уклад сопротивлялся чужеродным влияниям («Не в свои сани не садись»; «Бедность не порок»), пока с горечью не признал: милый его сердцу купеческо-мещанский «домострой» остался прекрасной сказкой, выродившись в «тёмное царство» городков вроде Калинова, где отчаявшиеся бороться за сохранение прежних устоев «самодуры» готовы довольствоваться требованием об общем лицемерном следовании внешним установлениям и правилам приличия, тогда как незримо для посторонних глаз, за высокими заборами, можно жить как душе угодно. Именно в это «общество спектакля» и попадает Катерина, которая выросла в семье, где, судя по ее воспоминаниям, праведность и благолепие были непоказными и нелицемерными.

Все это становится понятно, если наложить ситуацию драмы «Гроза» на современную ситуацию с литературным образованием.

Получившая домашнее образование девочка Катя попадает в класс к Марфе Игнатъевне в школу, где директором — Дикой. Катя с детства привыкла читать много и только «классику» (другого дома не водилось), однако Кабаниха, у которой сердце болит, что молодёжь не читает, изводит её подозрениями и придирками — гоняет по текстам, ищет шпаргалки, подозревая в нечестности, заставляет писать сочинения по образцу типа «луч света в тёмном царстве», но запрещает высказывать свое мнение: сначала, мол, научись великих гениев понимать да без ошибок их мысли излагать, потом, при необходимости, получишь право и на свою точку зрения. Несчастлива Катя, особенно когда попадает ей в руки запретная книжка, каких дома и не водилось, но несчастна и Кабаниха, ведь она не со зла свирепствует — бьётся за то, чтобы спасти свой предмет, спасти молодёжь от невежества. Учит её Феклуша на страницах «Литературы в школе»: «Последние времена пришли, Марфа Игнатъевна, по всем признакам последние!» Другие ребята в классе, и Тихон, и Варвара давно приспособились к этой ситуации, научились, не читая книг, ловко пересказывать Кабанихе её же собственные слова (благо, ничего другого она уже и не спрашивает). Хуже прочих приехавшему из Москвы Борису (именно из его рук Катерина получила запретную книжку!): литературу Борис изучал в школе IV, где из списка 400 произведений выбираешь сам 15 для изучения, но чтобы продолжить обучение в западном университете, нужны деньги, а они в руках Дикого — приходится угождать дяде, делая вид, что готов прочитать всю его старинную библиотеку.

Финал Катерины мы все помним, но вот, в связи с вышесказанным, есть у меня несколько вопросов. Вопрос по «Грозе»: а не сочинила ли Катерина райскую жизнь в доме матери? Вернее, не сочинил ли Островский тот блаженный мир патриархального уклада, что царил в родном доме Катерины, сформировав в итоге её цельную, бескомпромиссную натуру, обречённую в «тёмном царстве» разложившегося домостроя? И существовал ли он когда-нибудь где-нибудь в таком идеальном виде, кроме фантазий своих адептов?

Но больше меня волнуют вопросы собственно по литературе как школьному предмету: действительно ли был этот мир тотально и повсеместно читавших прежде всего программные произведения советских школьников — за рамками тех избранных, особых школ, в которых учились те, кто сегодня с тоской вспоминает эти школы? Есть ли у нас результаты объективных социологических измерений, желательно —

сравнительных, которые бы показали динамику развития подросткового и молодежного чтения хотя бы за последние полвека? Не выдаем ли мы желаемое за действительное, вспоминая, как много читала советская молодежь, — как и те, кто с ностальгией вспоминает изобилие советских магазинов и высокое качество и массовую доступность товаров народного потребления в СССР?

Одна из немногих «духовных скреп», объединяющих наше сильно атомизированное общество, — это общественный консенсус по вопросу ценности чтения как особой культурной и образовательной практики. Я сам его во многом разделяю — но при этом отдаю себе отчет, что ни как форма культурного досуга, ни как способ получения знаний книга давно уже не играет ведущей роли в нашей жизни. Кино, компьютерные игры и соцсети выиграли соревнование за интерес и внимание не только подрастающего поколения, но и поколения его родителей. Образовательное чтение если же и остается — то это чтение в интернете, на огромном количестве информационных и образовательных ресурсов. Конечно, существование этих ресурсов обостряет проблему их качества, научности и достоверности содержащейся там информации — понятна озабоченность общества и государства вопросом о том, с чем подросток может столкнуться в сети, что использовать в качестве источника информации. Однако те же проблемы существуют и для утвержденных Министерством учебников, так как и написание этих учебников, и их экспертиза, и механизмы попадания в перечень вызывают немало вопросов. К тому же научная литература никогда не занимала заметного места ни в круге чтения подростков и молодежи, ни в поле внимания ратующих за спасение книги от исчезновения (а жаль!).

Впрочем, тема этой статьи — чтение художественной литературы и школьный предмет «Литература», который как будто бы должен служить популяризации чтения. Большинство родителей давно уже отчаялось «привить любовь к книге» своим отпрыскам — и с последней надеждой смотрит на учителя, который, в свою очередь, повторяет максимум: «Чтение ребенка начинается с семьи! Если родители дома регулярно не читают, если дома нет книжных полок и нет традиции обсуждения прочитанного, — то ребенку не у кого перенять привычку к чтению!» Выходит, что круг замкнулся!

Главное же разочарование того, кто всё ещё не утратил надежды на то, что школа приобщит ребенка к чтению качественной литературы, прежде всего — классики, ждет, если он откроет нынешние Государственные образовательные стандарты и из них узнает, что самой задачи чтения в разделе, посвященном литературе, даже не ставится! Вернее, так: там говорится о «сформированности устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур» — однако речи нет о чтении как освоённой деятельности, как важнейшем предметном результате, который должен обязательно замеряться по окончании учебы; не говорится о чтении оригинального текста изучаемого произведения в его целостности и полноте! Этот результат подменяется другой формулировкой: постулируется «знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов России».

Тем самым литература как школьная учебная дисциплина превращает художественное произведение не в предмет чтения и обсуждения, а в предмет «изучения»: ее не читают — а «проходят»! Тогда как, по мнению авторитетного исследователя чтения Эдена Чамберса, пока книга не обсуждена — она не может считаться прочитанной. Хотя верно и обратное: как может обсуждаться то, что прочитано не было? Сама практика подобного «обсуждения» педагогически вредна, пусть и практикуется всё чаще на уроках. Причина этого — понятна: ценностью наделяется не эмоциональный и эстетический опыт встречи с выдающимся (а на самом деле — с любым) художественным произведением, но набор сведений об этом произведении, который должен быть уложен за несколько уроков в голову ученика в виде «знаний», чтобы потом медленно угасать, лёжа в ней без всякого

применения и вымываясь нарастающим потоком новой информации. Эти знания обычно фетишизируются: считается, что чем больше их в голове человека, — тем больше он знает, тем он умнее. Победил телевизионный формат викторины: «умники и умницы» у нас — те, кто быстрее других извлекает из недр памяти необходимую информацию, а не тот, кто способен имеющиеся у него знания применять в быстро меняющихся обстоятельствах современной жизни. Идеалом «интеллектуала» служит шоумен Анатолий Вассерман, и его знаменитая жилетка со множеством карманов, набитых предметами на все случаи жизни, — прекрасный символ того, как якобы должна быть устроена память у «образованного человека». Только вот *omnia mea mecum porto* — цicerоновское «всё свое ношу с собой» — безнадежно устарело, если его смысл перенести с духовных качеств личности на ее эрудицию. В нынешних обстоятельствах человеку важнее не перегружать мозг избыточной информацией, а сохранить часть ресурсов мозга для обработки необходимой ему информации, а в случае возникновения потребности в дополнительных знаниях — знать, где это знание доступно и как его оттуда можно оперативно извлечь и им воспользоваться.

К тому же еще Дмитрий Лихачёв предупреждал: «Никто, кажется, не обращал внимания на то, что большая эрудиция при недостатке обобщающих способностей может играть даже в известной мере отрицательную роль. Эрудиция укрепляет человека в его уверенности в собственной правоте, мешает его пониманию нового, непривычного. Чувство собственного превосходства над другими, которое развивает эрудиция, при недостатке творческих способностей может затруднять общение с людьми». Творческие способности не развиваются чтением учебника или зубрежкой краткого содержания, им нужно свободное поле для деятельности: дискуссии, проекты, самостоятельный выбор, что читать и над чем размышлять... Увы, всё это требует большого количества времени, но главное — понимание ценности того, *кто читает*, а не только того, *что он читает*. Ценности его опыта, чувств, размышлений, его выбора.

Нынче же в школьном предмете «литература» окончательно победил другой подход: художественная литература — это не сложносочиненный текст, требующий особого настроения для его восприятия и понимания, а это набор сведений о нем, упакованный в параграфы учебника. Раньше казалось, что хотя бы для читающих ребят, прежде всего — собранных в гуманитарных и специализированных классах, делается исключение, и им дается больше часов (обычно — 4 вместо 3-х часов в неделю) на предмет, чтобы у них больше времени было на размышление и разговор о прочитанном... Где там! Последняя версия Образовательного стандарта (2022), представляющая собой изувеченный Стандарт (называемый на бюрократическом волапуке ФГОС) 2014 года, не только включила в себя обязательный для всех классов и всех школ, в том числе сельских, национальных, профильных негуманитарных, список произведений, которые следует «пройти» в соответствующих классах, но и отдельно определила, какие произведения должны дополнительно изучать ребята из профильных гуманитарных! То есть вместо «углубленного» подхода торжествует подход «расширенный» — лишь бы у учителя, взявшего под козырек и попытавшегося выполнить указания Министерства, не появилось лишнее время на то, чтобы чуть больше времени посвятить неторопливому разговору о действительно прочитанном. А у его подопечных, в свою очередь, не осталось времени на чтение чего-то помимо «программных» произведений...

Чтобы было понятно, о чем речь, возьмем перечень произведений для 10 класса — и сравним с тем, что дополнительно должен к нему прочитать тот, кто выбрал гуманитарный профиль. Итак, в этом классе на базовом уровне каждый обязан прочесть пьесу А.Н.Островского «Гроза»; роман И.А.Гончарова «Обломов»; роман И.С.Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, стихотворения и поэму «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова; роман М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М.Достоевского

«Преступление и наказание»; роман Л.Н.Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С.Лескова; рассказы и пьесу «Вишнёвый сад» А.П.Чехова. На углубленном уровне же — Стандарт предписывает изучение «произведений А.Н.Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя)»! Ну то есть добавляется один час в неделю к имеющимся трем, а объем обязательного увеличивается примерно в два раза! И это я еще не указываю перечисленные здесь же имена обязательных к освоению критиков, зарубежных писателей и писателей народов России...

Если попытаться рационально объяснить такое решение, то самое очевидное для меня — это отбить желание вообще читать, заменить чтение — кратким пересказом. Благо — существуют десятки сайтов такого рода, причем один из самых популярных — briefly.ru — имеет в среднем около 5 млн посещений в месяц! Если бы Министерство просвещения всерьез заинтересовалось тем, читают ли школьники все эти произведения (или если бы поделилось результатами соответствующих исследований — ведь не может же быть, чтобы таких исследований не проводилось!), думаю, не у одного меня бы возникли вопросы: каков КПД у этой школьной дисциплины? К тому же уже даже не крик — стон раздается по всей Руси Великой: не читают дети — не то что «классику», ничего не читают!

В чем же причина такого упрямства чиновников от образования, не желающих признавать очевидное? Придется вернуться к предположению, что и нет такой задачи: усадить подрастающее поколение за книгу, по крайней мере — за книгу художественную. Любители конспирологических версий предполагают причину в невозможности контролировать, что будет вычитано из этой книги. Читательское восприятие в значительной степени опирается на личный читательский опыт, а он у современного подростка куда более гетерогенный, чем у его сверстника еще полвека назад. Открытые границы, бессилие цензуры, развитие культурной инфраструктуры и интернета позволяют мыслящему человеку, даже довольно юному, погружать прочитанную книгу в самые разные контексты и проводить самые неожиданные и неподконтрольные параллели! Тогда как концепция «национального культурного кода» возлагает на книгу, прежде всего — на «классику», неподъемную роль быть одновременно хранителем незыблемых национальных духовных ценностей — и основным средством приобщения к ним. Причем понятие «код» здесь заимствуется не из семиотики — дисциплины, напоминающей словами Юрия Лотмана из его поздней работы «Культура и взрыв»: «Язык — это код плюс его история», — ведь тогда выходит, что сама классика, воплощающая в себе некие константные начала национальной культуры, не имеет единого, абсолютного ее понимания, но в разные эпохи неизбежно будет пониматься по-разному, а значит, и сами эти константы (их декодировка) будут меняться в соответствии с тем, из какой точки исторического времени мы к ним обращаемся. Скорее (на это обращал внимание историк культуры Илья Кукулин) понятие «национального кода» метафорически переосмысляет термин из генетики — «генетический код»: неслучайно рядом с этим понятием иногда можно встретить рассуждение о «хромосомах культуры» и «культурных генах». Иначе говоря, утверждается неизменность национальных констант — ментальных и поведенческих, благодаря их консервации в сакральных текстах национальной культуры, и приобщение к этим текстам позволит следующим поколениям перенять эти константы. Но поскольку сами по себе канонические тексты уже в значительной степени недоступны для сознания большинства школьников, содержащиеся в них «культурные коды» выпадают в виде того, что сейчас принято, вслед за Ричардом Докинзом, называть «мемами» или «мимами» (впрочем, есть еще близкое понятие «культургена» Эдварда О.Уилсона и Чарльза Ламсдена).

Помню, как один очень высокий чиновник, руководивший недавним обсуждением Стандартов по литературе, так и воскликнул на одном из заседаний: «Но как ребята поймут, о чем песня “Зачем Герасим утопил свою Муму?”, если они не прочтут этого

произведения!» Тогда меня поразила эта перевернутая логика: выходит, Тургенева надо читать для того, чтобы понимать подростковую фольклорную песенку (кстати, по моим опросам, известную далеко не всем школьникам)! Задумавшись над этим парадоксом, я обнаружил еще одну вещь: мало кто помнит, что там было с Наташей Ростовской, но все вроде как читали «Войну и мир». При этом мало кто читал «Анну Каренину», но все помнят, что там было с Анной Карениной: изменила мужу, закончила свои дни под паровозом. Выходит, что сложнейшая история Анны Карениной, превратившись в мем, сообщает любому носителю нашей национальной культуры, о чём роман «Анна Каренина», так что и нет уже необходимости осиливать этот толстенный том с его почти четырьмя сотнями персонажей! Это и есть пресловутый «национальный культурный код», он же «культурген», и именно в таком «свернутом» виде передается он из уст в уста, из поколения в поколение, и только избранные его носители решаются открыть саму книгу.

Что мы помним о «Муму»? Именно этот вопрос «зачем Герасим утопил свою Муму?», то, что Герасим был глухонемым и ворох анекдотов именно на эту тему, плюс — для особенно продвинутых — смутное подозрение, не приревновала ли барыня нравящегося ей мужика к несчастному спаниелю.

А из всего «Тараса Бульбы»? Большинство вспомнит разве что похабный анекдот «чем я тебя породил — тем тебя и убью!», меньшинство — антисемитские страницы повести, пытки Остапа да «люльку» старого казака.

Как в массовом сознании представлен роман «Преступление и наказание»? Это история про студента Раскольникова, шинкующего топором старушек, и влюбленную в него проститутку Сою.

Вот и бедная Наташа Ростова: ее дискредитированная толстовской «мыслью семейной» пробуждающаяся сексуальность преломилась в сотне самых разнuzданных анекдотов про нее и поручика Ржевского, занесенного в роман (точнее, в фольклор о нем) из популярного фильма «Гусарская баллада», а уже оттуда — и в сочинение, с цитаты из которого я начал этот разговор.

И так можно сказать о почти любом произведении «школьной программы», заодно отметив среди них те, которые почти не разобраны на мемы, а значит — практически не актуализированы в современной культуре.

И нынешнее Министерство просвещения вполне устраивает эта ситуация: идет активная мемизация (мимизация) русской национальной культуры, в том числе и «классики» под лозунгом постижения ее «генетических кодов». Все школьники в итоге будут знать ответ на вопрос «зачем Герасим утопил свою Муму?» — прекрасно обходясь без того, чтобы открывать время от времени книги: так задачи не ставится ни перед ними, ни перед учителями!

Возвращаясь к аналогии с «Грозой» Островского (кстати, сама эта аналогия — как раз пример того, как может и должна актуализироваться «классика» в жизни современного человека). Лично мне бы, конечно, хотелось, чтобы Катерина могла вдоволь читать свою любимую классическую литературу, Борис — свои западные романы, а главное — Тихон с Варварой наконец получили в руки книжки, с которыми им будет по-настоящему интересно, которые не будут учить их лицемерить и изворачиваться. Иначе говоря, мне бы хотелось, чтобы чтение из скучной и мучительной обязанности или из предмета старательной имитации и симуляции превратилось в такую же естественную потребность, как потребность в занятиях спортом или здоровом образе жизни (а нынешнее поколение молодежи помешано на них), потребность общаться с друзьями или путешествовать. Не обязанность — потребность! Но я, сам преподавая в старших классах литературу, должен признаться себе: школа в настоящее время почти никогда не союзник в деле формирования этой потребности — и возлагать на нее надежд не стоит. Что же может действительно помочь привлечь внимание к чтению, освоить самые разные практики чтения — от «проглатывания» за пару часов до медленного смакования, — требует отдельного, но обязательно очень честного разговора.

Сложносочинённое и сложноподчинённое

О школьной программе, рамках классического литературного канона и роли культуры в современном обществе размышляют Александр МАРКОВ, Александр МЕЛИХОВ и Евгений АБДУЛЛАЕВ

Тема для обсуждения высклась в моменте: совпали острая дискуссия по поводу исключения Пушкина, Лермонтова и Гоголя из программы подготовки к ЕГЭ по литературе 2024 года и чтение вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение» книги «Адаптация как симптом: русская классика на постсоветском экране». (Рецензия на нее публикуется в рубрике «Подробное чтение».)

Адаптация — в смысле упрощения — действительно стала приметой времени. В чем-то безусловно облегчая жизнь. Но нередко — и обкрадывая, обделяя знаниями и навыками, на беглый взгляд рутинными, устаревшими, не обязательными. Особенно — когда речь идет о человеке юном, растущем, набирающем жизненный и культурный опыт.

Зачем зубрить таблицу умножения, если всегда под рукой смартфон?

Зачем запоминать исторические факты, даты событий и сложные формулы, если есть Википедия?

Зачем днями напролет читать сотни страниц и ломать голову, пытаясь понять чувства и поступки Чацкого, Чичикова или Базарова, когда есть отличные наши и переводные книжки для янг эдалт, где нет длинных диалогов, описаний природы и движений души, где современные молодые герои совершают поступки и принимают решения?..

Татьяна Черниговская, Александр Каплан, Константин Анохин не устают повторять: необходимо тренировать память, учить наизусть стихи, читать сложную литературу, слушать сложную для восприятия музыку — даже не для общей эрудиции, а из чистого прагматизма: чтобы мозг развивался и сохранял дееспособность, чтобы не подводила память. Но кто же следует советам ученых?

Понятие сложное априори включает в себе проблему. Но отказ от осмысления и проживания сложного чреват неподготовленностью к сложным ситуациям. Применительно к литературе в школе: как сохранить интерес к сложному чтению? из чего должен складываться и насколько обновляться классический литературный канон? кого из современных авторов важно прочесть нынешним школьникам?.. В конце концов — как вырастить сложного человека, способного принимать сложные решения?

Наталья ИГРУНОВА

Александр Марков

Мир состоявшихся катарсисов

Адаптацией принято называть и создание сценария по книге, и любой пересказ. Но далеко не всякий пересказ адаптирует. Например, можно написать эпиграммы, излагающие произведение в двух строках элегического дистиха, но это будет не адаптация, а совсем новые произведения.

Допустим, остроумие античной эпиграммы связало бы в первой строке утрату Раскольниковым разумных обоснований своего поступка с его невозможностью дальше действовать в обществе: потерю слова с потерей дела. А во второй строке выведение на свет обличителем перекликалось со светом милосердия со стороны Сони Мармеладовой. Это был бы смысл романа без адаптации, просто воссозданный другим искусством для лучшего запоминания или, наоборот, укрощения эмоций — о чем заботилась античная поэзия, чтобы эмоции не слишком переполняли человека.

Или «Войну и мир» эпиграмма потребовала бы увидеть в первой строке как рассказ о разделении молодых на готовых и неготовых к битве. Но во второй строке те и другие чудесно выигрывают битву с врагом и с собой. Если бы в наших школах сочиняли элегические дистихи, это было бы хорошее задание, сочинить историю русской литературы из одних эпиграмм.

Также адаптацией не будет статья Белинского или книга Лотмана. А вот кинематограф, учебник или лекция — это адаптации. В этих литературных формах есть собственные режимы жестов, указывающих на чужие мысли и чужие поступки, свой способ последовательно на всё это указывать. Но эти режимы могут не отвечать свойствам самого произведения, которое раскрывает мысли и поступки не линейно, а в головокружительной драматургии.

В названии книги русско-американской исследовательницы Людмилы Фёдоровой, посвященной экранизациям русской классической литературы¹, слово «симптом» употребляется в психоаналитическом смысле — некоторое совпадение признаков, делающее определенные невротические реакции неистребимыми и неотменимыми. То, что для самих авторов кинематографических и телевизионных адаптаций выглядело как попадание в нерв эпохи, при беспристрастном аналитическом комментарии оказывается скорее прочным наложением разных форм ностальгии, увлеченности, мечтательности, консервирующим социальные мифы.

Тогда адаптация книг в виде кратких пересказов — это симптом, но не нашего времени, а сразу нескольких времен, включая дореволюционную и советскую педагогику, спрашивавшую «о чем эта книга». Этот вопрос делал неотменимыми те самые наложения разных эмоций и мифов.

Марков Александр Викторович — преподаватель философских, гуманитарных и социальных дисциплин, литературный критик. Родился в 1976 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Доктор филологических наук, профессор РГГУ. Живет в Москве.

¹ *Фёдорова Л.* Адаптация как симптом: Русская классика на постсоветском экране. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. 368 с. (Серия «Кинотексты»).

Значительная часть советской литературной педагогики была адаптирующей: пересказ классики учителями был преддверием большой литературы, в которой поэт должен объяснить редактору, как раз о чём его стихи. В чём-то эта адаптация наследовала Ленину — будучи вполне любознательным человеком, Ленин предпочитал знакомиться со многими вопросами по брошюрам, газетным изложениям, речам и выступлениям, хрестоматиям, тренируя на всем этом материале публицистические навыки. Это не значит, что Ленин не читал серьезных трудов, но только то, что в адаптациях он видел настоящий политический ресурс, возможность прямо сейчас сделать волнующее заявление, быстро подчеркнуть необходимое тремя или четырьмя чертами, быть «как выступ на рапире».

Но система образования не усвоила самого ценного у Ленина: умения организовывать конспекты не как линейное изложение, но как руководство к действию. Школьный конспект, даже конспект трудов Ленина, не должен был содержать в себе красный карандаш, тройное подчеркивание или резкие замечания — но только некоторую усидчивость. Вероятно, усвой это школа, — и вопроса об адаптациях не ставилось бы, но только об эпиграммах и деятельности новых Белинских.

Школьная усидчивость создавала симптоматичность русской классики в глазах даже начитанных учеников школы, в смысле совпадения сюжетного развития, моральных выводов и одобряемых эмоциональных реакций. Отличник как бы живет в мире, где Дубровский спасает Машу, где может появиться Раскольников из-за угла и нужно быть осторожным, и где вишнёвый сад уже продан, и жалеть о нем не надо. Это мир *уже состоявшихся катарсисов*. Бог из машины устроил развязку должным образом, и мы живем в собрании развязок.

Сюжеты русской литературы уже легли в правильном порядке: Чичиков вывел невольню помещиков на чистую воду, а Пьер Безухов обрел семейное счастье. Мы тогда в этом мире учительных адаптаций существуем не внутри конфликта, который подразумевался самой русской литературой, а внутри катарсиса, внутри ситуации развязки. Мы живем в мире, где уже нет помещиков, нет аристократических условностей и сословных предрассудков, и можно ко всему относиться с умеренным любопытством. Каким бы ни был герой, он всё равно заранее оказался нужен для развязки, для высшей справедливости.

Поэтому вопрос об адаптации литературы для школьников, ее допустимости и границах, делится на два вопроса. Первый — это противостоящее упрощенным пересказам *проживание самой драматургии* классической литературы, ее завязок и кульминаций, рокового движения и восстания против рока. Для этого можно просто знать хорошо классическую трагедию, Эсхила и Шекспира, или даже послушать несколько симфоний, но внимательно.

Тогда мы будем лучше воспринимать, что было до катарсиса. Мы услышим, с чего начинается завязка, как дальше накладываются друг на друга обстоятельства. Это поможет перейти к неадаптированному тексту, открыть произведение, заслоненное учебником, и понять, почему герой так решил или почему такие-то герои встретились на его пути слишком рано, а такие-то — слишком поздно.

Второй вопрос сложнее: русская классика создавалась внутри весьма интенсивного общезападного слома форм, когда каждый жанр пытается на себя взять всю тяжесть бытия, когда сказка Гофмана или баллада Гейне сообщает о том, как мир устроен и как трескается под собственной тяжестью. Дело не в том, что русские классики «учились» или «перенимали опыт», а в том, что существовала особая среда, в которой эти произведения и стали обобщениями, а не вариациями. Есть Вальтер Скотт, и есть «Капитанская дочка» и «Тарас Бульба» — все приемы Вальтера Скотта легко принимаются: и ответственная речь героя, и диалог-дуэль, и честь героя, мерой

которой оказывается только большое событие. Но это вовсе не заимствование из романа, выросшего на многовековой риторической культуре, а новое понимание того, что именно обобщает сам твой исторический опыт как писателя, в какой момент он становится обобщающим.

Или *полифонический* Достоевский не продолжает Диккенса, герои которого могут преобразиться после исторических испытаний благодаря особому устройству их памяти. Он обобщает само такое преображение, и тогда память героя сразу выражается в словах и поступках, не дожидаясь подходящих обстоятельств проявления.

Получается, что тогда нужно знать Скотта и Диккенса, чтобы понимать русскую классику как диспозицию, как расположение идей и отсылок, конструирующих субъективность читателя буржуазной эпохи — как многократно указывал еще Дьёрдь Лукач¹ в 1930-е годы. О ком бы ни говорил роман, как механизм впечатляющего рассказа он создает норму буржуазного индивидуализма.

Но русская культура совсем не адаптировала образцы, даже если из риторических обычаев брались речи героев, размыкающие пространство их бытия и поворачивающие всё действие к новым ценностям; или иные приемы наглядного воображения, на которых и держалось воздействие романа на историю. Как заметил недавно С.Н.Зенкин², если Э.Р. Курциус выстроил концепцию риторического единства Европы от античности до современности, риторической *уместности* гуманизма, то русские его продолжатели как раз объявили риторической эпохой доромантическую литературу.

Тогда как только русская литература начинает делать то же, что мировая, прежние рамки уместности были сломаны, открылась «даль свободного романа», соревнующаяся с наукой в лабораторной проверке и обосновании новых свойств реальности. Литература уже не уточняет свойства реальности, в том числе и ее чудесные или непредсказуемые свойства, но располагает свою лабораторию на отдалении от привычек и ищет слова для происходящего, формулировки, которые вместят в себя и действие, и память.

Школьнику было бы проще разобраться, почему герой так странно говорит, так странно ведет, дан глазами какого-то другого героя, если бы эта диспозиция сразу была видна из романов, образовавших общеевропейскую грозную атмосферу. Но сам русский роман выступает как событие, как соединение судеб, которые в драматургии романов-прообразов были функционально разделены.

Пастернаковский Живаго в Варыкине читает вслух «Повесть о двух городах» Диккенса, и понятно, что он выступает в новой революции и Дарнеем, и Картоном одновременно. В фабуле Диккенса эти герои могут совпасть только в высшей точке переодевания и самопожертвования — у Пастернака главному герою было определено быть и тем, и другим, и заступником за жизнь, и самой милостью, милующей и его.

В сериале А.Прошкина по сценарию Ю.Арапова Живаго приобретает несколько ницшеанские черты — именно потому, что в кино можно заступаться за человека, но не за саму жизнь как таковую. Киноадаптация уводит от романа, а простой рассказ о совпадении двух героев в одном даже для человека, не читавшего Диккенса, к этому роману приведет.

Можно представить такое обучение в школе, при котором открыть любое русское классическое произведение — это увидеть то «чуть-чуть», тот нюанс, который и превращает героя литературы из участника большого механизма по производству исторического воображения, включая образ современности, в того, перед кем и сама вооружившаяся насилием современность может кротко разоружиться.

¹ Лукач Г. Исторический роман. М.: Common Place, 2014. 178 с.

² Зенкин С.Н. Риторика чтения: Из истории научных идей XX века // Новое литературное обозрение, 2023, Т. 182, № 4. С. 21–23.

Александр Мелихов

Адаптация духа

Человек с незапамятных времен приспособливал материальный мир к своим материальным нуждам: вырыть искусственную пещеру и согреть-осветить ее самостоятельно добытым огнем — это были первые шаги такой адаптации. Сегодня же мы живем в мире, настолько адаптированном под нас, что если бы нам оказаться в мире первозданном, то мы не выжили бы в нем и месяца. Нас окружает искусственное жилье с искусственным обогревом и освещением, наша пища произрастает не в степи и не в лесу, а на фермах и в оранжереях — борьба человека за независимость от естественной среды, кажется, подходит к завершению: человек уже и эмоциональные впечатления желает получать не из реального мира, а из «искусственного», виртуального, с экрана гаджета, от которого многие из нас не отрываются даже во время прогулок.

Но здесь, пожалуй, речь идет не о материальной, а о психологической адаптации.

Уже существует специальное слово — ноосфера. Сфера разума, под которой понимается биосфера, преобразованная человеческой волей. Но мы погружены в сферу разума и в более узком смысле — в сферу человеческих знаний. В огромной степени противоречащих друг другу, и вряд ли имеется хоть одно суждение, которого бы кто-то не оспаривал. Если даже взять институционализированную науку, то и в ней ни на миг не прекращается борьба научных школ и попытки научных революций. При этом современные науки так далеко ушли от понимания рядовыми людьми и даже профессионалами в в других областях, что понадобилась адаптированная наука — научно-популярная, научпоп. Профессионалы постоянно ругают научпоп за недопустимые упрощения, и часто за дело, но вместе с тем надо понимать, что широкая публика может лишь воспринять либо упрощенные знания, либо оставаться в полном невежестве в безраздельной власти шарлатанов.

Что же говорить о школьниках? Чтобы люди могли взаимодействовать в качестве членов одного общества, они должны обладать общим запасом каких-то азбучных знаний типа того, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца. Если же им сообщить, что вопрос, что вокруг чего вращается, целиком зависит от выбора системы наблюдения, то это не вызовет ничего, кроме путаницы. То же самое можно сказать о планетарной модели атома и о многом другом: в свое время будущие специалисты все уточнения и поправки узнают не спеша, с пониманием, а не повторяя, как попугаи, слова, подлинный смысл которых им недоступен, а до поры до времени лучше не морочить им голову.

Иными словами, цель начальной адаптации знаний — социализация.

Когда в возрасте лет пяти-шести, обладая, похоже, врожденной страстью к чтению, я зачитывался «Призванием князей» в хрестоматии Ушинского, это было очень далеко от изучения исторической науки, но это несомненно были уроки

Мелихов Александр Мотелевич — прозаик, публицист, литературный критик. Родился в 1947 году в г. Россошь. Окончил матмех ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии «Книга года-2023» за роман «Сапфировый альбатрос». Живет в Санкт-Петербурге.

социализации: я узнавал, что у Руси было начало, что были князья, которые вели в буквальном смысле слова братоубийственные войны, я узнавал имена-пароли и мемы-пароли, по которым распознается принадлежность к общей культуре: Рюрик, Трувор и Синеус, Владимир и крещение Руси, Святослав, «иду на вы»...

Как исторические факты они вполне могут быть оспорены, но как пароли они, вероятно, могут исчезнуть лишь вместе с русской культурой.

Это были, возможно, не столько уроки истории, сколько уроки патриотизма.

Уже давно ведутся прения, как бы так сочинить учебник истории, чтобы он и не искажал историческую правду, и вместе с тем пробуждал любовь к родине, но я не вижу, чтобы кто-то сознавал, что всегда будут существовать две истории: история академическая, старающаяся изучать исторические факты, и история художественная, творящая художественный образ эпохи. И патриотизм пробуждает только художественная, только она создает ощущение единства с предками.

Лично для меня лучшие учебники истории России — это «Капитанская дочка», «Война и мир», «Тихий Дон», «Разгром» и — с разными оговорками — «Люди из захолустья», «Поднятая целина», «Плотницкие рассказы», «Звезда», «Жизнь и судьба», «Две зимы и три лета», «Битва в пути»... Каждый может чем-то дополнить и что-то вычеркнуть — я бы даже предложил журналу провести специальный опрос.

Преподавание литературы имеет, может быть, наиболее важной целью именно социализацию — освоение имён-паролей, произведений-паролей, по которым происходит включение в единую национальную культуру. Именно поэтому прежде всего нельзя исключать из литературного канона ни одно из священных (речь не о мистическом, а о социальном смысле этого слова) имен. Эстетическое освоение неадаптированной классики — это следующая задача, подозреваю, и не всем доступная, как не всем доступна современная математика и физика.

Другое дело — современная литература. Да, современные писатели не напишут лучше Толстого и Достоевского, тем более что они ещё и породили критерии оценивания. Но только современные писатели могут предоставить читателю зеркало, в котором он увидит свою жизнь высокой и значительной, без чего общество начинает страдать от эстетического авитаминоза.

Социализация и эстетическое освоение — для того и для другого требуются разные формы адаптации. Любимые книги моего детства — приключения Гулливера, Робинзона и Уленшпигеля — были адаптированные, и это хорошо, потому что полные версии я бы не осилил. Как уже в выпускном классе я чуть не умер от скуки над «Войной и миром», хотя через каких-то пару лет как раскрыл рот от восхищения, так и до сих пор не могу его закрыть. Значит ли это, что «Войну и мир» следовало исключить из школьной программы? Нет, тогда бы я и не знал, что за мной числится должок. Но для социализации не самых умных, вроде меня, возможно, стоило бы допустить какую-то адаптированную версию — художественный пересказ. С неизменным подчеркиванием, что это лишь первая попытка взять высоту.

Я не исключаю, что для социализации и для эстетического освоения требуются две разные школьные программы. К чему-то похожему еще с полвека назад подходила Лия Михайловна Предтеченская, разработавшая курс Мировой художественной культуры, в котором главной целью урока должно сделаться не знание, а эстетическое переживание. А потому и учебные пособия по МХК должны сами быть художественными произведениями. Я тоже написал для этого курса несколько эссе о Пушкине, Лермонтове, о «сложных» художниках двадцатого века — эти эссе выходили отдельными

брошюрками, а потом я их включил в свои книги «Под щитом красоты» и «Колючий треугольник».

Без пламенной Лии Михайловны курс захирел, но ее идеи вполне могут быть возрождены. Кроме одного пункта ее символа веры, о котором мы с нею неоднократно спорили. Лия Михайловна была убеждена, что нет недоступных шедевров, есть только неумелые преподаватели. Я же склонялся и склоняюсь к тому, что для восприятия серьезной литературы необходима особая одаренность, вполне сходная с музыкальной или математической одаренностью, и обладают ею тоже лишь несколько процентов населения. И как же можно в пределах общей учебной программы удовлетворять весьма различные эстетические потребности особо одаренного меньшинства и преобладающего большинства? Можно предложить школьникам и их родителям выбирать облегченный и «углубленный» курс литературы, в которых будут осваиваться адаптированные и неадаптированные версии литературных шедевров.

При обязательном условии, что адаптацией будут заниматься высокопрофессиональные литераторы.

Удачные примеры известны.

Евгений Абдуллаев

Пригласите варвара

Прежде чем говорить о сохранении и популяризации классики, предлагаю немного задуматься о варварстве.

Есть варварство от невежества. Есть варварство от агрессии. Есть от безразличия.

Первого, от невежества, сегодня почти не встретишь. Даже в современных войнах памятники архитектуры и культурные объекты стараются по возможности не трогать. Современные варвары если и не особо образованны, то хорошо осведомлены. Талибы, взрывая в 2001 году бамианских будд, прекрасно понимали, что уничтожают памятник культуры (потому и взрывали). Монументоборцы, измазавшие летом 2020 года краской памятники Вольтеру и Ганди, тоже действовали вполне осознанно. Это варварство от скопившейся, зудящей и желающей выплеснуться агрессии. Причины могут быть разными: ресентимент, «комплекс Герострата», прочие комплексы.

И всё же самое печальное — варварство от безразличия. Самое массовое, самое внешне незаметное. Оно ничего не разрушает, не сносит и не сжигает. Разве что изредка, по безалаберности. Или из коммерческих соображений. *Nothing personal, it's just business.*

Оно разрушает — отсутствием интереса. Если говорить о литературе, — то не просто отсутствием интереса к чтению. Нет, читают. Читают, почитывают, проглядывают... Даже, возможно, больше, чем прежде: носители информации и сама информация стали доступнее. Изменилось не то, *сколько* читают, — а то, *что* читают, и главное — *как*.

Абдуллаев Евгений Викторович — поэт, прозаик, философ, литературный критик, педагог. Родился в 1971 году в г. Ташкент. Окончил философский факультет ТГУ. Преподаёт в Ташкентской Православной Духовной семинарии. Главный редактор журнала «Восток Свыше». Живёт в Ташкенте.

Что читают: как можно проще организованный текст. Минимум метафор, минимум описаний, минимум слов. Больше действия, желательно, стремительного. Больше информации, желательно, «горячей» и инсайдерской. Тогда, так и быть, почитаем.

Как читают: урывками, кусочками, немного с начала, нет, не понравилось, почитаю другое. Вариант: нет, не согласен и дочитывать не буду... но выскажусь. Недавний пример: возмущение по поводу текста одного литератора, начало которого разошлось по Сети в скриншотах. Зайти на страничку автора и дочитать текст до конца удосудились единицы. Их робкие голоса в защиту автора (поскольку остальная часть текста всё существенно проясняла) утонули в дружном гуле возмущения.

Герменевтический круг (часть понимаем из целого, целое — из части) сменился герменевтической круговертью. Чтение превращается в мелькание фрагментов, отрывков: здесь немного, там чуть-чуть.

«...Разве чтение множества писателей и разнообразнейших книг не сродни бродяжничеству и непоседливости? Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов, питая ими душу, если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто везде — тот нигде. Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев множество, а друзей нет. То же самое непременно будет и с тем, кто ни с одним из великих умов не освоится, а пробегает всё второпях и наспех».

Сенека очень точно описал здесь тот феномен поверхностного, рассеянного и безразличного чтения. Нечто близкое мы наблюдаем и сегодня. Чтение, нацеленное не на понимание, а на некое блуждание ума. Да и «питать душу великими умами» (читай: классикой) желающих всё меньше. Каждый — сам себе ум. Разумеется, великий.

Каким может быть выход?

Думаю, что не в другой крайности. Не в уныло-казенном насаждении чтения, особенно классиков. Не в их музеефикации, умножении памятников и улиц имени кого-то. Не в музеефикации, архивации самого классического канона, отдании его целиком на откуп филологам и историкам.

Это, конечно, всё равно будет происходить. Всё это, в определенной мере, нужно. Но хотелось бы продолжить разговор о варварстве. Оно ведь может быть не только ядом, но и противоядием.

Я упомянул три вида варварства: от невежества, от агрессии и от безразличия. Однако может быть и четвертый: варварство креативное и осмысленное. Как сказал бы Шкловский: варварство как прием.

Варварство — это не всегда что-то чуждое, внешнее и исключительно враждебное культуре. Варварство — это часть самой культуры. Важный, хотя и травматичный механизм ее обновления.

Варвары, конечно, могут приходиться и нападать откуда-то извне. Но, как правило, там и тогда, где сама культура теряет (либо уже почти потеряла) свою жизнеспособность, волю к расширению и развитию. Где она разваливается, рассыпается под грузом самой себя. Как в известном стихотворении Кавафиса «Ожидая варваров»: «И что же делать нам теперь без варваров?/ Ведь это был бы хоть какой-то выход». Вот именно.

Варвар может быть носителем иной культуры, иной религии. Кого только не обвиняли в разрушении Александрийской библиотеки. Христиан, мусульман... Современные исследователи рисуют более печальную картину. И более достоверную. С упадком классического образования в поздней античности библиотека разрушалась сама собой. Книги перестали читать и переписывать, а папирусные свитки долго не хранятся.

Раз речь зашла о библиотеках, то можно вспомнить здесь почти забытого швейцарского мыслителя Франсуа-Родольфа-Вейсса. В своих «Принципах философии, политики и морали» он предлагал уничтожить большую часть книг, хранящихся

в библиотеках. Книг огромное количество, писал Вейсс, и с каждым годом их становится всё больше. «Если бы мы удалили все повторы, всё лишнее, ложное, бесполезное или опасное, то оставить даже тысячную часть их было бы снисходительно». Когда в Берне из-за недостатка места для хранения книг встал вопрос о строительстве новой библиотеки, Вейсс предложил «быстрый и простой путь, который ничего не будет стоить». А именно: «сжечь, продать или раздать некоторые бесполезные книги».

Вейсс, конечно, рассуждал как варвар. Но варвар культурный; даже исключительно культурный. Сам он ценность книг, безусловно, понимал. Но понимал и другое: простое складирование книг, простое их хранение может оказаться бессмысленным, а в чем-то и вредным. Книги должны жить. Читаться, дариться, обмениваться; даже запрещаться и уничтожаться, в конце концов.

Креативным варваром был упомянутый Шкловский в лучшую свою, «опоязовскую», пору. Да и сам ОПОЯЗ. «Основной пафос нашей историко-литературной работы должен быть пафосом разрушения и отрицания...» Креативно-варварским был сам авангард — в литературе, в филологии, во всём. Призыв сбросить Пушкина с корабля современности был, думаю, для пушкинской поэзии нужнее, чем десятки позеленевших кучеряво-бакенбардных статуй. Сбросить с корабля можно труп или памятник; живое всё равно останется. И станет еще живее.

Как такое креативное варварство — в отношении литературной классики — может выглядеть сегодня? Противостоящее как варварству безразличия, так и варварству агрессивного уничтожения?

Активное осовременивание. Пути его не совсем понятны, поскольку не совсем понятно, что такое современность *сегодня* (всё больше напоминающее брежневское прошлое, только с гаджетами). Но попробовать можно и нужно.

Был, скажем, замечательный проект альтернативного учебника, «Литературная матрица». История литературы, которую пишут сами литераторы, — это всегда интересно и провокационно. Жаль, издатели остановились, и проект угас. Авторами альтернативных учебников по литературе могли бы стать не только писатели — но и журналисты, блогеры, режиссёры, богословы, политики...

Недавно, например, сборник «Лекции о русской литературе: от Пушкина до Кафки» (М.: InSpīgia, 2023) выпустил драматург и блогер Валерий Печейкин. Это умная и веселая книга. Адресована она как бы преподавателям (открывает ее глава «Письмо школьным учителям»), но, уверен, ее с интересом прочтут и старшеклассники. Печейкин работает как креативный варвар, а точнее, как креативный менеджер, пытающийся показать, что классика — не просто современна, но злободневна, полезна, необходима.

Классики у Печейкина меньше всего похожи на памятники. Достаточно просмотреть оглавление. «Пушкин как гениальный копирайтер». «Гоголь криповый и кринжевый». «Одоевский как мультипотенциал». И, конечно, Кафка. «Кафка как великий русский писатель».

«Раньше в школе ленивым ученикам говорили: “Кто за тебя это сделает? Пушкин?” Почему-то не спрашивали: “Гоголь?” Или: “Достоевский?” Сами подумайте, что за нас может сделать Достоевский.

Пушкин остается человеком, который продолжает за нас работать. <...> Пару лет назад, в начале эпидемии ковида, я зашел в метро и увидел там социальную рекламу. На баннере было написано: “Бросание перчатки может привести к непоправимым последствиям”. И нарисован Пушкин, бросающий перчатку. Реклама была очень ясной: надо носить не только маски, но и перчатки. Пушкина всегда зовут, когда нужно объяснить неприятную вещь. Ведь Пушкин — добрый милиционер.

Его зовут, когда нужно объяснить что-то новое. Например, создается в России нейросеть, которая умеет писать стихи. Чье лицо она получает? Конечно, Пушкина. Я знаю две российских нейросети, получивших имя нашего героя. Первая

“Ай да Пушкин”, вторая — Neural Pushkin. И обе сейчас не работают. А Пушкин продолжает работать».

В интервью Борису Кутенкову в «Учительской газете» (2023, № 40) Печейкин развивает эту мысль: «...Я регулярно делаю так: захожу на маркетплейсы и ввожу там имена Пушкина, Гоголя, Достоевского, Маяковского и так далее. И смотрю, что продается с их именами, кроме книг. Так вот, например, я выяснил, что “Маяковский” — это носки, парфюм и даже сорбет. Александр Сергеевич представлен, например, в виде салата “Пушкин”. Теперь я могу посадить своего “Пушкина” и вырастить, могу даже съесть его». «Получается, — уточняет интервьюер, — вы не считаете такой разговор о Пушкине вульгарным?» «Нет, не считаю. В конце концов это тоже поэтический акт — назвать именем классика салат или сорбет. Если с автором хочется играть, он жив».

Я тоже не считаю это вульгарным. Хотя определенная опасность подмены креативного варварства — всеядностью рынка (для которого «Пушкин» не автор, а просто имя, бренд) здесь присутствует.

«Игра с классиком» может идти не только по пути осовременивания классики, но и через осовременивание самой литературы, преподаваемой в школах. Увеличения в ней доли современной русской литературы. Классика — прекрасно, но слишком многое в ней нынешнему школьнику непонятно; прежде всего язык.

Столетие назад, в 1920-м, Брюсов писал, что у Пушкина архаизмов мало и что даже те, которые у него встречаются, не требуют пояснений. «Такие слова, как *брег*, *злато*, *сие*, *втуне*, хотя и вышли из употребления, большинству понятны». Возможно, *брег* и *злато* у современных школьников не вызовут вопросов, но вот насчет *сие* и *втуне* — уже не уверен.

Так что современный язык должен — наряду с древнерусским и «классическим» — отражаться в литературных текстах, изучаемых в школе. И современные проблемы. А значит, должна присутствовать и современная литература.

В конце прошлого года была робкая попытка дверь для современной русской литературы в школьную программу слегка приоткрыть. В «Федеральной образовательной программе среднего общего образования» были упомянуты несколько текстов современных русских авторов. Я об этом уже в «Дружбе» писал (2023, № 4), повторяться смысла нет. Разве что еще раз обращаю внимание на то, что в «Программе» совершенно отсутствует современная литература за пределами России; и не только современная: в ней не упомянуто *ни одного* произведения зарубежного автора последних лет семидесяти.

Я помню встречу с новосибирскими школьниками семь лет назад; ребята сидели вареные и вялые, пока не задал им вопрос, как бы они отнеслись к включению в школьную программу Джоан Роулинг. Всю вялость тут же сдуло. Большинство высказалось «за», кто-то — «против»... Я не любитель Поттерианы и не сторонник того, чтобы ее проходили в школе. Но подумать над тем, чтобы сделать изучение литературы в школе более гибким и чуть более сориентированным на самих школьников и их интересы, всё же стоило бы. И именно за счет современной литературы.

Современная литература — это тот контекст, в котором классика только и становится классикой. От которого она получает питание и все необходимые микроэлементы. Иначе она будет просто набальзамированным трупом. И чем неожиданнее и контрастнее будут эти современные произведения, тем, думаю, лучше. Хотя бы на уровне авторских программ преподавателей — от министерских программ такого креативного варварства вряд ли дождешься.

Есть во всё этом опасность? Безусловно. Но по сравнению с растущей опасностью варварства от безразличия, какой-то усталости от культуры, от чтения, от любой интеллектуальной сложности, креативное варварство — не только наименьшее зло, но и зло необходимое. И в чем-то даже симпатичное.

Ольга Гертман

Дети берутся через дырку в заборе

(Мега)рецензия в двух частях и двух постскриптумах

Что делать с классиками — с их то есть классическими текстами — здесь и сейчас? Как их читать, а уж тем более — для чего (и как) их теперь перечитывать (ведь безнадежно же архаичны, разве нет?), с какими запросами к ним есть смысл обращаться, особенно если ты — не филолог-профессионал и быть таковым не собираешься, а замученный учителями школьник, и тебе всего-то пятнадцать лет — которые, все целиком, ты прожил в далёком от всех этих обязательных классиков XXI веке, и все твои культурные установки и привычки, очевидности и потребности — совершенно другие, чем у авторов всех этих текстов, которые тем не менее от тебя зачем-то требуют знать, а филология тебя вообще не волнует, и ты никогда не будешь ей заниматься? Ну, это вопросы для юных читателей (они же — упорные нечитатели), а есть вопрос и для тех, чья профессиональная обязанность — их учить: что такое надо сделать с этими классиками, как их истолковать, как представить, чтобы они стали детям интересны и понятны — и оказались прочитаны?

Ответы на такие вопросы и стараются найти авторы ныне обозреваемых книг.

Юлия Яковлева. Азбука любви / Ил. Влады Мяконькиной. — М.: Самокат, 2018. — 208 с. — (Шлагбаум)

Ну, положим, автор «Азбуки любви» иногда всё-таки преувеличивает, и даже сильно. Например, отношения Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны из гоголевских «Старосветских помещиков» — уж никак не единственная история счастливой любви во всей мировой литературе. Впрочем, оставим читателям интригующую задачу поиска примеров, опровергающих это утверждение, и сосредоточимся на существе дела.

Книга Юлии Яковлевой, адресованная как подросткам, так и тем, кто уже счастливо преодолел этот жизненный этап, вышла пять лет назад, но на рассмотрение она просто напрашивается: такими здоровыми руководствами (так и хочется сказать — инструкциями) по пользованию классикой из школьной программы (да, именно и особенно из школьной программы, прекрасно умеющей отбивать всякое влечение к чтению и перечитыванию литературы как таковой и классики в особенности) сегодняшняя словесность уж точно не изобилует. Руководство, да, здоровое, — хотя и не без некоторого огрубления (которое, впрочем, скорее всего, действительно требуется в интересах дела).

Стремясь сделать классическую литературу актуальной для своих юных читателей, в отношении этих последних Яковлева занимает, кажется, наиболее гуманную позицию. О ужас, она разрешает им свободу! — вплоть до свободы не читать. Уже с первых страниц она заявляет нечто совершенно, казалось бы, скандальное: «Если читать вам не нравится, то и ладно». В конце концов, дерзко утверждает автор, «по мотивам многих хороших книг сняты вполне хорошие фильмы; есть отличные спектакли и гениальные оперы. И только очень глупые люди считают, будто любить кино (театр) больше, чем литературу, так же неприлично, как ковырять в носу». Да усваивайте вы, то есть, эту классику в любой удобной вам форме, хоть в виде компьютерных игр. Главное — усваивайте. Делайте своим то, что там сказано. Перенимайте опыт.

Тут, конечно, возникает соблазн и поспорить: в конце концов, литература — это совсем не только то, «что хотел сказать автор», но и то, как и почему именно так это сказано, и вообще большой вопрос, имеет она отношение к так называемой реальности или создаёт собственную... однако не будем отвлекаться. У Яковлевой есть совершенно отчётливая мысль, её она и развивает: художественная литература — это передача жизненного опыта, моделей поведения — уже кем-то до тебя отработанных и проверенных, — и потому к ней можно (нужно!) обращаться за помощью в трудную минуту (а трудных минут, как все мы прекрасно помним, у подростка сколько угодно; и огромная их часть связана с межлическими отношениями, среди которых любовь — едва ли не первейшая; затем и азбука). «Нет такого несчастья, которое бы с кем-нибудь однажды уже не случилось. Нет такой беды, из которой хоть кто-нибудь бы не спасся. Потом они охотно делятся опытом и впечатлениями. С книгами о любви — то же самое. Всегда приятно осознавать, что кто-то уже ходил на свидания, целовался первый раз, стучаясь зубами, объяснялся в любви. Кого-то уже бросали, обманывали, отвергали. И ничего, не умер человек — а иначе кто написал эту книгу?»

В соответствии с такой позицией автор пересказывает некоторые тексты, ключевые для русской и европейской литературной традиции: «Первую любовь» Тургенева, «Женитьбу» и «Старосветских помещиков» Гоголя, «Макбета», «Отелло», «Ромео и Джульетту» Шекспира, «Кармен» Проспера Мериме, «Опасные связи» Шодерло де Лакло, «Бесприданницу» Александра Островского, «Анну Каренину» Льва Толстого, «Евгения Онегина» сами-знаете-кого — максимально человеческим языком, как можно более внятном и близким её юной аудитории. Настолько, что иногда чуть ли не слишком человеческим: «Дети иногда берутся через дырку в заборе». Так начинается пересказ «Первой любви». Дальше всё гораздо более конвенционально (а мы тем временем заметим, что происходящее в, так сказать, исходных текстах при этом изымается из породившей его среды — социальной, исторической и т.п. — с её подробностями и рассказывается так, что могло бы произойти когда угодно и где угодно): «Забор соединял две дачи и упирался в общую стену. Там росла ель, и мальчик легко спрятался под её густыми ветвями. Потом устал ждать и замерз, ведь летом по ночам бывает прохладно. Он перебрался в развалившуюся оранжерею. Оттуда хорошо просматривался весь соседский сад и дом, где жила девушка. Мальчик уже знал, что она его не любит. Ему было всего шестнадцать, и, по правде сказать, ему не с чем было сравнивать: он любил впервые. Но все же, когда тебя не любят в ответ, это чувствуется и без всякого опыта. Мальчик не ошибался. Он чувствовал, что она любит другого». (Этот нетривиальный приём хочется назвать *ребеллетризацией* — написанием поверх классической канвы, по сути, нового беллетристического текста.) И далее — с забавной классификацией родителей (стоящих перед задачей объяснить своим детям, как же всё-таки размножаются люди: соответственно, родители бывают (1) застенчивые, (2) противно застенчивые и (3) непобедимо застенчивые; нет, ничего другого не бывает), с обильными отсылками к личному опыту возможного читателя, да и к собственному опыту автора («Всегда очень неприятно, когда твои родные взрослые

ведут себя как все обычные люди. Вот так я однажды застучала бабушку: она с аппетитом наворачивала шоколадные конфеты...»), что кажется, честно сказать, несколько избыточным и в обилии своём едва ли не вытесняет из внимания изначальный предмет обсуждения, ради которого предпринимаются все эти старания.

К счастью, автор довольно скоро возвращается к некоторым особенностям эпохи, породившей обсуждаемый текст: «...В XIX веке, когда Иван Тургенев написал свою повесть “Первая любовь” и еще примерно двенадцать томов, детей из дворянских семей не выпускали побегать во двор. А если выпускали, то с няней. Ребенок подрастал. Его выпускали с гувернанткой (если это была девочка) или с гувернером (если мальчик). Как правило, воспитатель был иностранцем...». В результате человек, доживший до почтенного возраста пятнадцати-шестнадцати лет, «ни разу не ел песок. Не ставил кошке клизму. Не кидал камнями в окно. Не лазил воровать яблоки. Не знал, что слезать с дерева гораздо труднее, чем залезть. Что разбитое колено лечится, если поплевать и приложить только что сорванный подорожник. И что тихий час в детском саду лучше всего провести, рассматривая по очереди, что в трусах у других девочек и мальчиков (тайком от усталой воспитательницы)...». Ну, насчет детского сада поверить ещё можно, относительно же всего остального... (а вот, скажем, дети Толстые — разных поколений — в Ясной Поляне с ее огромными пространствами для игр и прогулок неужели не испытали хотя бы что-то из этого?) Между прочим, опыт сегодняшних детей, растущих в большом городе и не выпускаемых на прогулки без присмотра, по крайней мере по части битья стёкол, воровства яблок и целительности подорожника — мало чем отличается. И раз уж мы о личном опыте: о ужас, автор этих строк, возраставшая в семидесятые годы минувшего столетия у московского метро «Университет», не испытала ничего, вообще ничегошеньки из перечисленного. О подорожнике, правда, была наслышана.

(Там ещё, вообще-то, много интересного. Например, как были устроены купе в поездах, ходивших при Тургеневе между Петербургом и Москвой, и кто стал первым в истории чемпионом мира по шахматам («чешский еврей из Австрии — Вильгельм Стейниц»; это, представьте, в связи с Ромео и Джульеттой), и как итальянки перекрашивались в блондинок во времена Шекспира, и, пуще того, даже об особенностях писательского поведения «человека, который подписывал свои пьесы “Шекспир”», — нужды нет, что совершенно неведомо, кто он такой: «Он сел за стол, открыл папку — там у него хранились листки, на которые он обычно выписывал все интересное, что попадалось. Полистал. Он надеялся пробудить писательский аппетит... <...> Шекспир устроился поудобнее, подвернул одну ногу. Он очень быстро писал», и, Боже мой, даже рецепт паэлья (буквально, список ингредиентов с точным весом в граммах и литрах) — это в связи с «Кармен», история которой приключилась, как мы помним, в Испании: «Мериме создавал свою новеллу вдохновенно, как паэлью». Ой.)

В целом же подход к классическим текстам предлагается предельно прагматический. Где-то даже утилитарный. (И каждая глава заканчивается «полезным советом», имеющим к литературе уж совсем косвенное отношение. Вроде, например, того, что любовные дела лучше обсуждать не с родителями, а с бабушкой, что, «если пульт от телевизора опять не на месте, уберите его сами. Не с пультом ведь жить, а с человеком...» — поверите ли, это — в связи с «Макбетом», — а на письма правильнее всего отвечать прямо в день их получения. А то ещё, не приведи Господь, Онегин через несколько лет зайвится, как к той Татьяне, объясняясь потом.)

Право, иной раз задумаешься и о важности дистанции между человеком и текстом — такой, которая преодолевалась бы усилием и, возможно, никогда не схлопывалась бы вполне. С другой стороны, при всех издержках *ребеллетризации* (где-то даже *гиперребеллетризации*) и перенасыщения разговора о классике апелляциями к опыту, не слишком-то с нею связанному, действительно, не грех иногда дистанцию

и сокрушить (пусть иллюзорно!), — чтобы юные читатели не боялись классических текстов и чувствовали, что при всей своей классичности, инаковости, образцовости и что там ещё есть такого ужасного — это ещё и живые тексты о живых людях, таинственным образом имеющие отношение к каждому, и что с ними всё-таки возможно говорить на равных. А прелесть книги Яковлевой, которая нам это чувство возвращает, — в том, что у неё всё очень, очень — дерзко, незаконно и радостно — живое.

Алексей Олейников. Онегин. Графический путеводитель [для среднего и старшего школьного возраста] / Иллюстрации Натальи Яскиной — 3-е изд. — М.: Самокат, 2022. — 128 с.; Алексей Олейников. Горе от ума: Графический путеводитель [для среднего и старшего школьного возраста] / Иллюстрации Натальи Аверьяновой. — М.: Самокат, 2023. — 128 с.

Авторы графических путеводителей по русским классикам — ответственный за текстовую компоненту этого предприятия Алексей Олейников и художники, ответственные за сторону графическую, Наталья Аверьянова и Наталья Яскина соответственно — пошли по пути, намеченному в своей «Азбуке...» Юлией Яковлевой, ещё дальше (хотя, я бы сказала, в несколько другом направлении — гораздо более прямо: без отступлений в сторону личного опыта и общих рассуждений, в результате чего текст, в обеих своих компонентах, и буквенной и графической, получается весьма плотным, мускулистым) и поступили ещё радикальнее. Для тех упорствующих, кто, несмотря на все усилия заинтересовать их классическими произведениями, читать всё-таки отказывается (ну, скажем, плохо воспринимают люди написанное буквами, в зрительных образах им понятнее), — авторы наложили эти тексты на (притягивающие взгляд) картинки. Картинки-аттракторы.

Кстати, как сказано в самом начале грибоедовского путеводителя, созданного вслед за пушкинским (выдержавшим, между прочим, уже три издания!), «вместе они образуют мета-комментарий, который расширяет понимание эпохи Пушкина и Грибоедова и текстов, рожденных этой эпохой». Говоря о воздухе одного и того же времени, эти книги ведут диалог друг с другом. Так что смотреть — ну хотя бы листать — их правильнее всего одну за другой¹.

(И кстати же, хорошее название — «графический путеводитель»; куда лучше распространённого применительно к таким книгам слова «комикс», вызывающего в воображении нечто комическое — смешное — несерьёзное — забавное — легковесное... а тут такие ассоциативные цепочки пресекаются ещё до своего начала. В самом конце, правда — на четвёртой странице обложки, — это слово всё-таки мелькнёт: книга, говорят авторы «Онегина», «раскрывает особенности романа через комикс (Пушкин бы оценил!)». Ну ладно, на четвёртой-то странице обложки уже можно! Да, появится оно и в предисловии к грибоедовскому путеводителю: «Эта книга — полноценный комикс по пьесе “Горе от ума”, сопровождаемый историко-литературным и реальным комментарием». Но кто же читает предисловия!)

Работа, на которую отважились авторы, на самом деле — большая и весьма нетривиальная. Конечно, картинки в какой-то мере спрямляют восприятие, снимая с читательского воображения значительную часть работы (прелесть-то литературы в том, что человек по её указаниям, намёкам и обещаниям всё достраивает внутри себя сам, и это даёт мало с чем сравнимую свободу) и показывая ему, как-де всё выглядело «на самом деле». Однако, каким бы парадоксальным это ни показалось (хотя в сущности ведь ничего парадоксального!), авторы «графических путеводителей» двинулись

¹ А на подходе уже и третий путеводитель — по «Мёртвым душам». — *Прим. ред.*

в сторону не упрощения, как можно вообразить, конечного, предлагаемого к усвоению результата (даже при том, что сюжетная линия «Евгения Онегина» представлена ими в сокращении), но, напротив, — усложнения его, добавления ему измерений (картинка-то получается стереоскопическая!), насыщения его контекстами.

Скажем, сопроводили пересказ цитатами из современников — живыми голосами того самого времени, когда создавались комментируемые тексты. Обогатили его сопутствующими сведениями о том, каким, например, было мужское и женское образование в онегинское время (настолько разным, что рассказы о нем разнесены по разным главам), каковы были любовный этикет и альбомная культура; каков был в ту пору Петербург; как приняли роман современники, что повлияло на роман и на что повлиял он сам... Кроме того, каждому из путеводителей предшествует хронология, по годам расписывающая события комментируемых текстов — в том числе и те, что произошли за рамками сюжета, вплоть до дат рождения их героев: 1795 — год рождения Евгения Онегина, 1803 — Владимира Ленского и, видимо, Татьяны Лариной, 1811—1812 — окончание «ученья» Онегина и выход в свет... То же с «Горем от ума»: 1801 — год рождения Чацкого, вероятный год рождения Молчалина; 1805 — смерть отца Чацкого; 1818 — Чацкий начинает ухаживать за Софьей... Важно это тем, что вписывает происходящее в комментируемых текстах в живую реальную историю, повышая его подлинность (да и простую человечность: вот же, эти люди были сделаны из материала своего времени точно так же, как и те, что были рождены тогда во плоти). Сокращает дистанцию без фамильярности.

И анализ, серьёзный и глубокий, начинается в этих книгах с первых же страниц. Например, Грибоедовский путеводитель Олейников открывает такими мыслями — очевидными и неожиданными одновременно: «“Горе от ума” в каком-то смысле двойник романа “Евгений Онегин”. У них много общего. В центре каждого из произведений — молодой неординарный человек, разительно выделяющийся из своего окружения. И Чацкий, и Онегин не могут найти себе места в обществе и потому бегут от него. Оба переживают любовную катастрофу. Даже имена авторов совпадают — и Грибоедова, и Пушкина зовут Александр Сергеевич. Но при всем сходстве есть множество отличий. Если “Евгений Онегин” — это роман в стихах, где мы следуем за прихотливым течением мысли автора и где Пушкин царит на каждой странице, то “Горе от ума” — пьеса, где Грибоедов отступает в тень, выдвигая вперед своих персонажей».

Авторы, конечно, не отказывают себе (и нам!) в удовольствии подразнить читателя. «Вы поморщились?» — участливо интересуются они, пафосно представив создателя исходного текста: «Русофил, европеец, бунтарь, историк и литературный гений наш Александр Сергеевич милый подарил тяжеловесному имперскому орлу настоящий голос — современный русский литературный язык. А чтоб орёл не растерял его в войнах и погоне за модой, Пушкин бережно сложил сокровище в шкатулку — роман “Евгений Онегин”». И восклицают, поняв, что, конечно же, да: «Тогда вам точно нужна эта книга!». А затем обещают, что их книга «мгновенно снимает порчу школьного образования». Ну кто же не захочет проверить?

Всё-таки очень важно выбрать верную интонацию; мне кажется, у Алексея Олейникова это получилось. Весьма неплохое противоядие против слащавого пафоса и благоговейной идеализации (ближайших родственников скуки и безразличия), против расхожих стереотипов и верной их сестрицы — пошлости, которые чему уж точно не способствуют, так это пониманию.

Конечно, это — (ещё и) игра, многоуровневая, разноформатная — дающая, как всякая игра, чистую радость от самой себя. (Так, например, в проводники по роману Пушкина избран Агапит Косой-Босой — заяц, рассказывающий о себе следующим образом: «Происхожу я из старинного рода пушкинских зайцев, которые издавна обретаются в окрестностях сельца Михайловского. Исстари зайцы рода нашего

воспитывались на строках «Евгения Онегина»». И весь остальной текст, стало быть, — перевод с заячьего. Ну, кроме пушкинских стихов... хотя, строго говоря, и тут ни в чём нельзя быть уверенными! — иначе как бы их читали зайцы?..) Но что же мешает игре работать на серьёзные результаты?

Кстати, в конце каждого путеводителя помещён «Краткий библиографический список» — ну совсем кратенький, к «Онегину» — всего-то в десять пунктов, к «Горю от ума» — в четырнадцать: книги по истории культуры, способные очень расширить, углубить, уточнить представление об увиденном в картинках (скажем, в список по «Онегину» входят и «Пушкин и его современники» Юрия Тынянова, и двухтомник «А.С.Пушкин в воспоминаниях современников», составленный Вадимом Вацуру с коллегами, и его же «С.Д.П. Из истории литературного быта пушкинской поры»; и комментарий к «Евгению Онегину» Юрия Лотмана, и совершенно обязательная, думается, для этой темы его книга «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)»; а в список по «Горю от ума», кроме того же «Пушкина и его современников» Тынянова и его же «Сюжета “Горя от ума”», — и «Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы» Михаила Пыляева, и, с совсем другой стороны, «Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700—1917» современной американской исследовательницы Кристин Руан... Задача графических путеводителей — ещё и в том, чтобы (как всё-таки упорно кажется) дать прочувствовать недостаточность графического. Раздразнить воображение, соблазнить его: что же всё-таки такого понаписано этими буквами? Так что, дорогие нелюбители чтения, читать всё-таки придётся. Что-то мне подсказывает, что не пожалее.

Постскриптум 1

Война и мир в отдельно взятой школе: Роман-буриме / Предисловие П.Басинского. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. — 381 [3] с. — (Проза нашего времени)

На первый поверхностный взгляд, «Война и мир в отдельно взятой школе», роман-буриме, написанный аж двадцатью четырьмя авторами (максимально разными, из разных поколений и даже из разных стран — но все они люди одной, русской, культуры, то есть с общими матрицами в голове — теми же самыми матрицами, что и ныне внедряются в головы учеников русских школ)¹ — не совсем или даже почти совсем не укладывается в русло рассуждений о том, как преодолеть нормальное ученическое сопротивление обязательной классике и сделать её частью их жизни. Это и явно не классика, и даже как будто вовсе не о ней. Это проза именно что «нашего времени», со своим собственным сюжетом, и все события происходят в условной современности, о которой классики, сколько помнится, ничего не писали (впрочем, так ли это — предстоит ещё по ходу чтения романа разобраться). «...Если коротко:

¹ Всё-таки будет справедливо назвать поимённо этих отважных людей. Не по алфавиту — по порядку глав: Денис Драгунский, Игорь Малышев, Григорий Служитель, Эдуард Веркин, Нина Дашевская, Алексей Сальников, Елена Нестерина, Мария Ботева, Александр Фенденко, Анастасия Строкина, Сергей Лукьяненко, Валерий Бочков, Александр Григоренко, Булат Ханов, Антон Соя, Артём Ляхович, Ильгар Сафат, Дарья Бобылёва, Серафима Орлова, Владимир Березин, Евгений Сулес, Антонина Книппер, Николай Караев, Дмитрий Быков (позже внесённый в РФ в список иностранных агентов) — и примкнувший к ним автор предисловия Павел Басинский, высказавший важное в контексте этого номера «ДН» предположение: «Я прочёл это с улыбкой, но возможно, что подростки прочтут это иначе, вполне всерьёз». — *Прим. ред.*

ученики одной школы пытаются спасти ее здание, которое готовится под снос (как и весь район), чтобы на этом месте отец одной из учениц построил что-то вроде огромного торгово-развлекательного центра. Таким образом, детей не просто переместят в другие школы, но и расселят по разным районам. И они начинают бунтовать». (Адресовано это, конечно, ровесникам героев как ответ на их насущные тревоги и заботы.) Ну, актуальнее, казалось бы, почти некуда; какая ещё классика, и при чём тут она?

А ведь роман неспроста уже своим названием обыгрывает заглавие одного из неминуемо-классических текстов. Так оно и дальше будет!

Прелесть в том, что текст насыщен (перенасыщен?) аллюзиями. Он практически весь состоит из отсылок разной степени явности — к текстам разной степени классичности (которые все в той или иной степени формируют те самые матрицы насущные, укоренением которых в головах по обязанности занимается школа). И не только из русской литературной традиции.

Тут, конечно, есть в наличии всё необходимое, чтобы заставить читателя следить за сюжетом да простодушно сопереживать героям (хотя и это дело хорошее, — одна беда: недостаточное). Но отдельное удовольствие — угадывать, что куда отсылает, и стараться понимать, для чего это делается, что всё это значит. В принципе, представима ситуация, в которой можно будет в таком угадывании и соревноваться — скажем, в классе на уроке: кто больше выявит.

Роман — чтобы быть полноценно воспринятым и пережитым — требует начитанности. Он взывает к ней. Он просто вынуждает растущего читателя её себе нарабатывать, вообще — думать о ней, понимать, что она ценность. Догадываться, что такое общая символическая система некоторой культуры (классика — это ведь именно она!) и что даёт человеку всё более полное вступление в это символическое наследство.

Он, конечно, продолжает (намеченную всего более в «графических путеводителях») игровую линию — да-да, того самого приобщения подростков к классике, которым озабочены авторы двух основных частей нашей мегарецензии. Ну, заодно, если вдруг кто-то из начинающих читателей не знает, что такое буриме — в предисловии ему это подробно объяснят да ещё расскажут об истории жанра — и на европейской, и на русской почве. Тоже, в конце концов, классика.

Постскриптум 2

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. образ чацкого скачать бесплатно: пьеса // Дружба народов. — 2016. — № 11. = <https://magazines.gorky.media/druzhba/2016/11/obraz-chaczkogo-skachat-besplatno.html>

Что же касается пьесы Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, она — весьма выразительная иллюстрация к проблеме, которую мы обсуждали: взаимоотношения с классикой — уж конечно, навязываемой — её молодых, бурно растущих реципиентов, которым совсем не до того, что тшится вдолбить им нудная старая училка. «Уже пенсионного возраста, но еще крепка и авторитарна» — ну в точности как эти самые классики. Да, крепкие, да, авторитарные, но не пора ли им всем уже на пенсию?..

«ЗИНАИДА ПАВЛОВНА. Тема сегодняшнего урока (поворачивается к доске, пишет и параллельно диктует) — «Бессмертная пьеса Александра Сергеевича Грибоедова “Горе от ума”». Это произведение...

Зинаида Павловна продолжает что-то беззвучно говорить».

Но, конечно, никто её не слушает: в класс пришёл новый, блестящий, волнующе-таинственный ученик, которым, впечатлениями от которого, возможными

взаимоотношениями с которым все только и заняты. А тот, когда разгневанная училка требует дать «развёрнутую характеристику произведения», отвечает ну совершенно в духе новейших актуальных адаптаций классики для его ровесников, — разве что несколько более развязно, но, право, ненамного: «Ну, если выжать всю воду с соплями, в сухом остатке — приехал Чацкий, весь из себя понтовый, из-за границы. Девчонка его не дождалась, местные все тупые, он понимает, что пора валить... и валит. Всё!».

Между прочим, посрамить училку-зануду смелому молодому человеку на первых порах удаётся (а та и впрямь по многодесятилетней привычке громоздит один стереотип на другой, и неизвестно ещё, что лучше, — «весь из себя понтовый... пора валить» или «создавая характер этого персонажа [Молчалина], Грибоедов показал растлевающее влияние крепостническо-чиновничьей морали... Грибоедов сталкивает Чацкого как представителя нового и прогрессивного...», — вообще-то оба хуже). Более того, во всё возрастающее посрамление училкиной косности и в сопутствующий разрыв всех её мнившихся самоочевидными шаблонов он предстаёт своей восхищённой аудитории новейшим Чацким.

«ЗИНАИДА ПАВЛОВНА. Погоди! Если бы ты впитал в себя морально-нравственные идеалы, которые заложены в золотой фонд русской словесности, ты бы вел себя совершенно по-другому. Внимательно слушал бы старших, не перебивал. И не выпячивал бы свое мнение!

ДЖОРДЖ. Как Молчалин?

ЗИНАИДА ПАВЛОВНА (сбита с толку). А при чем тут Молчалин?

ДЖОРДЖ. Ну, это же он говорил: «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь?»

ЗИНАИДА ПАВЛОВНА. Нет, Молчалин — это... совсем другое. Я имею в виду, что не стоит дерзить людям старше себя, не стоит возражать им по поводу и без повода...

ДЖОРДЖ. Как Чацкий?

Класс давится смехом».

(Кстати, аудитория взволнована. «Комментарии: “Слышите он че реально чацкого читал???”», “скачать, что ли?”»)

А юный правдолюб всё напирает и напирает, — уже прямо от имени Чацкого: явился бы сюда Чацкий, что бы он вам сказал? — да вот: «Вы посмотрите на эти лица, вы серьезно думаете, что ваша болтовня про Грибоедова кого-то трогает? Да они или спят, или в телефонах по уши! Им ваша литература — как козе баян!».

Спойлеров не будет, но одного всё-таки не миновать: постепенно оказывается, что все эти ребята — не читавшие «чацкого» ввиду его глубокой неактуальности (или всё-таки читавшие? ну хоть пересказы?) — ведут себя в точности по грибоедовским моделям. Так сказать, классически. Сами они, конечно, этого не видят (один, впрочем, догадывается: «Мне кажется, если покопаться, то в любом можно найти немного Чацкого и немного Молчалина»). Не говоря уж о том, что одна героиня, совсем уж неожиданно для себя (и даже к собственному потрясению), в минуту, злую для неё, вдруг начинает изъясняться словами письма Татьяны к Онегину. С чего бы всё это?

Уж не с того ли, что классика растворена в воздухе?

Екатерина Дмитриева

Второй том «Мёртвых душ»: замыслы и домыслы

Фрагменты из будущей книги

На основе архивных данных и воспоминаний современников автор реконструирует один из самых загадочных сюжетов истории русской литературы: от зарождения замысла второго тома поэмы и сожжения рукописи — до мифов, мистификаций и стилизаций, вплоть до наших дней возникающих на этой почве.

Книга Екатерины Дмитриевой «Второй том “Мёртвых душ”: замыслы и домыслы» готовится к выходу в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Научная библиотека». Мы благодарим издательство за предоставленную возможность познакомить с фрагментами книги читателей «ДН».

Предисловие

Гоголь был лгун. Вершиной романтического искусства считалось стремление открыть перед читателем душу и сказать «правду». Вершиной гоголевского искусства было скрыть себя, выдумать вместо себя другого человека и от его лица разыгрывать романтический водевиль ложной искренности. Принцип этот определял не только творческие установки, но и бытовое поведение Гоголя. <...> Есть своеобразный курьез в том, что писатель, ставший знаменем правдивого изображения жизни в русской литературе, и в творчестве, и в быту любил врать.

Так начиналась последняя, уже надиктованная, статья Ю.М.Лотмана¹. Тезис о лгуне можно было бы и перефразировать: не лгун, но мистификатор, загадавший в своей жизни (и своей жизнью) немало загадок. Хотя, в случае Н.В.Гоголя, это почти одно и то же. Но, что примечательно, причины «страсти», или, если воспользоваться гоголевскими словами, «задора», уже первыми биографами назывались принципиально разные.

Для одних это было врожденное свойство гоголевского темперамента, его предрасположенности к карнавальной, ярмарочной стихии, которая дает себя знать не только в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», но и более поздних произведениях. И это представление удержится вплоть до работ М.М.Бахтина, Ю.В.Манна, Ю.М.Лотмана.

Екатерина Дмитриева — доктор филологических наук, заведующая Отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН, член академической группы по изданию Полного собрания сочинений и писем Н.В.Гоголя, ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН.

Для других мистификации Гоголя представлялись, напротив, следствием глубокой скрытности его натуры, заставляющей его в различных как жизненных, так и творческих ситуациях «заметать следы». «Таинственным Карлой» называли его сверстники. Да и сам он за несколько месяцев до окончания гимназии писал матери: «Правда, я почитаюсь загадкой для всех, никто не разгадал меня совершенно»².

И, что важно, эта страсть к мистификациям распространялась у Гоголя на самые разные сферы. В первую очередь на бытовую, что на самом деле ставит перед исследователями его творчества острый вопрос о возможности использования его, в частности, писем и авторефлексии по поводу собственных произведений как *достоверного источника*. Однако нередко подобного рода намеренное «запутывание следов» встраивалось и в саму телеологию гоголевского творческого замысла, будучи зашифрованным в пространстве художественного текста³.

И все же одной из самых серьезных, интригующих и до сих пор не решенных (и нерешаемых) загадок в гоголевском наследии остается загадка второго тома «Мёртвых душ», апофеозом двукратного (по другой версии — трехкратного) сожжения которого стало полыхание огня в камине дома А.П.Толстого на Никитском бульваре в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года. Огонь уничтожил как будто бы уже совершенно готовую рукопись второго тома поэмы. Говорю «как будто бы», поскольку о существовании полностью законченного тома мы имеем весьма косвенные данные: туманные высказывания самого Гоголя и исполненные надежды пророчества его современников.

Противоречивой была и история обнаружения пяти глав второго тома, неравнозначных сожженным, но все же дававших некоторое представление о том, как должно было развиваться действие поэмы далее. Печаль, которую испытали друзья Гоголя при мысли о потере второго тома, постепенно стала сменяться некоторой, поначалу робкой надеждой на возможность его вновь обрести. Параллельно возникали домыслы и о тех людях, друзьях Гоголя и его доверенных лицах, в чьих руках мог все же сохраниться список утраченного текста. Однако те, кто пришел в дом А.П.Толстого на Никитском бульваре 21 февраля (день кончины Гоголя), никаких бумаг в его комнате не нашли. И отсутствие это было подтверждено документами Московской городской полиции об осмотре вещей Н.В.Гоголя. Шесть месяцев спустя, после вскрытия комнаты Гоголя, по-прежнему в ней особо ценных бумаг не обнаружили. И только несколькими днями позднее, вдруг, случилось неожиданное: бумаги Гоголя были найдены, и среди них — «Объяснение на Литургию» и черновые главы второго тома «Мёртвых душ». Кто конкретно обнаружил эти главы, у кого они хранились все шесть месяцев после кончины Гоголя, по сей день остается загадкой почти детективного свойства.

Особенность обнаруженных рукописей заключалась в том, что они состояли словно из двух слоев. Создавалось ощущение, что на каком-то этапе Гоголь начинал переписывать набело текст, попутно подвергая его не слишком значительной правке. А затем уже по этому тексту, видимо по прошествии некоторого времени, текст существенно переправил и дополнил, внося исправления и на полях, и между строк.

Когда С.П.Шевырёв, которому друзья Гоголя и его семья поручили расшифровку глав, стал готовить для печати текст второго тома, он в основном принял во внимание тот текст, который в рукописи прочитывался уже после внесенной в него правки. Понадобилось три года, чтобы получить разрешение этот текст опубликовать.

П.А.Кулиш, который готовил следующее издание, расслоил рукопись, сформировав таким образом две редакции: «первоначальную», которая прочитывалась по нижнему слою рукописи, и «исправленную», которая представляла собой верхний слой.

Но и с этим оказалось не все так просто. Казалось бы, «исправленная» версия в издании Кулиша (1857) должна была быть идентичной той, которую напечатал Шевырѐв в так называемом издании Н.Трушковского (племянника Гоголя) в 1855 году. Однако тексты выглядели как неидентичные. Помимо не прочитанных Шевырѐвым отдельных мест, которые впоследствии были разобраны, различие было вызвано еще и тем, что промежуточная правка, имевшаяся в рукописи, субъективно могла быть отнесена и к нижнему, и к верхнему слою. И каждый, кто заново пытался читать и расшифровывать гоголевские рукописи второго тома, предлагал свой вариант, не полностью совпадавший с предыдущим.

Собственно, в этом кроется и причина той мифологии, что возникла вокруг второго тома и не прекращает вокруг него самовоспроизводиться. Советская текстологическая традиция, предполагающая обязательную выработку «белового» или «окончательного» текста, ситуацию только усложнила. С легкой руки Шевырѐва статус белового (канонического) текста был придан верхнему слою рукописи, который читателю, с рукописью Гоголя незнакомому, стал представляться как отражающий некий беловой манускрипт. Нижний же слой стал попадать в раздел «Других редакций» и подавался как черновой⁴. И оттого стало казаться, что рукописей второго тома «Мёртвых душ» существует несколько.

Не решило эту проблему и последнее академическое издание, в котором, правда, «основная редакция» (в отличие от большинства предыдущих изданий) дается по нижнему слою, а черновая — по верхнему⁵. Но принципиально положения дел это не изменило.

Подобная текстологическая аберрация (бывшая, разумеется, следствием соображений самых благородных — и во благо читателя, которого не хотелось запутывать вопросами слишком специальными и частными) стала причиной и дальнейших — вольных и невольных — фальсификаций. Стоило только кому-то обнаружить в архиве или в частной коллекции новый список второго тома (а их в общей сложности, как будет показано дальше, существует множество), он сразу же воспринимался как сенсация. И это потому — что идеального совпадения с печатным текстом в списках не обнаруживалось.

<...> Желание додумать и дописать за Гоголя второй и, возможно, третий том получает оправдание в самой истории текста. И в истории его обнаружения. И в истории бытования. Как выясняется, именно второй том «Мёртвых душ» стал одним из наиболее мощных смыслопорождающих текстов русской литературы. О том свидетельствуют возникавшие в разные годы мистификации и стилизации, в которых незавершенность гоголевской поэмы оставляла широкое поле для «применений» и перенесения действия в новые времена — эпоху нэпа, советской России, сталинских лагерей и пр. Начало подобного рода «дописываниям» было положено романом А.Е.Вашенко-Захарченко «Мёртвые души. Окончание поэмы Н.В.Гоголя. Похождения Чичикова» (1857). А едва ли не последним, очень ярким тому примером является роман В.Шарова «Возвращение в Египет. Роман в письмах» (2013), в основу которого лег замысел показать трагическую историю XX века как результат «недоговоренного, недосказанного откровения» гоголевской поэмы.

Глава 5. Мистификации и стилизации на тему «Мёртвых душ»

Первая реконструкция А.М.Бухарева и первые мистификации Лах-Ширмы и Вашенко-Захарченко

Неоконченность произведения, а также циркулировавшие после смерти Гоголя слухи о том, что второй том поэмы все же сохранился, естественно породили попытки дописать «Мёртвые души». Среди них были и прямые мистификации, и гипотетические версии окончания поэмы. Были и стилизации.

Автором первой «реконструкции» второго тома, выполненной еще при жизни Гоголя, стал уже не единожды упомянутый в этой книге архимандрит Феодор (А.М.Бухарев), в письмах к Гоголю 1848 года предложивший свою версию продолжения. Ее узловыми моментами были: раскрытие в губернском городе «дела о мертвых душах <...> с значением, пожалуй, не просто уголовного, но и государственного преступления», изблечение Чичикова и его последующее прозрение как отправная точка воскрешения к новой жизни:

...и Павла Ивановича найдут, куда бы он ни заехал в беспредельном русском царстве... <...>, и он понесет такое страдание, которое может пасть только на его пробужденную натуру. <...> И кто знает будущее? Кто может положить предел творческой вседержавной Любви, если она не напрасно соблюла и в душе Павла Ивановича некоторые возможности к ее оживлению, которые уже резко обозначались прежде?»⁶

В этом оживлении души Чичикова Бухарев отводил важную роль (в соответствии с тем, что Гоголем было «предначертано» в первом томе) «чудной русской девице», способной ответить на «небывалое страдание» «неслыханным, необыкновенным состраданием»⁷, но также и «житейской положительности» Чичикова, его «главной духовной пружине»:

...надо, чтобы душе его открылась возможность высшего, разумного, высоко-христианского и в житейском хозяйстве, чтобы <...> увидел он у себя и честные к такому хозяйству средства, и помощницу, какой он и не воображал в своих прежних мечтах о детской...»⁸

Преображение Чичикова должно было повлечь за собой череду чудесных «оживлений» и прочих героев первого тома:

...подвигнется он взять на себя вину гибнущего Плюшкина, и сумеет исторгнуть из его души живые звуки, скажет сраженной скорбию Коробочке доброе и жизнелюбное слово, как, в самых хлопотах бережливого ее хозяйства, вести для себя и своих крестьян еще иное лучшее хозяйство, и поникшего Собакевича поднимет к доступному его душе русскому православному здравомыслию, которому не помеха — и внешняя грубость, и русский желудок, и присмирившему Ноздрёву укажет достойное поприще его удали, и Маниловой укажет средства укрепить в духе самой и мужа укрепить, и обоим им укажет сторону во всяком предмете, достойную дельного сочувствия, и все городское общество подвигнет к лучшему. <...> и Селифан, всегдашний зритель всех этих событий, проснется от усыпления со своей прекрасной натурой <...>. А глядя на него освежает и Петрушка»⁹.

Письма А.М.Бухарева и соответственно его версия возможного продолжения «Мёртвых душ» стали известны читателю лишь в 1860–1861 годах¹⁰. За это время появились «додумывания» поэмы иного рода, среди которых мы находим и прямые мистификации. В определенной степени так можно охарактеризовать перевод первого тома «Мёртвых душ» на английский язык, анонимно опубликованный в Лондоне в 1854 году в двух томах под заглавием «Home Life in Russia. By a Russian Noble. Revised by the Editor of "Revelations of Siberia"»¹¹. О том, что текстом, который лег в основу

Ващенко-Захарченко слегка подправил и телеологию чичиковских путешествий. «Предлогом поездки» нового Чичикова «по географическому пространству» России стало теперь не только посещение «родственников генерала Бетрищева», но и потребность «увидеть треволнения света, взглянуть на отечественные фабрики и мануфактуры»¹⁹. Понятно, что герой занимался попутно продажей скупленных мертвых душ, «приобретением теплого уголка»²⁰ и поиском удачной партии.

Поворот в сюжете наметился лишь ближе к концу книги, когда Чичиков, продав часть мертвых душ и получив «небольшой капиталец», женился на дочери городничего Машеньке. Однако дальнейшее счастливое «приращенье» семейства: появление «двенадцати штук канальчонков»²¹, похожих на Чичикова, в именах которых он начал путаться, а также превращение Машеньки в толстую Марию Платоновну, в «Бог знает что», — все менее радовало Чичикова. К концу жизни он и вовсе осознал, что истинной его жизнью была лишь та, когда он общался с Бетрищевым, Маниловым, Плюшкиным, Собакевичем, Ноздрёвым, Настасией Петровной, «моей дорогой Коробочкой»²². А истинными его детьми, о которых он вспоминал и в предсмертном бреде, были те самые мертвые души, чей покой он «потревожил <...> в сырых могилах»²³.

При весьма низком художественном уровне книга Ващенко-Захарченко стала ранним примером того истолкования гоголевской поэмы, которое получит широкое распространение уже в XX века: плутовство главного героя предстало в ней как наиболее яркая сторона этого образа. В то же время сентиментальная мечта о семейной жизни в окружении жены и детей, которая в сознании Чичикова это плутовство отчасти оправдывала (вспомним реконструкцию поэмы А.М.Бухаревым), дискредитировалась, обнажая свою банальную и вместе с тем трагическую сторону.

Единственным прижизненным откликом на книгу Ващенко-Захарченко стала резкая рецензия на нее Н.Г.Чернышевского, где критик, в частности, высказал сомнение в том, что автор поставил на книге свое подлинное имя.

Что это за подделка, являющаяся так нагло? Что это за г. Ващенко-Захарченко, так дерзко заимствующий для своего изделия заглавие книги и имя Гоголя, чтобы доставить сбыт своему никуда не годному товару. <...> Если имя «Ващенко-Захарченко» не настоящая фамилия автора подделки, от которой мы предостерегли читателя, <...> а псевдоним, мы очень рады тому: автор подделки или раскаивается уже, или скоро будет раскаиваться в своей наглости, — если «Ващенко-Захарченко» псевдоним, автор, быть может, успеет укрыться от посрамления, переселиться куда-нибудь в такой уголок, где не знают подлинной фамилии, скрывшейся под псевдонимом; если же «Ващенко-Захарченко» — не псевдоним, а подлинное имя человека, сделавшего эту недостойную дерзость, мы искренно сожалеем о его судьбе: он своею безрассудной наглостью навек испортил свою репутацию»²⁴.

«Карикатурными подделками» под гоголевских персонажей, разрушением завязанной Гоголем интриги назвал книгу Ващенко-Захарченко в первые годы XX века публицист и библиофил А.А.Измайлов, сделав при этом оговорку, касающуюся заложенной в книге, но так и не реализованной возможности:

Если бы в авторе было больше умения и дарования и его повествование стояло ближе к правде жизни, — роман был бы резким протестом против крепостного права»²⁵.

То, что не мог или не хотел себе позволить Гоголь в конце 1840-х годов, стало, по мысли Измайлова, делом вполне естественным накануне крестьянской реформы. И действительно, почти все герои Ващенко обличаются в преступном обращении с крестьянами. Но чтобы по-настоящему выразить протест, автору надо было бы изображать живых людей, а не «ходячие манекены»²⁶.

В другой своей статье, где тоже речь зашла о романе Ващенко-Захарченко, Измайлов высказал предположение, что в книге могли найти отражение «предания о том, как Гоголь хотел закончить свою поэму», сохранившиеся «спустя пять лет после его смерти и в тех местах, где у Гоголя было много земляков»²⁷. Никакого подтверждения этому тезису он не дал.

Новые отрывки и варианты второго тома: обман, в который поверили многие

В трёх первых попытках «дописать» «Мёртвые души» вольно или невольно была задана та парадигма продолжения поэмы, которая с некоторыми вариациями и в различных комбинациях воспроизводилась и в дальнейшем. Основными ее компонентами стали: *наказание* Чичикова за мошенничество с последующим его перемещением в Сибирь; *преображение* Чичикова (как и других героев поэмы) как следствие понесенного им(и) наказания; домысливание того, *чем могли бы стать Чичиков и другие герои поэмы* применительно к иным временам и иным обстоятельствам.

Особое место в истории стилизаций, мистификаций и подделок²⁸ на тему «Мёртвых душ» занял эпизод с «Новыми отрывками и вариантами» гоголевской поэмы, присланными бывшим директором училищ Могилевской губернии М.М.Богоявленским в редакцию журнала «Русская старина» и там опубликованными²⁹.

Публикацию «отрывков», которые на самом деле представляли собой видоизмененные первые три главы второго тома, сопровождало редакционное пояснение. Из него следовало, что материалы эти были получены М.М.Богоявленским от Н.Ф.Я—го (Ястржембского), которому, как утверждалось, их подарил Н.Я.Прокопович <...>

В предуведомлении перечислены были и отличия новонайденных отрывков от известного уже печатного текста: «совершенно новые эпизоды» в рассказе о службе Тентетникова, его столкновение с начальником отделения Леницыным, его арест, рассказ дяди Тентетникова, действительного статского советника, о графе Сидоре Андреевиче.

В отрывках была также подробно прописана речь, с которой Тентетников обращался к крестьянам по приезде в деревню, и рассуждения о нем мужиков и баб. В главе II появлялись «размышления Бетрищева о службе и о “подлецах”, которые ее продолжают; замечание его о Михайловском-Данилевском», сватовство Чичикова у генерала Бетрищева его дочери Улиньки за Тентетникова, описание обеда Чичикова у Бетрищева, возвращение Чичикова к Тентетникову; рассказ его о визите к Бетрищеву, о сватовстве, об истории генералов. В главе III присланная рукопись имела «ненапечатанные подробности о предобеденной закуске у Петуха» и о сне, который привиделся Чичикову³⁰. Завершался присланный в редакцию текст выражением уверенности в том, что хотя найденные отрывки и «незначительны по объему, но в них искрится неподражаемый, умерший с Гоголем юмор, поразительная меткость выражения и художественное воспроизведение лиц, местностей, всего, до чего только касалась кисть гениального мастера»³¹.

На публикацию в «Русской старине» первым откликнулся анонимный рецензент³². Перечислив отмеченные журналом расхождения новых текстов с уже известными, критик выделил «лучшие места» «Отрывков» («сватовство Чичикова и рассказ о нем Тентетникову»), в которых «виден прежний Гоголь, Гоголь первой части *Мёртвых Душ*: «Чичиков в деле сватовства, со своими блестящими импровизациями в пользу Тентетникова, которого он возводит в историографы генералов, — прелестен»³³. Другие же эпизоды, вошедшие в биографию Тентетникова (ссоры его с начальником, приезд в деревню и проч.), были охарактеризованы как очень «слабые» и «бледные»: «Придуманно может быть и не дурно, но ничего не вышло»³⁴.

Не усомнился в принадлежности отрывков перу Гоголя сотрудник журнала «Вестник Европы» В.П.Чижов³⁵. Назвав их «нежданным открытием», проливающим свет на внутреннюю жизнь и творчество Гоголя в последний период его жизни, он увидел в них «дальнейшую выработку последнего (второго) списка», редакцию более позднюю, чем уже опубликованные:

...это всего яснее видно из отрывка 3-й главы, где в известное описание приезда Чичикова к помещику Петуху введены новые эпизоды о закуске Петуха, о сне Чичикова, превосходно дорисовывающие этот мастерской этюд³⁶.

Расхождения между «отрывками» и печатной редакцией свидетельствовали, по мнению Чиждова, об отходе позднего Гоголя от тенденциозности:

Ясно должно было стать, что для успеха его поэмы необходимо было выбросить из нее тенденциозную подкладку <...>. Вновь найденные отрывки первых глав 2-го тома замечательны тем, что обнаруживают перед нами работу <...> в этом направлении. <...> Всюду обнаруживается стремление к простоте и естественности, даже в обрисовке характера Уленьки устранены лишние восклицания и напускные восторги...³⁷

А главное — напечатанные отрывки будто бы демонстрировали изменение гоголевского умонастроения под влиянием известного письма В.Г.Белинского, «личное раздражение» Гоголя против которого к тому времени уже «улеглось»³⁸:

Счастливый случай не ранее как через двадцать лет по смерти великого писателя дал нам возможность заглянуть в его душу и прозреть луч света среди окутавших его сумерек³⁹.

С мнением Чиждова позднее солидаризировался и А.Н.Пыпин, говоря о том, что

последние работы Гоголя над вторым томом уже отступали от направления «Переписки» в другую, лучшую сторону; ему объяснились хоть некоторые стороны нового образа мыслей, к которому он, вместе с петербургскими друзьями, относился прежде с таким высокомерием и враждой⁴⁰.

В «Новых отрывках и вариантах» Пыпин усмотрел «третью редакцию» второго тома, «быть может, ту самую, о которой Гоголь в 1850 говорил М.А.Максимовичу, что “с нее туман сошел”...» (см. с. 00 наст. изд.): в рассказе являются новые эпизоды, а из прежних исчезают те подробности, которые Гоголь «рассчитывал для своих тенденциозных целей»: нет удивительной школы, где преподавалась «наука жизни», Тентетников «уже не предаётся мечтаниям о патриархальном значении и высоком смысле помещичьей власти, и в нем скорее можно видеть человека с новыми понятиями»⁴¹.

Дальнейшие события развивались следующим образом. Спустя несколько месяцев после появления хвалебной статьи В.П.Чиждова и почти год спустя после публикации обсуждаемых текстов в «Русской старине» редакцией этого журнала было получено письмо от самого Н.Ф.Ястржембского, датированное 31 октября 1872 года. В нем он высказывал удивление фактом напечатания «Отрывков» без его ведома, выразив при этом сомнение в их подлинности. В ответ на просьбу редакции журнала «разъяснить основания такого предположения» он представил несколько месяцев спустя, в письме от 13 февраля 1873 года из Могилёва, совершенно иную версию событий, чем та, которая была изложена М.М.Богоявленским:

Отвечаю откровенно: варианты эти написаны мною тринадцать лет тому назад; никогда не предназначались к печати и написаны по особому случаю. <...> В 1859 г., проживая в Могилёве, я был коротко знаком с М.М.Богоявленским. В дружеских беседах мы с ним часто спорили о наших литературных знаменитостях. В одной из подобных бесед зашла речь о Гоголе. Оба мы, и М.М. <Богоявленский>, и я, принадлежим к числу страстных поклонников Гоголя; но М.М. восторгался им безусловно, а я, признавая Гоголя великим писателем за первые его литературные произведения, и в особенности за 1-ю часть «Мёртвых Душ», негодовал за его «Переписку с друзьями» и за 2-ю часть «Мёртвых душ». Помнится, что раз, в оживленном споре, я сказал, что нахожу 2-ю часть «Мёртвых душ» крайне неудачным продолжением первой. Я прибавил, что у меня есть переделка трех первых глав 2-й части, гораздо удачнее произведения Гоголя, и что М.М. не узнает, Гоголь ли это писал или кто другой. М.М. пожелал видеть эту переделку, и я обещал ему отыскать ее в хламе старых бумаг.

У меня была рукопись 2-й части «Мёртвых душ» в том виде, в каком впоследствии она напечатана; и я, недовольный этой 2-ю частью, переделал три первые главы ее и сообщил М.М. Он прочел и объявил, «что это не подделка под Гоголя, а сам Гоголь». Я уверял его в противном; он стоял на своем и сказал, что я грешу тем, что, имея у себя такую драгоценность, не предаю ее печати. Я отвечал, что, дорожа именем Гоголя, я не осмелюсь никогда выдать за гоголевское то, что принадлежит чьему-то досужему перу. «Так подарите мне эту рукопись: я ее напечатаю». — «Подарить не могу, а списать копию можете, но с условием: никогда не печатать».

Текст этого письма, опубликованный в журнале «Русская старина», стал известен широкой общественности лишь в августе 1873 года⁴².

А между тем 22 февраля 1873 года редакция «Русской старины» получила еще одно письмо от Н.Ф.Ястржембского, к которому он приложил «рукопись 2-й части «Мёртвых душ»»⁴³. Она представляла собой сделанный им список с якобы переданной ему Н.Я.Прокоповичем «для списания» второй части поэмы, в который были внесены его собственные дополнения. Присланный текст совпадал с тем, что был напечатан в 1872 году в «Русской старине», однако следов вставок или переделок, кроме исправления немногих опечаток, он не содержал и в том же году был Ястржембскому возвращен⁴⁴.

В июне 1873 года, еще до появления редакционной статьи в августовском номере «Русской старины», Семевские, выступив на этот раз под собственными именами, обнародовали в «Санкт-Петербургских ведомостях» все сведения, полученные ими от участников событий, но каких-либо однозначных выводов об авторстве «Отрывков» не сделали⁴⁵.

Ястржембский откликнулся на эту публикацию, а также на статьи Чижова и Пыпина еще одним письмом (от 2 июля 1873 года); в нем он вновь признал «Отрывки» мистификацией. В качестве дополнительного довода был выдвинут следующий:

...если бы статья моя была списком с чьей-либо рукописи, неужели в течение 13-ти лет не нашелся бы другой список этой рукописи?»⁴⁶

В защиту своей версии автор привел еще несколько подробностей о генезисе сцен, добавленных им во вторую часть, которую он хотел сделать «достойным продолжением первой»:

Я вставил известный в свое время всему Петербургу анекдот о графе Сидоре Андреевиче, случившийся в 1854 году, т<о> е<сть> после кончины Гоголя. Я заставил генерала Бетрищева сказать о <А. И.> Михайловском-Данилевском то, что вместе со многими слышал в Витебске за обедом в 1856 году от одного генерала, участвовавшего в Отечественной войне <...>, я описал завтрак у Петра Петровича Петуха со сцены, которой, вместе с другими, был свидетелем здесь, в Могилёве, у одного барина-сибарита, любившего плотно поесть и угостить и хваставшегося тем, что он не знает, что такое скука; я дополнил недосказанное у Гоголя примирение Тентетникова с Бетрищевым и сватовство Чичикова. Одним словом, я, а не кто другой, написал варианты, напечатанные в «Русской старине»⁴⁷.

При этом причину того, что он не печатал имевшиеся у него материалы вплоть до 1872 года, Н.Ф.Ястржембский объяснял тем, что анекдот о графе Сидоре Андреевиче «мог быть принят <...> за характеристику весьма некогда известного <...> вельможи, но за несколько лет до своей смерти оставшегося «не у дел»»⁴⁸.

Летом 1873 года, после сообщения о подделке гоголевского текста, на журналистов «Вестника Европы», считавших «Отрывки» подлинными, «обрушились ирония и удары газетных фельетонистов» и обвинения в тенденциозности⁴⁹. Ястржембский, со своей стороны, тиражировал в это время в прессе письма, в которых решительно признавал собственное авторство и давал объяснения (нередко противоречивые) мотивов и обстоятельств подделки. В частности, изменения, внесенные им в текст поэмы, он объяснял следующим образом:

Я исключил из 2-й части «Мёртвых душ» похвальный гимн образцовому наставнику Тентетникова, унижавшему и оскорблявшему своих питомцев, с гнусной целью приучить их терпеливо и позорно переносить все унижения и оскорбления, какие могут им встретиться в жизни. У меня нет недоучившегося студента с зловерным либеральным направлением, которого Гоголь вывел на сцену, делая намек на Белинского, озлобившего его против себя известным зальцбруннским письмом. Я заставил Тентетникова остановить крестьян, пришедших к нему с рабскими поклонами, и произнести речь (конечно, для них непонятную) о человеческом достоинстве, о том, что он — такой же человек, как и они; что человек обязан уважать себя и не унижаться перед равным себе существом⁵⁰.

В развернувшейся дискуссии принял участие Г.П.Данилевский. Он утверждал, что «Отрывки» написаны самим Гоголем, поскольку в них «лакуны» сохранившихся списков второго тома заполнены эпизодами, известными ему по рассказам лиц, присутствовавших при авторских чтениях поэмы: это и «анекдот о милостивых побранках графа Сидора Андреевича», и «разговор Чичикова с Бетрищевым» о военном историке А.И.Михайловском-Данилевском⁵¹.

Эта же особенность «подделки» обсуждалась в августовском номере «Вестника Европы»: обнаружив сходство одной из «вставок» (рассказа о примирении Тентетникова и Бетрищева) с соответствующим фрагментом воспоминаний Л.И.Арнольди, автор статьи, скрывшийся под псевдонимом Д., посчитал вероятным, что Ястржембский мог присвоить себе гоголевский текст⁵². Кроме того, критик указал на большое количество неточностей в «признании» Ястржембского, мешающих принять его версию⁵³.

Сам Ястржембский стал объяснять подобные совпадения тем, что в рукописи, которую он исправлял и дополнял, имелось «несколько пробелов», и на некоторых «была набросана как бы программа недосказанного»; из нее в написанные им варианты могли попасть отдельные слова⁵⁴.

Одна из версий, объясняющих появление «Отрывков», была высказана в августе 1873 года князем Д.А.Оболенским, который, как мы помним, слушал главы второго тома поэмы в чтении Гоголя и позже принимал участие в хлопотах по изданию собрания сочинений 1855 года. Сам Оболенский был уверен, что варианты «Мёртвых душ», опубликованные в «Русской старине», «писаны не Гоголем», и очень правдоподобно объяснил их происхождение:

Не касаясь здесь содержания этих вариантов и слога их, носящих явные признаки неудачной подделки под манеру Гоголя, — материально невозможно, чтобы в чьих-либо руках могла находиться рукопись II-й части «Мёртвых душ», не согласная с теми вариантами, которые изданы были в 1855 году Трушковским, а впоследствии г. Кулишом. <...> главы 2-й части «Мёртвых душ» ходили уже по рукам в списках, в значительном числе экземпляров, еще прежде появления их в печати. Бывший в руках г. Ястржембского экземпляр, очевидно, был тот самый первоначальный список, который издан в 1855 г. На нем, действительно, после 2-й главы написано было карандашом (в скобках): «Здесь пропущено примирение генерала Бетрищева с Тентетниковым; обед у генерала и беседа их о 12-м годе; помолвка Улиньки за Тентетникова...» <...> Г. Ястржембскому легко было воспользоваться этой темой, чтобы позабавиться подражанием Гоголю, — тем более, что подробности он мог узнать из статьи Л.И.Арнольди «Мое знакомство с Гоголем», напечатанной в 1862 году в «Русском вестнике». В этой статье весьма верно изложено содержание четырех первых глав 2-й части, и хотя статья эта появилась в свет только в 1862 году, но весьма многие лица, из рассказов Шевырёва, Аксаковых и А.О.Смирновой, знали содержание многих глав, совершенно для нас утраченных. Таким образом, и г. Ястржембский мог слышать от Прокоповича или от кого-либо другого те мотивы, которые он воспроизвел в своих вариантах⁵⁵.

Кроме рукописей, переданных после смерти Гоголя графом А.П.Толстым С.П.Шевырёву, ни у кого и никогда не могло быть строки из 2-го тома «Мёртвых душ», —

*продолжал мемуарист, — ибо невозможно допустить, чтобы сам Гоголь решился выпустить из своих рук сокровище, над которым постоянно дрожал, опасаясь, чтобы оно не сделалось известным прежде окончательной отделки*⁵⁶.

Авторство Гоголя было оспорено также в двух заметках, помещенных в газете-журнале «Гражданин», редактировавшейся в то время Ф.М.Достоевским⁵⁷. В первой из заметок, озаглавленной «Из текущей жизни», иронически излагалась и комментировалась история с «новыми отрывками», давался стилистический анализ лжегоголевских вариантов, характер изменений гоголевского текста, пропусков, исключений, добавлений⁵⁸. Во второй статье «Неоценённое побуждение» подделка иронически расценивалась как забота об «испорченной репутации» Гоголя, написавшего «Переписку с друзьями», «а в довершение беды несколько неполных глав II тома «Мёртвых душ» в духе той же “Переписки”»⁵⁹. Ястржембскому, продолжал автор статьи, находившемуся под сильным влиянием известного письма Белинского к Гоголю, «пала <...> на душу великая скорбь об утраченной репутации Гоголя и, вслед затем, желание — чтоб II том очистился и не отзывался больше духом “Переписки”»⁶⁰.

Последний отклик об уже полузабытом к тому времени казусе, появился в газете «Биржевые ведомости» в 1909 году под названием «Поддельный Гоголь. (Забытый анекдот)»⁶¹. История эта длилась, таким образом, более тридцати лет.

Новая версия «Мёртвых душ»: постперестроечная эпоха

Интерес к переделкам и стилизациям на тему «Мёртвых душ» особенно оживился в русской литературе на рубеже XX и XXI веков. В романе «Господин Чичиков» (2005) Ярослава Верова (коллективный псевдоним донецких писателей Г.В.Гусакова и А.В.Христов), который был определен критикой как «образец литературной мистики», развивающейся в контексте «мегаполисной прозы», мертвые души и герой-приобретатель были представлены как характерные реалии современного делового мира. При этом гоголевский образ «Мёртвых душ» получил у Верова свое развитие: «бездушные» фантомы в его романе заняли «ключевые посты в бизнесе, политике, системе государственного управления»⁶².

Пожалуй, представление о «Мёртвых душах» как об откровении России в ее прошлом, настоящем и будущем и было тем, что делало и делает гоголевскую поэму смыслопорождающей для современной литературы. Когда-то И.Ильф и Евг.Петров в своей эпопее о «великом комбинаторе» («Двенадцать стульев», 1928; «Золотой телёнок», 1931) использовали гоголевский сюжет как историю «талантливого авантюриста, чье путешествие по России дает повод показать всю страну»⁶³. Так и Дмитрий Быков соотнес с гоголевской поэмой свой роман «ЖД» (2006) и не только дал ему, по образцу Гоголя, жанровое обозначение «поэма», но и предложил реминисцентно-полемическую расшифровку названия: «Живые Души» — это попытка осмыслить прошлое страны и дать свой прогноз на будущее⁶⁴.

Тема омертвевшей России, душу которой еще предстоит спасти, присутствовала и в интеллектуальном детективе Николая Спасского «Проклятие Гоголя» (2007)⁶⁵.

Размышление о втором томе поэмы «Мёртвые души» и непосредственно о последней из ее сохранившихся глав, в которой благочестивый Муразов наносит в тюрьме визит Чичикову, во многом определил проблематику более раннего романа французского писателя Доминика Фернандеса «Дети Гоголя» (1971)⁶⁶. Разговор между Чичиковым и Муразовым переходил в нем незаметно в противопоставление двух России: выбор между ними предстояло сделать героям Фернандеса. Главный герой Этьен, от имени которого ведется повествование и который сам писал работу о Гоголе, разрывался между двумя Россиями — Муразова и Белинского, с одной стороны, и Чичикова и Гоголя, с другой, между Россией «реализма Белинского» и Россией

«гоголевского мистицизма», которая, в конечном счете, оказалась ему ближе и понятнее⁶⁷.

Свой парадоксальный ответ на слухи и домыслы об обретении сожженного второго тома поэмы дал Михаил Елизаров в романе «Pasternak», представляющем собой в жанровом отношении интеллектуальный боевик. Единственная книга, которую не устает перечитывать в нем таинственный отец Григорий, осуждающий художественную литературу как «корежащую» ортодоксальное православие, — это второй том «Мёртвых душ». Но «только не известная всем уцелевшая часть», а «полный вариант, погибший в огне». На вопрос студента-филолога, вариант ли то уцелевшего гоголевского манускрипта или литературная подделка, «уникальная по своей значимости», священник уточняет: он «имеет в виду именно книжный пепел и великий подвиг писателя, отказавшегося от творчества, чтобы не грешить против истины»⁶⁸.

Так и Марк Харитонов усматривает в сожжении Гоголем своей рукописи высочайший акт отказа художника от претензий на преображение реальности, вписывая это деяние в традицию восточной метафизики.

Японский писатель Юкио Мисима, — пишет он в эссе «Заполнение чаши», — рассказал в своем известном романе историю о буддийском монахе, который сжег прекрасный Золотой храм — сжег не по-геростратовски, чтобы обессмертить собственное имя, а, наоборот, чтобы оставить нетленной в веках красоту храма. Ибо, по убеждению Мисимы, подлинная — то есть духовная — жизнь прекрасного начинается тогда, когда физическое тело умирает. Мисима подтвердил это убеждение, завершив собственную жизнь как произведение искусства — самоубийством по самурайскому обычаю. В этом, пожалуй, есть что-то декадентски-умышленное, во всяком случае что-то непривычное и неприемлемое для европейской ментальности. Но мне почему-то вспомнилась еще и история о сожжении Гоголем второй части своей поэмы «Мёртвые души». Есть основания думать, что она у писателя не получилась — теперь ни доказать, ни опровергнуть мы этого не можем. Зато каждый волен вообразить в своем уме нечто развивающее мотивы и сюжеты гоголевского творчества на предельно высоком, идеальном уровне — как будто самим актом сожжения неведомой нам рукописи Гоголь создал сюжет, превосходящий все, реально написанное им прежде...»⁶⁹

Тема сожжения второго тома нашла также отражение в фантастическом рассказе Кира Булычёва (И.В.Можейко) «Садовник в ссылке» (1972)⁷⁰ (мотив мести о. Матфею за смерть Гоголя) и романе Анны Зегерс «Встреча в пути»⁷¹ (1972), где в вымышленном диалоге между тремя писателями, Э.Т.А.Гофманом, Фр.Кафкой и Н.В.Гоголем, обсуждается возможность продолжения «Мёртвых душ»: немецкий и австрийский писатели убеждают Гоголя, что «для искусства даже и лучше», если он сожжет «прицепленный нравоучительный конец». То, что ныне выдается за незавершенный фрагмент, навсегда «останется великим завершением».

На рубеже 1990–2000-х годов вновь, в который раз, усилился интерес и к возможности прямого художественного достраивания-домысливания «Мёртвых душ» (скорее всего, подогретый грядущим гоголевским юбилеем). К этому времени относится еще одна — после Н.Ф.Ястржембского — попытка «восстановить» второй том «Мёртвых душ» и дописать том третий. Ее предпринял московско-тбилисский антрополог, биолог и художник Ю.А.Авакян. Используя фрагменты оригинального текста, Авакян дописал недостающие фрагменты глав II, IV и предположительно заключительной главы второго тома, а также заново сочинил шесть глав, содержание которых частично известно из пересказов современников и по реконструкции С.П.Шевырёва. Заново он написал также 11 глав третьего тома⁷².

В новых главах оказались подробно прописанными линии Вишнепокромова, Леницына, Самосвистова, мотив «умыкания невесты» Самосвистовым, которому всячески помогает Чичиков, сватовство самого Чичикова к Улиньке и предание им огласке былой неблагонамеренности Тентетникова (что и становится причиной его

ссылки в Сибирь). Доминирующей же в данной реконструкции стала тема человеческой подлости (реализация гоголевской формулы «припряжем подлеца») и одновременно экономической гениальности Чичикова.

Смерть в финале третьего тома наступает Чичикова в тот момент, когда он, казалось бы, добивается и денег, и славы. Обещанное когда-то Гоголем духовное преображение Чичикова у Авакяна возможно лишь в весьма двусмысленном — пригрезившемся в горячечном бреде — беге героя за уносящейся тройкой небесных коней. И читателю остается только гадать: апофеоз ли то Чичикова (смерть, описанная как *вознесение* на колеснице-тройке), или же горестное видение умирающего. И несомненным остается лишь рождение младенца, сына Чичикова, «в далеком и заснеженном Кусочкине под завывание ночного ветра и скрыпы всковых, выбеленных метелью елей».

От «Мёртвых душ» Гоголя к «Возвращению в Египет» В.Шарова

Художественным контрапунктом опыту реконструкции «Мёртвых душ» Ю.Авакяна стал созданный десятилетием позже «роман в письмах» Владимира Шарова «Возвращение в Египет» (2013), получивший Букеровскую премию 2014 года. В основу его был положен замысел показать трагическую историю XX века как результат «недоговоренного, недосказанного откровения» гоголевской поэмы.

*Гоголь замолчал на полуслове, оттого и пошли все беды. Говорят, что пока кто-то из нас не допишет поэмы, они не кончатся*⁷³.

Ее продолжение как единственно возможный акт искупления возлагается героями романа, принадлежащими к потомкам Гоголя по боковой линии, на Колю Гоголя Второго, праправнука Н.В.Гоголя (Гоголя Первого). Связь между незавершенностью «Мёртвых душ» и трагическим путем России сам Шаров определил следующим образом:

*Мне казалось, что вся история России после Николая Гоголя — это попытка дописать второй том его знаменитого романа. Ведь в незаконченных книгах есть страшная вещь — некоторое откровение. Кажется, если бы они все же были бы дописаны, то мы смогли бы понять, в чем смысл жизни. В своем романе я писал о том, как русская история и культура пыталась этот роман дописать. Почему роман называется «Возвращение в Египет»? Гоголь был писателем библейским. И мне стало казаться, что, идя из Египта, мы в какой-то момент повернулись и пошли обратно, вернувшись в итоге снова в Египет. Наша история 20 века в моем представлении — это и есть возвращение в Египет*⁷⁴.

В композиционном плане роман явил собой своего рода «выбранные места из переписки» Гоголя Второго с представителями собственного клана — переписки, воскрешающей судьбу нескольких поколений гоголевских потомков. Обсуждение вопроса незавершенности поэмы и необходимости ее завершения сопровождалось в романе по принципу *mise en abyme* созданием Гоголем Вторым синопсиса возможного продолжения «Мёртвых душ», в котором важную роль сыграл сибирский топос. У самого Гоголя сибирская утопия, как мы уже видели, лишь отдаленным образом проецировалась на учение бегунов. В романе Шарова она приобрела не просто зримые очертания, но стала, по сути, его центральной интригой.

В синопсисе продолжения поэмы Павел Иванович Чичиков представлен как происходящий «из семьи закоренелых староверов». Скупая так называемые «Мёртвые души», дабы прописать их на Святой земле, Чичиков действует уже не как плут (как это было у Гоголя), но спаситель, мечтающий о построении земного рая, он же — Новый Иерусалим. Потому и «чистосердечное признание» Чичикова на суде, а по сути дела — возводимая на себя клевета, объяснено примером деда-старовера:

Когда при императрице Елизавете Петровне в России на отступников усилились гонения и священникам было велено доносить, кто ходит к исповеди, а кто уклоняется, дед был еще ребенком, но, как и прочие еретики, стал наговаривать на себя такое, что ни

один священник не решился дать ему отпущение грехов и привести к причастию. На этот же путь встал и он, надворный советник Павел Иванович Чичиков, когда увидел, что, что бы он ни предпринимал, все его поступки истолковываются превратно. С детства он, Чичиков, отличаясь мечтательностью, много думал о возможности построения Рая здесь, на земле, и о том, где, в какой части России его следует основать⁷⁵.

Наговор этот в романе Шарова оказывается нужен Чичикову не только потому, что послениконовские священники уже «не те» и веры им никакой. Главное, что и земной рай представляется новому Чичикову не безмятежной, лишенной треволнений жизнью, но «тяжелой, трудной, часто и смертельно опасной работой», которая одна приближает «бесконечно радостное время» «начала возведения Небесного Иерусалима»⁷⁶. Именно это и заставляет Чичикова (притом что он сам «по характеру, устройству своей жизни» — «неприкаянный бегун»⁷⁷) все внимательнее присматриваться к ответвлениям раскола, в частности, к «странникам» («бегунам»):

Эта отрасль староверов убеждена, что иначе, не бегая от антихриста день за днем и год за годом, не признавая ни его денег, ни его документов и печатей — вообще того, чего нечистый так или иначе касался руками, невозможно остаться верным Богу⁷⁸.

Причина, по которой местом для построения чаемого новым Чичиковым земного рая и нового, Небесного Иерусалима становится Сибирь, получает в тексте романа Шарова как историческое, так и нравственное разъяснение:

Между тем отношения Чичикова с влиятельными староверами из Петербурга и Москвы, с Рогожской, Волковской общинами, с поволжскими староверами от Ярославля до Саратова большие и больше слабеют. Древняя иерархия восстановлена, впервые после патриарха Иосифа освящено новое миро. В церквах и молельных домах поставленные в соответствии с канонами попы правильным образом совершают литургию, крестят и исповедуют, причащают, венчают, а когда срок земной жизни человека выйдет, отпевают его. То есть снова совершаются все таинства Господни. Но Чичиков видит, что власть антихриста этим не поколеблена — как он правил Россией, так и продолжает ею править. К богатым и влиятельным староверам он искусно подобрал ключик — полными пригоршнями сыплет им золото, и они думают об одном: как под завязку набить кошель. Теперь за паству, которую призван окормлять, Чичиков считает лишь староверов, которые, как и раньше, не сомневаются, что живут в царстве зла, и не хотят служить антихристу⁷⁹.

Именно бегуны (странники), проповедующие бегство от антихриста, от зримо воплощенного в мире зла — к Богу и Земле Обетованной, становятся в дальнейшем паствой старца и странника, новоиспеченного епископа древлеправославной церкви Павла⁸⁰. Паствой, которая в чистоте своей и неподкупности еще сохраняется по ту сторону Волги, заселяя «горнозаводской Урал от Екатеринбургa, Первоуральска, Нижнего Тагила до Воткинска»⁸¹ (и не случайно в синопсисе продолжения «Мёртвых душ» Павлу Ивановичу суждено принять иноческий постриг «в последнем, еще не закрытом монастыре на Иргизе — Верхне-Спасо-Преображенском»⁸², тоже в Сибири):

Чичиков каждый день с радостью убеждается, что в этом крае измена Всевышнему так и не сумела пустить корни. Здесь по-прежнему чуть не каждый готов убить и своего брата, и сына, коли он решится оставить Господа, вернуться в Египет. Хотя и меньше, но тоже много он ездит по казачьим областям Южного Урала, Терека, Кубани и Дона. Вместе все эти земли широкой полосой огибают центр России. Издревле здесь находили приют беглые, гонимые и преследуемые, селились ссыльные и бывшие каторжники⁸³.

Казалось бы, тема Сибири как места, с одной стороны, нравственной нетронутости и чистоты, но вместе с тем страданий и каторги в романе Шарова решается контрапунктно. Пространство, которое Чичикову представляется идеальным для построения земного рая, становится для потомков Гоголя местом изгнания и лагерей. Через Сибирь (красноярский ГУЛАГ) проходит и главный герой романа — Гоголь Второй, агроном по образованию, на него и возложена миссия дописывания гоголевской поэмы.

И все же принцип контрапункта здесь оказывается обманкой. Поразительным образом, не только Чичикову, но также и гоголевскому потомку — зэку Гоголю Второму в суровой реальности ГУЛАГа удастся обрести свою Землю Обетованную с ее неперменными локусами: девственно нетронутым лугом, довольством и внутренним успокоением <...>

На самом деле утопия Земли Обетованной, которую Чичиков обретает для себя в Сибири, а Гоголь Второй — в Казахстане, поддерживается в романе не только дантовской моделью мироздания, не только утопическим сознанием староверов-бегунов, но еще и учением русского философа Николая Фёдорова, в котором бегунам чудится нечто родное⁸⁴. А ведь именно Фёдоров учил, что человечество должно самостоятельно исполнить замысел Творца — объединиться и построить рай на Земле. И обязательно воскресить всех предков, вплоть до Адама, не дожидаясь Страшного суда.

В этом контексте, казалось бы, совершенно новое звучание обретает предприятие Чичикова. «Доверенное лицо зла, его законный эмиссар», он год за годом скупал у помещиков

*души почивших в Бозе. Делался владельцем душ, которые думали, что навечно покинули юдоль страданий, срок испытаний кончился, теперь Господь возьмет их под свое крыло. И вдруг, как чертик из табакерки, появляется Чичиков и объясняет, что нет, чаша сия не испита*⁸⁵.

И, воскрешая, возвращает — почти по-фёдоровски — души в мир.

Однако именно федоровская референция (а о Фёдорове герои книги рассуждают немало) оказывается в романе Шарова в итоге тем, что взрывает изнутри, казалось бы, столь искусно выстроенный путь конечного преображения гоголевских героев и потомков, на какое-то время уверовавших в возможность построения ими земного рая. Именно об этом и говорит Коле Гоголю Второму один из его жизнью умудренных «дядей» (дядя Юрий):

*Фёдоровское «Общее дело» не просто еще один комментарий к Священному Писанию. Оно пролог к отказу от Бога, от как такового Завета с Ним. <...> Фёдоров — пророк мира, который устал от Бога, от Его своеволия и непостоянства, главное, от Его зрешных надежд на человека, который по самой своей природе не есть и никогда не станет безгрешным ангелом Нового мира*⁸⁶.

В еще более жесткой форме мысль о египетско-коммунистических формах, в которые непременно облечется Новый Град (он же — рай, он же — Земля Обетованная) выражает «дядя Святослав»:

*Ясно: то, что предлагал Фёдоров, — кратчайший путь в Египет. Мир слишком приятен для глаз, отвлекая человека, он мешает ему спастись. Надо все честно и справедливо выровнять, затем оросить, возделат, засеять. Это и будет новым Исходом. Мы уйдем в разумный, упорядоченный мир, о котором столетия мечтали и египтяне, когда-то увлеченные проповедью Моисея, общим движением. Не предатели, не изменники и ренегаты — сама Святая Земля вернется в Египет*⁸⁷.

О чем же тогда роман Шарова? И вся описанная в нем история? О том ли, что Земля Обетованная, рай, какими бы уже возможными и даже обретенными они ни казались, все равно оборачиваются в итоге не утопической Сибирью, но историческим Египтом (оттого и название романа), выверенным, как швейцарские часы, а потому одновременно и коммунистическим.

«Жизнь ведь не подарок, а наказание, она ад, погибель, другое дело смерть — в ней покой, тишина», — говорит в финале романа герою мать⁸⁸. И здесь уже читатель не может не задаться вопросом: возможно, и прав был Гоголь, не дописавший Чистилище и Рай, а написавший лишь Ад, который и есть сама жизнь? В то время, как Рай, где тишина и покой — не что иное, как смерть.

*Вместо заключения.
Литературная биография Павла Ивановича Чичикова
и жизненный текст Николая Васильевича Гоголя*

Павел Иванович Чичиков, признаюсь, для
меня презагадочный <человек>.

«Мёртвые души». Часть 2

К.С.Станиславский, готовя свою знаменитую постановку «Мёртвых душ» на сцене Московского Художественного театра (преьера состоялась в 1932 году), обратил внимание на несценичность образа Чичикова. «Самой неблагоприятной ролью во всех переделках», говорил он, является роль Чичикова, формирующая «монотонный ритм», избежать которого можно «только через сквозное действие»⁸⁹. Решив построить сюжетную линию спектакля на последовательном развитии замысла Чичикова и повернув ее «в сторону чичиковской авантюры»⁹⁰, режиссер призвал актеров «порыться в своих душах» и найти в себе зло, которое выплескивается при встрече персонажей с Чичиковым, сделав таким способом акцент не на Чичикове, а на других персонажах поэмы⁹¹.

Примечательно, что и задолго до Станиславского инсценировщики поэмы обращали внимание на «несценичность» Чичикова, каким он был выведен у Гоголя. Последнее они пытались компенсировать собственно драматургическими приемами. Так, уже самая первая инсценировка «Мёртвых душ», сыгранная в Александринском театре в бенефис режиссера театра Н.И.Куликова, состояла из двух сцен — в первой гоголевские персонажи еще только говорили о Чичикове, сам же он появлялся лишь во второй сцене, ближе к концу спектакля⁹².

Первые читатели поэмы, а вместе с ними и литературные критики также увидели в Чичикове не столько характер, сколько проявитель тех характеров, которым суждено было появиться на страницах «Мёртвых душ». Не имея собственной речевой характеристики (это особенно видно в первом томе), с Маниловым Чичиков говорит в стилистике Манилова, с Коробочкой — в ее стилистике, и т. д., выказывая высшую степень подстраиваемости под собеседника, которую можно было бы в ином случае назвать также и протезизмом. С.Т.Аксаков вспоминал, например, как на первую часть поэмы прореагировал М.П.Погодин:

...он, между прочим, утверждал, что в первом томе содержание поэмы не двигается вперед; что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода»⁹³.

Уже в наши времена изучение нарративного принципа «Мёртвых душ» заставило Дональда Фангера (Fanger, Donald) вспомнить о знаменитом определении, которое дал жанру романа Стендаль: «зеркало, с которым прогуливаются вдоль дороги» («un miroir qu'on promène le long d'un chemin»). В «Мёртвых душах» таким зеркалом, утверждал он, является Чичиков, которого Гоголь прогуливает по большой дороге⁹⁴.

В определенной степени можно сказать, что подобная трактовка немало отвечала и замыслу самого Гоголя. Во всяком случае, в «Авторской исповеди» мы читаем:

Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры...»⁹⁵

Создается весьма любопытная ситуация. В «Мёртвых душах», этом позднем изводе плутовского романа⁹⁶, главный герой (Чичиков) наследует от своих предшественников функцию (он тот, кто связует воедино различные главы поэмы и различных персонажей), но при этом сам оказывается лишенным той яркой харбктерности,

которая обычно отличает пикаро. Он — герой, лишенный формы, а возможно, даже и содержания, «ни то ни сё», «не так чтобы слишком толстый, однако ж и не тонкий»⁹⁷.

В ряде современных трактовок, по большей части зарубежных, делается попытка придать подобной инертности и бесформенности Чичикова некий метафизический смысл. Под диктатом хайдеггеровского безличного *там* живет гоголевский Чичиков, пленник повседневности, утверждает представитель философско-антропологической критики Хорст-Юрген Герик⁹⁸. Другой немецкий исследователь, сравнивая «Мёртвые души» с романом Г. Флобера «Бувар и Пекюше», видит точки пересечения обоих произведений в том, что герои (Чичиков, Бувар, Пекюше) предстают как само воплощение «чудовищного самодовольства посредственности»⁹⁹. Перечень этот можно было бы продолжить.

Но... и тут как раз начинается самое интересное. Стоит внимательно вчитаться в текст поэмы, как становится очевидно, что тот, кого мы легко можем принять за персонаж аморфный, лишенный собственной индивидуальности катализатор, выражение хайдеггеровского *там* и пр., являет собой на самом деле сложнейший литературный и жизненный конструкт. А конструирование образа, в которое включается (по принципу *mise en abyme*) также и конструирование биографии Чичикова, происходит на множественных уровнях.

Кто создает биографию Чичикова

1. Свою биографию (автобиографию) Чичиков конструирует в первую очередь сам, ориентируясь на различные литературные и социальные коды: светского человека (*honnête homme*, вариант: *comme il faut*), сентиментального героя, пострадавшего за правду добродетельного героя (ср. в разговоре Чичикова с Маниловым: «чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн... Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду...»¹⁰⁰).

В некоем пределе проскальзывающие в самохарактеристике Чичикова библейские коннотации связывают его облик, возможно, даже несколько кощунственно, с Христом¹⁰¹: «Погубит он мою душу. Зарежет, как волк агнца!»¹⁰² Еще один способ самоидентификации Чичикова — честный плут, чье плутовство никому не приносит вреда:

...зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? — все приобретают. Несчастливым я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякой брал бы; не воспользуюсь я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем?»¹⁰³

2. Биографию Чичикова конструируют также и другие персонажи поэмы, причем конструирование это происходит в разных модальностях: от рождения слуха, сознательного запуска механизма сплетни вплоть до порождения мифа¹⁰⁴. Так, Чичиков последовательно, как мы помним, оказывается то заезжим гусаром, собравшимся похитить губернаторскую дочку, то Антихристом, то Наполеоном (Бонапартом), то капитаном Копейкиным¹⁰⁵. Впрочем, при всей фантазийности тех, кто эти амплуа Чичикову создает, в событийном ряду поэмы они оказываются не столь уж и произвольными, ибо поддерживаются также и авторской характеристикой. Вспомним сцену первой встречи Чичикова с незнакомкой в главе пятой первой части «Мёртвых душ». «Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он...» — комментирует встречу автор, поясняя притом, что «Чичиков не гусар и не студент», а «благоразумный человек»¹⁰⁶. И все же слово произнесено (в риторике это называется *praeteritio*, род стиливого умолчания),

и амплуа гусара так и остается в подтексте характерологии Чичикова, а не только в сплетнях, отзываясь и в дальнейшем тексте поэмы (так Чичиков на балу в какой-то момент сам чувствует себя «чуть-чуть не гусаром»¹⁰⁷).

То, что «гусарство» есть не просто тень, но еще и имманентная составляющая образа, пронизательно почувствует и Н.Г.Чернышевский, сделав запись в своем дневнике:

*Дивился глубокому взгляду Гоголя на Чичикова, как он видит поэтическое или гусарское движение его души (встреча с губернаторской дочкой на дороге и бале и другие его размышления...)*¹⁰⁸

3. Еще одним «субъектом» конструирования биографии Чичикова весьма примечательным образом оказывается та *высшая сила*, о которой неоднократно говорится в поэме и которая совершенно неожиданно вмешивается в ход событий. Уже в ранних редакциях первой части «Мёртвых душ» в описании состояния Чичикова после сцены разоблачения присутствовало упоминание «неясной силы», действующей «впоперек» герою и определяющей его поведение:

*В мозгу как будто у него сидело что-то постороннее, как будто какой-нибудь злой дух проходил впоперек всему, к чему он ни задумывал обратить мысли...*¹⁰⁹

Порой эта высшая, неясная сила персонифицируется у Гоголя, видящего один из ее источников в человеческой страсти (страстях), отношение к которым у него отнюдь не однозначное.

И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме, —

читаем мы в одиннадцатой главе первой части поэмы¹¹⁰. Строки, в которых традиционно видится залог будущего продолжения «Мёртвых душ», равно как и направленность этого продолжения, возможность воскрешения героя, его нравственного просветления. А также во многом приписанная Гоголю критикой и ныне ставшая «общим местом» герменевтики «Мёртвых душ» ориентация замысла поэмы на «Божественную комедию» Данте, о чем мы уже достаточно подробно говорили в предыдущих разделах книги.

К процитированным строкам о чичиковской страсти, его влекущей и которая — «не от него», могло бы служить комментарием также и определение, которое в главе «В чем же наконец существо русской поэзии...» Гоголь дал трансцендентальности поэзии В. А. Жуковского: «твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека»¹¹¹.

Мотив, который, собственно, и вплетается в концепцию судьбы центрального персонажа «Мёртвых душ». Но одновременно мы находим и другой авторский комментарий к иному, но сходному по своему пафосу пассажи поэмы: «Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти...»¹¹²

На странице экземпляра «Мёртвых душ» Гоголь позднее сделает карандашную заметку:

Это я писал в «прелести», это вздор — прирожденные страсти — зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей — теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мёртвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инок. Здравая психология и не кривое, а прямое понимание души встречаем лишь у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитро сплетенной немецкой

диалектике молодые люди, — не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души¹¹³.

Но здесь мы переходим к еще одному уровню конструирования житейской и литературной биографии Чичикова.

4. Возможно, в силу мнимой аморфности персонажа, его не резко заданной характерности конструкт Чичикова дополнительно создается (уже за рамками самого текста поэмы — но безусловно спровоцированный автором) читательским ожиданием тех, кто в течение уже полутора веков интерпретирует Чичикова в собственной системе координат, формируя тем самым предельно широкую и крайне внутренне противоречивую герменевтику образа.

Противоречивость эта не в последнюю очередь затрагивает тему высшей силы и страстей. Каково происхождение страстей и той таинственной силы, что определяет поступки и сам абрис героя? Гоголевский текст, как мы уже видели, дает самые широкие возможности для герменевтики. И если для одних критиков, как, например, В.Зеньковского, первая, вторая, а возможно, еще и третья части поэмы были объединены у Гоголя темой преодоления «всяких страстей», «в частности, оболыщения богатством (как основной болезни людей), с помощью того вдохновения, какое создается через приобщение к красоте, к праведному хозяйству»¹¹⁴, то, например, А.К.Воронский усматривает в теме человеческих страстей неизбывность и одновременно тот нравственный тупик, в который попадает и сам Гоголь, и его герой:

Но если есть страсти, избрание которых не от человека, а от Провидения, то опять выходит, что дело не в самом человеке <...>. Это был фатализм, это был новый тупик¹¹⁵.

Не менее противоречивы и, во всяком случае, предельно разнообразны те ролевые маски, которые Чичикову *post factum* приписала критика. Если некоторые из них находят опору в самом гоголевском тексте, то иные явно выходят за его пределы.

Так, вопрос о Чичикове — плуте, авантюристе или ловком предпринимателе был поднят еще в гоголевские времена. «...Чичиков как *приобретатель* не меньше, если еще не больше Печорина — герой нашего времени», — писал в 1845 году В.Г.Белинский¹¹⁶. В защиту «приобретательства» высказался и автор одного из писем «по поводу «Мёртвых душ»», написанных как отклик на предисловие ко второму изданию поэмы:

Почему же это безнравственно — быть приобретателем? Неужели одно инстинктивное чувство «приобретать», на котором основаны и живут цивилизованные общества, — в состоянии до такой степени обезобразить всего человека? <...> Возьмите, в свете есть целая страна, которая более ничего не делает, как приобретает и приобретает: это — Американские Штаты. Конечно, приобретатель легко может сделаться, в одну минуту! — но зачем же обвинять принцип, а не человека?¹¹⁷

Значительное «укрупнение» фигуры Чичикова как предпринимателя, который «мыслит и действует даже с опережением», въедение в нем (и позитивное, и негативное) будущего нынешней промышленной цивилизации происходит в 1870–1880-е годы. Если в интерпретации Н.Я.Данилевского Чичиков предстает еще как «герой практической жизни», «Улисс своего рода», все же отразивший в себе всю «бедность содержания русской жизни»¹¹⁸, то уже Д.С.Мережковский в 1903–1906 годах почти в трагической тональности заговорит о «росте» Чичикова и опасных масштабах этой фигуры в современном мире:

Странствующий рыцарь денег, Чичиков кажется иногда в такой же мере, как Дон-Кихот, подлинным, не только комическим, но и трагическим героем, «богатырем» своего времени. <...> По мере того как мы умалеемся, теряем все свои «концы» и «начала», все «вольнодумные химеры», наша благоразумная середина, наша буржуазная «положительность» — Чичиков — кажется все более и более великой, бесконечной¹¹⁹.

Вспомним в этой связи и толкование Андреем Белым Чичикова как «хозяина-приобретателя», родоначальника «многих тузов» «нашей недавней промышленности»: «дед, ограбивши на дороге, замаливал грех пудовыми свечами; сын

его закидывал Азию дешевыми ситцами; внук, выродок, — попадал в министры Временного правительства». Чичиков — «будущий Шукин: закидает Персию ситцами, отслюнявив на Психологический институт двести тысяч»¹²⁰ (см. также с. 00 наст. изд.).

Наряду с антитезой «плут — приобретатель» как двумя антитетичными ипостасями образа критикой проигрываются и иные антитетичные маски: Чичиков как воплощение Сатаны — и Чичиков как символ победы над Сатаной. Для Мережковского, например, не Сатана «обольстил» Чичикова, в чем последний пытается уверить Муразова, а он сам — «Сатана, который всех обольщает»¹²¹.

Напротив, Ю.Н.Говоруха-Отрок (Ю.Николаев), полемизируя со статьей В.В.Розанова «“Легенда о Великом инквизиторе” Ф.М.Достоевского», именно в Чичикове, в сцене его покаяния во втором томе, увидит редкий случай, когда «душа человеческая», которую Гоголь чаще показывает «мертвую, поборотою плотью, забывшею себя», неожиданно приводится «в движение»¹²².

И еще одна ролевая парадигма Чичикова, под пером критиков постоянно менявшая свою смысловую насыщенность во времени: герой асексуальный, каким он, в общем-то, и предстает у Гоголя, легко оказывается наделенным всеми качествами мужа и отца семейства. Возможными регистрами трактовки данной темы оказываются то признание высокого человеческого призвания Чичикова, что смыкается с темой его нравственного воскрешения во второй и третьей частях поэмы¹²³, то пародия на штампы сентиментализма и идеалы сентиментальной эпохи, осуществление которых может оказаться для героя роковым. Подобная модель проигрывается, как мы видели, и в написанном А.Е.Ващенко-Захарченко в 1857 году продолжении поэмы. Или, как у Мережковского, «утверждение бесконечного продолжения человеческого рода, бесконечного прогресса» как «вечное оправдание всех нелепостей буржуазного строя, вечное возражение против религии, которая говорит: “враги человеку домашние его”»; вот “прочное основание”, о которое разбиваются все крылатые “химеры”, все христианские пророчества о конце мира»¹²⁴.

А возможно, еще и очередной трюк ловкого авантюриста, готового ополшить всё, что ни есть святого в жизни¹²⁵.

Излюбленные роли Чичикова

Каждую из перечисленных здесь ролевых, языковых и поведенческих масок Чичикова, создаваемых то им самим, то иными персонажами поэмы, то таинственной внешней силой, а то и читателями-критиками, можно было бы рассматривать отдельно. Мы же позволим себе остановиться на тех ролевых масках Чичикова, которые он вполне сознательно «продуцирует» сам и где выстраивает свое «сообщение» как театральную роль, при анализе которой можно говорить о сочетании интеллектуальной, эмоциональной и телесной стратегий. Речь, таким образом, пойдет о проигрываемой Чичиковым роли светского человека, «благородного человека» (то, что во французской культуре именовалось *honnête homme*), а также о нескольких смежных ей ролях.

Уже первые критики обратили внимание на некую несообразность знаменитой чичиковской брички целям приехавшего в губернский город Чичикова. Эта деталь стала для современников одним из поводов упрекать Гоголя в отступлении от бытовой достоверности:

*Странно: как никто в городе, где гостил Чичиков, не заметил, что он разбегжал по гостям в бричке; а таким образом, в спесивом мнении губернской и уездной знати отнюдь не мог заслужить ни малейшего внимания, как бедняк, не имеющий ни дорожной коляски, ни порядочно одетого слуги, ни черного фрака*¹²⁶.

Но думается, что вовсе не случайно у Гоголя до поры до времени светское общество принимает Чичикова за своего: он мог приехать в какой угодно бричке, однако выказываемые им манеры сразу же маркировали его как человека «своего круга». Иными словами, тот самый протезизм Чичикова, о котором уже шла речь выше, умение Чичикова подстраиваться под собеседника, сделавшее в глазах многих его фигуру столь нехарактерной, можно рассматривать как навык светского общения, светского обхождения, кодекс которого был сформирован во Франции эпохи Старого режима, распространившись затем по всей Европе и сыграв немаловажную роль в России.

Позволим себе здесь напомнить, что понималось в дореволюционной Франции под понятием *honnête homme* («благородный», вариант: «порядочный», «честный» человек). Порядочный человек находил свое удовольствие в социальной жизни. В ней он практиковал искусство нравиться, которое, как уже было сказано, предполагало умение приспособиться ко всему, принося в жертву даже и свою индивидуальность. Вспомним в этой связи, что именно в эти терминах Чичиков и описан Гоголем:

*Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему*¹²⁷.

Сравним с описанием проживания Чичикова у Тентетникова:

*В поступках же своих поступал еще более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил. Не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его. С удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал. <...> Словом, он не мешал хозяину никак*¹²⁸.

Считалось, что «порядочный» человек должен обладать качествами одновременно хорошего психолога и философа, дабы уметь управлять собой и управлять другими. Позже эти свойства назовут мимикрией, лицемерием, инструментализацией, но в свое время они входили в набор свойств именно порядочного человека. Вспомним в этой связи то впечатление, которое в самом начале поэмы Чичиков производит на губернское общество, умело завоевывая тем самым его доверие:

*О чём бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему небызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о билиартной игре — и в билиартной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках — и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком. — Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор, что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты, что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер, что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера, что он любезнейший и обходительнейший человек*¹²⁹.

Подчинение правилам приличия (все имеет свое время и свое место) — одно из важнейших требований кодекса светского человека. Обратим внимание, что слово «приличие» есть также одно из наиболее часто употребляемых и самим Чичиковым и Гоголем в его описании своего героя. Попав на «губернаторскую вечеринку», «приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет...»¹³⁰.

Заподозрил что-то неладное Манилов, взглянул на Чичикова, но «глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегают в глазах сумасшедшего человека, все было прилично и в порядке»¹³¹ Даже «средние лета» Чичикова оказываются «приличными»¹³².

Характерно, что то же приличие Чичиков сохраняет и во второй части поэмы:

Господин, необыкновенно приличной наружности, соскочил на крыльцо <...>. Читатель, может быть, уже догадался, что гость был не друго<й> кто, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел, как видно не без бурь и тревог было для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нем немножко поустарел. И бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились. Казалось, как бы и самые финансы не были в завидном состоянии. Но выражение лица, приличие, обхождение остались те же. Даже как бы еще приятнее стал он в поступках и оборотах, еще ловче подвертывал под ножку ножку, когда садился в кресла...¹³³

Еще одна примета «порядочного человека», проливающая дополнительный свет на Чичикова: нравственные качества требуются ему лишь в той мере, в какой они способствуют светскому общению. Так и Чичиков в поэме свою не слишком честную игру ведет самыми что ни есть внешне приличными средствами, вполне отвечая латинской поговорке «Intus ut libet, foris ut moris est» («Внутри как угодно, внешне в соответствии с моралью»), вошедшей в моду во Франции Старого режима¹³⁴.

Наконец, можно вспомнить, что «лучшим козырем благородного человека» считались легкость, непринужденность, грациозность. Не отсюда ли — спросим себя — происходят антраша отнюдь не спортивного Чичикова, описание которых неоднократно появляется в тексте поэмы. <...>

Читая поэму, нельзя не заметить и ту роль, которая отводится в ней одежде Чичикова, его заботам о гигиене, неторопливости и тщательности, которые он проявляет в самом процессе одевания, а также его «нетрадиционным нарядам» (чего стоят одни фраки, то *брусничного цвета с искрой*, то *наваринского дыма с пламенем*¹³⁵). Вспомним, например, разительное описание подготовки Чичикова к балу <...>

Время проходит, многое меняется в жизни Чичикова, но внимание к одежде остается во втором томе прежним:

<...>Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и соp atore. Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде: щечки интереснее, подбородок заманчивей, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам. Новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный [жилет] давал [тон] манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо! Поворотился налево — еще лучше! Перегиб такой, как у камергера...¹³⁶

Пожалуй, эта страсть и внимание к одежде Чичикова уже не от «благородного человека» (*honnête homme*) — его кодекс не предполагал столь очевидной яркости и заметности. Скорее другое: в страсти этой просвечивают приметы иного культурного героя, даже более близкого Чичикову по времени, — а именно *денди*, роль которого была весьма велика в 1830–1840-х годах не только в Европе, но и в России и поведенческий сценарий которого Чичиков в своей манере одеваться отчасти проигрывает¹³⁷.

Отступление от правил

Выше уже обращалось внимание на то, что, как Гоголь ни подчеркивает лабильность и приспособляемость Чичикова, его умение себя вести и легкость в поведении, порой (причем задолго до разоблачения) также и Чичиков оказывается уязвим и что-то обязательно падает на пол при исполнении им антраша. Эта заметная для читателя уязвимость дала повод некоторым современным критикам говорить о том, что Гоголь попросту травестировал требования, предъявляемые к человеку света, и что «Мёртвые души» сыграли

плохую шутку с дворянской идеологией, которая десятилетиями доминировала в среде русской культурной элиты. Они представили зрелище ее кончины и вместе с тем показали, что все это время она была, как и гоголевский прокурор, мертва¹³⁸.

Думается, однако, что у Гоголя все обстояло несколько сложнее, и можно было бы говорить не столько о пародировании или травестии светского кодекса, сколько об «игре» и автора, и героя в различных регистрах. Впрочем, «игра» здесь слово не самое подходящее, поскольку в определенные моменты Чичиков, а вместе с ним и Гоголь из игры как раз-то и выходят. Выход этот совершается на самых разных уровнях начиная с этикетного (так, Чичиков, прекрасно знающий правила обхождения, позволяет себе высмаркиваться, «как труба»¹³⁹, или, в порыве радости, чуть не производит «даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости»¹⁴⁰). <...>

Светские манеры и ролевая игра оставляли Чичикова в сцене с губернаторской дочкой, но также и в еще одной ситуации, уже во втором томе поэмы. Речь пойдет о сцене разоблачения Чичикова князем, сопровождаемой потоком слез Чичикова:

...я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства. Но что за бедственные стечения обстоятельств. Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование. На всяком шагу соблазны и искушение... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была точно вихорь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я человек, ваше сиятельство». Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю так, как был: во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете, атласном галстуке, чудесно сшитых штанах и головной прическе, изливавшей ток сладкого дыханья первейшего одеколона¹⁴¹.

«Я человек» — не только фраза, которая восстанавливает в нашем сознании контекст другого произведения Гоголя, а именно «Шинели». «Я человек» — это еще и вырвавшиеся у *honnête homme* (или *comme il faut?*) слова, которые, казалось бы, сводят на нет все маски и те роли, которые Чичиков присваивал себе доселе.

Но... — и тут возникает еще одно «но». Нам (читателям) кажется, что перед нами пикареска, перерастающая свой жанр и переходящая в роман воспитания. Что, казалось бы, соответствует и замыслу Гоголя привести героя к внутреннему очищению. Но, как мы узнаем дальше, прозрение Чичикова, во всяком случае в сохранившихся главах второй части, не становится финальной точкой. Стоило обстоятельствам поменяться, как Чичиков вновь вернулся к своей роли (ролям) плута и добропорядочного злодея, отвечая тем самым более характерологии героя плутовского романа, чем романа воспитания.

Что же получается? Желая превратить традиционную сатиру на грехи (а сатирический взгляд Гоголя, конечно же, ориентируется на традиционный каталог грехов) в путь, приводящий к конечному обращению к добродетели и соответственно к Богу, Гоголь вольно или невольно показывает, что в реальности история Чичикова реализуется совершенно иным образом. Жизненный путь героя получает свое развитие под воздействием иных — гораздо более мощных стимулов. А именно под воздействием той таинственной силы, которая в конечном счете и оказывается ограниченностью сил самого человека и его природной греховностью.

Последнее не позволяет изменить мир к лучшему, делает невозможным нравственное поучение читателя в поэме, оставляя в конечном счете Чичикова в его изначально заданном качестве *homo ludens* — человека играющего. Собственно, именно эту невозможность изменения мира к лучшему почувствовал, как мы помним, в 20-е годы XX века историк Сигизмунд Валк (Волк), сделав лейтмотивом своей инсценировки «Мёртвых душ» принципиальную неистребимость Чичикова: «Чичиков жил и будет жить».

Оборотная сторона Чичикова или оборотная сторона Гоголя?

В описываемой здесь истории есть еще одна сторона. В парадигму Чичикова, конструирующего собственную биографию, а также его зрителей и читателей, эту биографию расшифровывающих, включается и автор (Гоголь), обладавший, как известно, особой страстью к автобиографическим мифам и конструктам.

О том, что своему герою Гоголь придал собственные черты и что литературная биография Чичикова может рассматриваться как проекция жизненного текста Н. В. Гоголя, писалось уже немало. Повод к этому, как и ко многому другому, дал и сам Гоголь, объяснив, что «уже от многих своих недостатков избавился тем, что передал их своим героям, их осмеял в них и заставил других также над ними посмеяться...»¹⁴²

Белинский в «умилении духом» Чичикова («Смотря долго на имена их, он умилился духом и <...> произнес»¹⁴³) увидел «собственные благороднейшие и чистейшие слезы», которые поэт отдал своему герою «и заставил его высказать то, что должен был выговорить от своего лица»¹⁴⁴.

Желание Гоголя спасти «во что бы то ни стало» Чичикова во втором и, может, даже в третьем томах, Д.С.Мережковский объяснял тем, что

чичиковского было в Гоголе, может быть, еще больше, чем хлестаковского: тут правда и сила смеха вдруг изменили Гоголю — он пожалел себя в Чичикове: что-то было в «земном реализме» Чичикова, чего Гоголь не одолел в себе самом. <...> «Назначение ваше, Павел Иванович, быть великим человеком», — говорит он ему устами нового христианина Муразова. Спасти Чичикова Гоголю нужно было во что бы то ни стало: ему казалось, что он спасает себя в нем. Но он его не спас, а только себя погубил вместе с ним»¹⁴⁵.

Причину же того, что сам Гоголь не осмелился сказать своему герою то, что Иван Карамазов не побоялся сказать черту («Ты — я, сам я, только с другой рожей»), Мережковский пояснил:

Но Гоголь этого не сказал, не увидел или только не хотел, не посмел увидеть в Чичикове своего черта, может быть, именно потому, что Чичиков еще меньше «отделился от него самого и получил самостоятельности», чем Хлестаков. Тут правда и сила смеха вдруг изменили Гоголю — он пожалел себя в Чичикове: что-то было в «земном реализме» Чичикова, чего Гоголь не одолел в себе самом»¹⁴⁶.

Примечательно, что об этой автобиографической проекции Чичикова на Гоголя говорили критики самых разных направлений. Вслед за символистом Мережковским, хотя в более осторожных тонах, это же сформулировал сторонник социологического метода В.Ф.Переверзев, назвав Чичикова «самым синтетическим характером», обнаруживающим в своей духовной организации сходство с Гоголем.

Чичикову Гоголь отдает во втором томе не только свою любовь к голландским рубашкам и хорошему мылу, но и это тревожное ощущение вдохновения посреди простора беспредельной Руси, —

писал И. Золотусский¹⁴⁷. Сравним также предположение Ильи Кутика, основателя неоконформистского движения метареализма в 1980-е годы, о том, что Чичиков является для Гоголя своего рода экзорцизмом его собственной гордости: «Гоголь создает наихудший ноль, чтобы показать, что можно быть хуже, чем он»¹⁴⁸.

В большинстве этих суждений обращает, однако, на себя внимание то, что мы условно могли бы назвать эффектом «курицы и яйца». В самом деле, трудно установить, стороннее ли знание о личности Гоголя тех, кто выносит вердикт о «близничестве» Гоголя и Чичикова, определяет подобное видение вопроса, или же сама фигура Чичикова оказывается той призмой, сквозь которую корректируется наше видение Гоголя.

Характерно, что и в воспоминаниях о Гоголе людей, близко его знавших, также порой просвечивают некоторые чичиковские черты. В этом смысле крайне

примечательны воспоминания А.О.Смирновой, описывающей, в частности, манеру Гоголя одеваться в стилистике гоголевских описаний Чичикова:

Я большой франт на галстуки и жилеты. У меня три галстука: один парадный, другой повседневный, а третий дорожный, потеплее... Из расспросов оказалось, что у него было только необходимое для того, чтобы быть чистым¹⁴⁹;

По воскресеньям и праздникам он являлся обыкновенно к обеду в бланжевых нанковых панталонах и голубом, небесного цвета, коротком жилете. Он находил, что это «производит впечатление торжественности...»¹⁵⁰.

И та же Смирнова отмечала вкрадчивую (добавим: чичиковскую) манеру общения Гоголя, прислушивающегося и подстраивающегося под собеседника:

Он вообще не был говорлив и более любил слушать мою болтовню, вообще он был охотник заглянуть в чужую душу¹⁵¹.

При этом человек, знавший Гоголя гораздо меньше и не попавший, так сказать, в сферу ни его личного, ни творческого обаяния (я имею в виду А.Н.Карамзина), описывает манеру поведения автора «Мёртвых душ» так, что от «чичиковского» начала в нем уже ничего не остается:

*Вечером был я *сomme de raison*¹⁵² на 12 Евангелиев, но и тут бес попутал, сведя меня с Гоголем, он мне все время шептал про двух попов в городе Нижнем, кот<орые> в большие праздники служат вместе и стараются друг друга перекричать так, что к концу обеда прихожане гложут, и как один из этих попов так похож на козла, что у него даже борода козлом воняет...¹⁵³*

Так что, наверное, можно сказать, что вопрос о том, может ли литературная биография Чичикова рассматриваться как проекция жизненного текста Н.В.Гоголя, остается, в сущности, открытым. Но параллельно с ним возникает другой вопрос: не релевантнее ли говорить также и об обратном явлении — невольной интерпретации жизненного текста Гоголя как проекции литературного житнетворчества Чичикова?

А это заставляет нас с тем большим вниманием вдумываться в тот тайный и явный смысл, что скрывает в себе самое загадочное и самое эфемерное создание Гоголя, наполовину сожженное, наполовину недописанное и все же возродившееся из огня и уже более полутора столетий смутно волнующее наши души.

Список сокращений

Архивы

ИР НБУВ — Институт рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского (Киев, Украина).

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея (Москва).

ОР ИЛ НАНУ — Отдел рукописей Института литературы Национальной академии наук Украины (Киев, Украина).

ОР и РК СПб ГТБ — Отдел рукописей и редкой книги Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки.

ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

РГА ВМФ — Российский государственный архив Военно-Морского Флота (Санкт-Петербург).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург).

РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург).

Издания

ПСС-1 — Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: в 14 т. [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1937–1952.

Т. I: *Ганц Кюхельгартен; Вечера на хуторе близ Диканьки*. 1940.

Т. II: *Миргород*. 1937.

Т. III: *Повести*. 1938.

Т. IV: *Ревизор*. 1951.

Т. V: *Женитьба; Драматические отрывки и отдельные сцены*. 1949.

Т. VI: *Мёртвые души*. [Ч.] 1. 1951.

Т. VII: *Мёртвые души*. [Ч.] 2. 1951.

Т. VIII: *Статьи*. 1952.

Т. IX: *Наброски, конспекты, планы, записные книжки*. 1952.

Т. X: *Письма, 1820–1835*. 1940.

Т. XI: *Письма, 1836–1841*. 1952.

Т. XII: *Письма, 1842–1845*. 1952.

Т. XIII: *Письма, 1846–1847*. 1952.

Т. XIV: *Письма, 1848–1852*. 1952.

ПСС-2 — Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. — М.: Наука, 2003–.

Издание продолжается.

Т. 1: *Ганц Кюхельгартен; Вечера на хуторе близ Диканьки; Юношеские произведения*. 2003.

Т. 3: *Арабески; Произведения 1830–1834 [и др. тексты и материалы]*. 2009.

Т. 4: *Ревизор [и др. тексты и материалы]*. 2003.

Т. 7. Кн. 1–2: *Мёртвые души, т. 1 [и др. тексты и материалы]*. 2012.

Т. 8: *Мёртвые души, т. 2 [и др. тексты и материалы]*. 2020.

В поисках живой души — *Мани Ю.* В поисках живой души: «Мёртвые души».

Писатель — критика — читатель. 2-е изд., испр. и доп. — М., 1987.

История моего знакомства с Гоголем — *Аксаков С.Т.* История моего знакомства с Гоголем / изд. подгот. Е.П.Населенко и Е.А.Смирнова. — М., 1960.

Литературное наследство. Т. 58. — Литературное наследство. Т. 58: Пушкин; Лермонтов; Гоголь. — М., 1952.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Лотман Ю.М.* О «реализме» Гоголя // Лотман Ю.М. О русской литературе: ст. и исслед. (1958–1993): история рус. прозы, теория лит. / вступ. ст. И.А.Чернова. — СПб., 1997. С. 694.

² ПСС-1. Т. X. С. 123. Здесь и далее все письма Гоголя, если не оговорено иное, цитируются по изд.: ПСС-1.

³ Разительный пример ранней художественной мистификации Гоголя — финальные строки повести «Страшная месть», входящей во вторую часть цикла «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Слепой бандурист исполняет песню про *Хому и Ерёму и стекла Стокозы*. Имя Стокозы, игриво вписанное Гоголем в фольклорный контекст Хомы и Ерёмы, на протяжении полутора столетий вводило в заблуждение комментаторов и исследователей, пояснявших, что Стокоза есть персонаж украинского фольклора. А то, что Семён Стокоза был не кем иным, как гоголевским дядькой, при этом забывалось. Гоголь победил!

⁴ См., в частности, «старое» акад. изд.: ПСС-1. Т. VII.

⁵ См.: ПСС-2. Т. 8. М., 2020 (изд. продолжается).

⁶ *Бухарев А.М.* Три письма к Н.В.Гоголю, писанные в 1848 году. — СПб., 1861. С. 134.

⁷ Там же. С. 139.

⁸ Там же. С. 135.

⁹ Там же. С. 135–137.

¹⁰ Книга имеет двойную датировку: на обложке выставлена дата 1861, а на титульном листе — 1860.

¹¹ «Домашняя жизнь в России. Сочинение русского дворянина, исправленное издателем «Открытий Сибири»» (англ.).

¹² См.: The Athenaeum. 1854. N 1414 (Dec. 2). P. 1454–1455. О появлении книги сообщил А.И.Герцен в письме М.К.Рейхель от 2 (14) ноября 1854 года: «„Мёртвые души“ вышли по-английски под заглавием: “Home life in Russia” и продаются по гинее» (*Герцен А.И.* Собр. соч.: в 30 т. — М., 1954–1965. Т. 25. С. 210).

- ¹³ Home Life in Russia: by a Russian Noble / Revised by the Editor of «Revelations of Siberia»: in 2 vols. London, 1854. Vol. 1. P. I–II.
- ¹⁴ См.: *Cadot M.* La Russie dans la vie intellectuelle française, 1839–1856. Paris, 1967. P. 426.
- ¹⁵ См.: *Мёртвые души*, написанные не Гоголем, а неизвестным автором в Лондоне // Отечественные записки. 1855. Т. ХСVIII. Янв. Отд. VII: Смесь. С. 30–31; Английская переделка «Мёртвых душ» Гоголя // Современник. 1855. Т. XLIX. № 1. Отд. V: Иностраные известия. С. 95–96; *Набоков В.* Николай Гоголь // Набоков В. Лекции по русской литературе / пер. с англ. СПб., 2010. С. 80.
- ¹⁶ См.: *Долинин А.* История, одетая в роман. — М., 1988. С. 21, 53–54.
- ¹⁷ *Ващенко-Захарченко А.Е.* Мёртвые души: окончание поэмы Н.В.Гоголя: Похождения Чичикова. — Киев, 1857. С. 3–4.
- ¹⁸ См.: *Измайлов-Смоленский А.А. [Измайлов А.А.]*. Загадки и тайны Гоголя: (к столетию дня его рождения) // Нива. 1909. № 11. С. 210.
- ¹⁹ *Ващенко-Захарченко А.Е.* Мёртвые души: окончание поэмы Н.В.Гоголя: Похождения Чичикова. С. 8.
- ²⁰ Там же. С. 24.
- ²¹ Там же. С. 321.
- ²² Там же. С. 344.
- ²³ Там же. С. 347.
- ²⁴ *[Чернышевский Н.Г.]* «Мёртвые души». Окончание поэмы Н.В.Гоголя «Похождения Чичикова». Ващенко-Захарченко. — Киев, 1857: [рец.] // Современник 1857. Т. LXIV. № 8. Отд. IV: Библиография. С. 1, 6–7; то же: *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: в 15 т. и т. 16 (доп.). — М., 1939–1953. Т. IV. С. 665, 669–670.
- ²⁵ *Измайлов А.* Эпилоги к «Ревизору и «Мёртвым душам» Н.В.Гоголя // Ежемесячные сочинения. 1902. № 3. С. 326–327.
- ²⁶ Там же. С. 327.
- ²⁷ *Измайлов-Смоленский А.А. [Измайлов А.А.]*. Загадки и тайны Гоголя: (к столетию дня его рождения). С. 209.
- ²⁸ О различиях между терминами см.: *Виноградов В.* История одной литературной подделки // Русская литература. 1958. № 3. С. 102.
- ²⁹ См.: Похождения Чичикова, или Мёртвые души. Поэма Н.В.Гоголя: новые отрывки и варианты / сообщ. М.М.Богоявленский // Русская старина. 1872. Т. V. № 1. С. 85–117.
- ³⁰ Там же. С. 88–89.
- ³¹ Там же. С. 89.
- ³² См.: Новые отрывки из *Мёртвых душ* и воспоминания о Гоголе // Русский вестник. 1872. Т. 97. Янв. С. 410.
- ³³ Там же.
- ³⁴ Там же.
- ³⁵ См.: *Чижов В.П.* Последние годы Гоголя: лит. заметка: по поводу «Новых отрывков и вариантов ко 2-му тому Мёртвых Душ» // Вестник Европы. 1872. Т. IV. Кн. 7. С. 432–449
- ³⁶ Там же. С. 432–433.
- ³⁷ Там же. С. 444–445, 447.
- ³⁸ Там же. С. 444.
- ³⁹ Там же. С. 449.
- ⁴⁰ *Пыпин А.Н.* Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов // Вестник Европы. 1873. Т. II. Кн. 4. С. 547.
- ⁴¹ Там же. С. 546–547; о реакции Пыпина см.: *Виноградов В.* История одной литературной подделки. С. 107–108.
- ⁴² *Ред. [Семевский М.И., Семевский В.И.]*. Подделка под Гоголя: (лит. курьез) // Русская старина. 1873. Т. VIII. № 8. С. 245.
- ⁴³ Там же. С. 246.
- ⁴⁴ См.: Там же. С. 247.
- ⁴⁵ См.: *Семевский В., Семевский М.* По поводу «литературного курьеза» // Санкт-Петербургские ведомости. 1873. 28 июня. № 175. С. 2.
- ⁴⁶ *Ястржембский Н.* Еще по поводу «литературного курьеза»: (письмо в ред. С<анкт>-П<етер>б<ургских> Ведомостей) // Там же. 7 июля. № 184. С. 2.
- ⁴⁷ Там же.
- ⁴⁸ *Ред. [Семевский М.И., Семевский В.И.]*. Подделка под Гоголя: (лит. курьез). С. 251.
- ⁴⁹ См. подробнее: *Виноградов В.* История одной литературной подделки. С. 108–109.
- ⁵⁰ *Ястржембский Н.* К вопросу о подделке «Мёртвых Душ» Гоголя // Голос. 1873. 24 авг. № 233. С. 4; см. также: Там же. 28 авг. № 237. С. 2; *Ястржембский Н.* Ответы «Вестнику

Европы» // Там же. 17 сент. № 257. С. 2; *Он же*. Изложение дела о варьянтах «Мёртвых душ», напечатанных в январской книжке «Русской старины» за 1872 год // Там же. 8 окт. № 278. С. 2; *Он же*. Литературные курьезы // Санкт-Петербургские ведомости. 1873. 20 июня. № 167. С. 1.

⁵¹ *Данилевский Г.* Письмо в редакцию: (по поводу новых отрывков из второго тома «Мертвых Душ» Гоголя) // Там же. 2 авг. № 210. С. 2.

⁵² См.: *Д.* Подделка Гоголя: заметка // Вестник Европы. 1873. № 8. С. 822–840.

⁵³ См.: Там же. С. 839; также: *Д.* Подделка Гоголя: заметка вторая (и последняя) // Там же. № 9. С. 449–456; о возможном авторе заметок см.: *Виноградов В.* История одной литературной подделки. С. 112.

⁵⁴ *Ястржембский Н.* Изложение дела о варьянтах «Мёртвых душ», напечатанных в январской книжке «Русской старины» за 1872 год.

⁵⁵ *Оболенский Д.А.* О первом издании посмертных сочинений Гоголя: воспоминания // Гоголь в воспоминаниях современников / ред. текста, предисл. и коммент. С.И.Машинского. — М., 1952. С. 544, 555. Напомним, впервые опубли.: Русская старина. 1873. Т. 8. Вып. 12. С. 940–953.

⁵⁶ Там же. С. 556.

⁵⁷ В.В.Виноградов предположил, что эти статьи написаны были при участии Достоевского; см.: *Виноградов В.* История одной литературной подделки. С. 102–129; опровержение данной версии см.: *Туниманов В.А.* Об анонимном фельетонном наследии Ф.М.Достоевского в годы редактирования «Гражданина» // Русская литература. 1981. № 2. С. 169–174.

⁵⁸ См.: *Гражданин.* 1873. № 34. С. 934–936.

⁵⁹ Там же. № 45. С. 1207–1210.

⁶⁰ Там же; подробный анализ статьи см.: *Виноградов В.* История одной литературной подделки. С. 118–125.

⁶¹ См.: *Смоленский [Измайлов А.А.]*. Поддельный Гоголь: (забытый анекдот) // Биржевые ведомости. Утр. вып. 1909. 20 марта (2 апр.). № 11017. С. 2; *Масанов Ю.* Литературные мистификации // Советская библиография. 1940. № 1. С. 135–137; *Виноградов В.В.* О языке художественной литературы. — М., 1959. С. 354–421.

⁶² *Володихин Д.* Ярослав Веров. Господин Чичиков: [рец.] // Знамя. 2006. № 11. С. 224 (см. подробнее: *Невярович Н.Ю.* Рецепция гоголевского гротеска в современной прозе (А.Королёв «Голова Гоголя», Я.Веров «Господин Чичиков», В.Пьещух «Демонстрация возможностей», Е.Попов «Душа Патриота, или Различные послания к Ферфичкину», Дм.Быков «ЖД») // Русистика: сб. науч. тр. Вып. 8. — Киев, 2008. С. 87–88).

⁶³ См.: *Лурье Я.С.* В краю непуганых идиотов: кн. об Ильфе и Петрове. СПб., 2005. С. 116; см. также: *Кузьмин А.И.* Гоголевские традиции И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и Золотой телёнок» // Классическое наследие и современность: [сб. ст.]. Л., 1981. С. 285–294.

⁶⁴ *Невярович Н.Ю.* Рецепция гоголевского гротеска в современной прозе... С. 90.

⁶⁵ Ср.: «Россия мертва. Ее уже не спасти и не воскресить. Нужно спасать ее душу. И свою тоже» (*Спасский Н.* Проклятие Гоголя. — М., 2007. С. 36).

⁶⁶ См.: *Fernandez D.* Les Enfants de Gogol: roman. Paris, 1971.

⁶⁷ Анализ романа см.: *Грев Кл., де.* Н.В. Гоголь во Франции (1838–2009). — М.; Новосибирск, 2014. С. 377–381.

⁶⁸ *Елизаров М.* Pasternak. — М., 2003. С. 180–181.

⁶⁹ *Харитонов М.* Способ существования: эссе. М., 1998. С. 142; см. также: *Рыбальченко Т.Л.* Личность и творчество Н. Гоголя в рецепции М.Харитонова // Н.В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепции). Томск, 2007. Вып. 1. С. 298–299. О втором томе «Мёртвых душ» как о «непроявленной книге», скрывающей именно в этом своем качестве тайное знание, писал В.Отрошенко в книге новелл «Тайная история творений. Гоголь и призрак точки», сюжет которых — загадка, что сопровождает рождение великих произведений мировой философии и литературы (см.: Новая юность. 1998. № 5. С. 112–119).

⁷⁰ См., например, в кн.: *Булычёв К.* Избранные произведения: в 2 т. Т. 2: Тиран на свободе. — М., 1992.

⁷¹ См.: *Зегерс А.* И снова встреча: повести и рассказы / пер. с нем.; [предисл. Т.Мотылёвой]. — М., 1980.

⁷² См.: Мёртвые души: поэма: том второй, написанный Николаем Васильевичем Гоголем, им же сожженный, вновь воссозданный Юрием Арамовичем Авакяном и включающий полный текст глав, счастливо избежавших пламени. — М., 1994.

⁷³ *Шаров В.* Возвращение в Египет: роман в письмах. — М., 2013. С. 76.

⁷⁴ Доступно на: <https://www.rg.ru/2014/12/05/buker-site.html>

⁷⁵ Шаров В. Возвращение в Египет... С. 212.

⁷⁶ Там же. С. 272.

⁷⁷ Там же. С. 282.

⁷⁸ Там же.

⁷⁹ Там же. С. 283.

⁸⁰ См.: Там же. С. 244.

⁸¹ Там же. С. 283.

⁸² Ср.: «Последним, обо что он, Чичиков, преткнулся, был Небесный Иерусалим. Трижды — два раза в Стародубье и один раз в Иргизе — в видениях ему являлись Райские чертоги. Господь водил его по Эдему, все показал и обо всем рассказал» (Там же. С. 311).

⁸³ Там же. С. 284.

⁸⁴ Ср. из письма Коли дяде Петру: «Бегуны считали землю за уток и часто жаловались на шероховатость почвы — имелись в виду горы и низины, — из-за которой ткань не получается гладкой. Понятно, что идею Николая Фёдорова выровнять как землю, так и людей, тем самым на корню уничтожив соблазны, искушения, они встретили с радостью. Всем хотелось верить, что спасение близко. Хотя дело кончилось расстрельными приговорами и лагерями, по словам кормчего, по сию пору, молясь Господу, странники среди прочих заступников поминают автора «Философии общего дела»» (Там же. С. 391–392).

⁸⁵ Там же. С. 239.

⁸⁶ Там же. С. 640–641.

⁸⁷ Там же. С. 642. Еще один родственник, дядя Пётр, словно подводит итог дискуссии, окончательно перечеркивая выстроенную в романе мифологему обретения Земли Обетованной: «Фёдоров, Вернадский и революция внушили народу, что ему достанет силы встать, пойти и дойти до Небесного Иерусалима. Для этого не нужно никаких чудес: ни бьющей из-под скалы воды, ни манны, ни перепелов, и Завета тоже не нужно. Чудеса есть слабость, есть несамостоятельность, зависимость от Господа — советского человека они могли бы только унижить» (Там же. С. 646).

⁸⁸ Там же. С. 760.

⁸⁹ См.: *Топорков В.О.* К.С.Станиславский на репетиции: воспоминания. — М., 1950. С. 64; см. также: *Станиславский К.С.* Режиссерская партитура III акта спектакля «Мёртвые души» // В поисках реалистической образности: проблемы совет. режиссуры 20–30-х гг.: [сб.]. — М., 1981. С. 312–317.

⁹⁰ Напомним, что подобное решение Станиславскому не мог простить В.Э.Мейерхольд (см.: *Мацкин А.* На темы Гоголя: театр. очерки. — М., 1984. С. 193. См. подробнее: ПСС–2. Т. 7. Кн. 2. С. 613–643 (разд. коммент. «Театральная интерпретация «Мёртвых душ»»).

⁹¹ *Топорков В.О.* К.С.Станиславский на репетиции... С. 67.

⁹² Спектакль назывался «Комические сцены из новой поэмы «Мёртвые души» сочинения Гоголя (автора «Ревизора»), составленные Г. ***». Описание постановки и отзывы на нее см.: Санкт-Петербургские ведомости. 1842. 9 сент. № 204. С. 892; Северная пчела. 1842. 9 сент. № 200. С. 800.

⁹³ История моего знакомства с Гоголем. С. 55–56.

⁹⁴ *Fanger D.* The Creation of Nicolay Gogol. Cambridge (Mass.), 1979. P. 169.

⁹⁵ ПСС–1. Т. VIII. С. 440.

⁹⁶ О плутовском романе как жанровом субстрате «Мёртвых душ» см., в частности: *Leblanc R.* Gogol's Response: «The Adventures of Chichikov, or Dead Souls» and the Picaresque Tradition // *Leblanc R.* The Russianization of Gil Blas: a Study in Literary Appropriation. Columbus (Ohio), 1986. P. 224–56; *Ulrich P. J.* Die Transformation des Schelmenromans: N. V. Gogol. Mertyve Duši // *Ulrich P. J.* Tendenz und Verfremdung: Studien zum Funktionswandel des russischen satirischen Romans im 19. und 20. Jahrhundert. Bern, 2000. S. 65–99.

⁹⁷ Формулу «ни то ни се» Гоголь вначале употребляет применительно к Манилову. Но примечательно, что позже она все же отзовется и в обрисовке Чичикова. Ср. описание поведения Чичикова в гостях у Тентетникова во второй части «Мёртвых душ» (нижний слой): «...или же просто барабанил по табакерке пальцами, насвистывая какое-нибудь ни то ни се» (ПСС–2. Т. 7. С. 29).

⁹⁸ См.: *Gerigk H. J.* Die toten Seelen // Der russische Roman / hrsg. B. Zelinsky. Dьsseldorf, 1979. S. 86–110.

⁹⁹ *Tschilschke Ch., von.* Epen des Trivialen: N. V. Gogol's «Die Toten Seelen» und G. Flauberts «Bouvard und Pécuchet»: ein struktureller und thematischer Vergleich. Heidelberg, 1996. S. 159–160.

¹⁰⁰ Выражение «потерпел на службе», «много потерпел за правду» есть вообще одно из ключевых у Чичикова. См. также в тексте первого и второго томов «Мёртвых душ»: ПСС–1. Т. VI. С. 35–37; Т. VII. С. 27, 150.

¹⁰¹ См. об этом: *Ковальчук О.Г.* Гоголь — «русский Христос»? (текст поэмы «Мертві души» як засіб самоідентифікації автора) // *Гоголезнавчі студії*. — Ніжин, 1999. Вип. 4. С. 74–85.

¹⁰² ПСС–1. Т. VII. С. 107, 249.

¹⁰³ Там же. Т. VI. С. 238.

¹⁰⁴ См.: *Кривонос В.Ш.* Городской фольклор в «Мёртвых душах» Гоголя // *Н.В.Гоголь: материалы и исслед.* Вып. 2. — М., 2009. С. 357–373; *Соливетти К.* Сплетня как геральдическая конструкция (Mise en abyme) в «Мёртвых душах» // *Nel mondo di Gogol' = В мире Гоголя*. — Roma, 2012. С. 196–216.

¹⁰⁵ См., в частности: *Гуминский В.* Чичиков и Наполеон // *Литература, культура и фольклор славянских народов: XIII Междунар. съезд славистов*. — М., 2002. С. 159–172.

¹⁰⁶ ПСС–1. Т. VI. С. 92.

¹⁰⁷ Там же. С. 169.

¹⁰⁸ *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: в 15 т. и т. 16 (доп.). — М., 1939–1953. Т. I. С. 68–69 (запись от 5 авг. 1848 г.).

¹⁰⁹ ПСС–2. Т. 7. Кн. 1. С. 616. У Бальзака, как остроумно заметила А.А.Елистратова, неудачи или поражения причастного к обману или преступлению «оказываются сознательно или планомерно подготовленными другими людьми, то ли по расчету, то ли ради забавы»; планы же Чичикова расстраиваются не в силу сознательного противодействия других лиц; «кажется, что сами русские просторы обращаются против него» (*Елистратова А.А.* Гоголь и проблемы западноевропейского романа. — М., 1972. С. 184).

¹¹⁰ ПСС–1. Т. VI. С. 242.

¹¹¹ Там же. Т. VIII. С. 377.

¹¹² Там же. Т. VI. С. 242.

¹¹³ *Матвеев П.Д.* Гоголь в Оптиной пустыни // *Русская старина*. 1913. Февр. С. 303.

¹¹⁴ *Зеньковский В.* Н.В.Гоголь // *Гиппиус В.* Гоголь; *Зеньковский В.* Н.В.Гоголь / предисл., сост. Л.Аллена. СПб., 1994. С. 202. Об истории Чичикова как доказательстве возможности «преображения страсти» см. также: *Гиппиус В.В.* Творческий путь Гоголя // *Гиппиус В.В.* От Пушкина до Блока / отв. ред. Г.М.Фридендер. — М.; Л., 1966; *Франк С.Л.* Страсти, пафос и бафос у Гоголя // *Логос*. 1999. Вып. 2. С. 80–88; *Паламарчук П.Г.* Ключ к Гоголю — СПб., 2009. С. 113.

¹¹⁵ *Воронский А.* Гоголь. — М., 2009. С. 178. Об онтологии зла и прирожденных человеческих страстей см. работу Ю. В. Манна «Укрощение гротеска. (Об одной тенденции позднего Гоголя)» в его кн.: *Творчество Гоголя: смысл и форма*. — СПб., 2007. С. 705–712.

¹¹⁶ [*Без подписи*]. Тарантас. Путевые впечатления. Сочинение графа В.А.Соллогуба. — СПб., 1845: [рец.] // *Отечественные записки*. 1845. Т. 40. № 6. Отд. V: Критика. С. 32; см. также: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: в 13 т. — М., 1953–1959. Т. IX. С. 79.

¹¹⁷ *Одесский вестник*. 1859. 13 янв. № 5. С. 19. Традиционно письма приписывались В.И.Белому; подробнее об авторстве см.: *Виноградская Н.Л.* Неизвестные письма В.И.Белого к Гоголю // *Н.В.Гоголь: материалы и исслед.* Вып. 2. С. 41–45.

¹¹⁸ *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа: взгляд на культур. и полит. отношения славян. мира к германо-романскому. — М., 2008. С. 603.

¹¹⁹ *Мережковский Д.С.* Гоголь и черт. — М., 1906. С. 38–39.

¹²⁰ *Белый Андрей.* Мастерство Гоголя: исслед. / предисл. Л. Каменева. — М.; Л., 1934. С. 94–95.

¹²¹ *Мережковский Д.С.* Гоголь и чёрт. С. 64.

¹²² *Говоруха-Отрок Ю.Н.* Нечто о Гоголе и Достоевском: по поводу ст. В.Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе» // *Московские ведомости*. 1891. 26 янв. № 26. С. 3–4. Цит. по: *Гоголь в русской критике* / сост. С.Г.Бочаров. — М., 2008. С. 169–170.

¹²³ Данная тенденция в особенности характерна для инсценировок «Мёртвых душ» последнего времени, в частности инсценировки С.Арцыбашева в театре В.Маяковского, где на первый план выходит образ Чичикова — отца семейства, а вовсе не предпринимателя. См. подробнее в газ. публ.: *Дмитриева Е.* Московская юбилейная гоголиана // *Империя драмы: Александринский театр*. 2009. № 26. С. 4.

¹²⁴ *Мережковский Д.С.* Гоголь и чёрт. С. 39.

¹²⁵ Ср. трактовку мотива продолжения чичиковского рода, предложенную В.В.Розановым. Назвав «Мёртвые души» произведением, в котором Гоголь «выразил <...> великую тайну своего творчества и, конечно, себя самого», тайну «гениального живописца внешних форм», за которыми «не скрывается <...> никакой души», проявление этой мертвенности Розанов увидел в заботе Чичикова о состоянии, которое он желал оставить будущим детям. Забота эта, по мысли критика, носила постыдный характер и дискредитировала саму жизнь: «Пусть изображаемое им общество было дурно и низко, пусть оно заслуживало осмеяния: но разве уже не из людей оно

Ольга Балла

К филологии счастья

Ольга Седакова. О русской словесности: От Александра Пушкина до Юза Алешковского / Вступ. статья Ирины Сурат. — М.: Время, 2023. — 604 с.

Тексты, составившие новую книгу Ольги Седаковой и объединённые темой русской словесности двух предшествующих столетий (по преимуществу; на самом деле тематический диапазон несколько шире — некоторые её герои: Юз Алешковский, Елена Шварц дожили до XXI века, и даже Виктор Кривулин прожил в нём целый год, а Пётр Чейгин и Иван Жданов здравствуют поныне), обязаны своим возникновением отдельным, разрозненным и вполне формальным случаям: необходимости прочитать публичную лекцию, произнести речь при открытии выставки... Но все эти точки составляют линию (по крайней мере, её возможно через них провести); каждая из них своим единственным образом сводит в узел характерные, волнующие автора темы, фокусирует их на себе, накладывает их друг на друга и приводит во взаимодействие.

Прежде всего: по мысли Седаковой, русская литературная классика в частности и русская литературная история вообще нуждаются по меньшей мере в более пристальном чтении, по большому же счёту — в перепродумывании, и даже радикальном. Что особенно редко, этого положения она почти не декларирует в общем виде, разве что обращает внимание на то, что своих классиков мы обыкновенно читаем неправильно («Критика определённого типа приучала нас так читать классику — в социальных обобщениях: тип лишнего человека, тип маленького человека и т.д. Но на самом деле, конечно, сами писатели так не думали»). Такую работу она осуществляет сама, во всяком случае — начинает её.

В связи с читаемыми и перечитываемыми классиками для Седаковой важна новизна (взгляда, мысли), сама возможность её; неизведанные области, неисхоженные пути. Среди недопрочитанных и недопродуманных оказываются даже такие многократно и многообразно исследованные классики, как Пушкин или Достоевский: при огромных и всё растущих объёмах сказанного и написанного о них для работы понимания, полагает поэт, здесь по сей день остаются большие пространства. Вся эта книга — о том, что «до сих пор ещё ждёт внимания и доверия к себе» (как сказано Седаковой о Пастернаке, о видении им человека и его отношений с бессмертием); сюда же относятся и недопрочитанные, недоценённые или вообще не прочитанные толком поэты, как, например, Владимир Лапин, — но генеральной линии они не образуют; в фокусе внимания здесь — как раз те, кто вниманием, казалось бы, избалован.

Читая книгу, впору подумать даже так: чем больше заговорен, заинтерпретирован автор, особенно имеющий статус классического, тем, совсем не парадоксальным образом, больше в нём незамеченного, недооткрытого, — интерпретаторы движутся в основном по сложившимся траекториям, Седакова же избирает собственные пути,

иногда совершенно неожиданные; намечает не просто возможности переосмысления того, что по инерции кажется давно понятным, но буквально новые направления исследований.

Вот, например, у Достоевского она обнаруживает «...слова или группы слов с переменчивым, непрояснённым концептуальным содержанием. И это ключевые слова! Так, в монологе Инквизитора слово *чудо* на ходу меняет значение; слово *любить* значит одно в первоначальном употреблении Ивана (о том, что *любить* ближних невозможно) — и другое в его поэме (обвинение Инквизитора Христу в том, что Он не любит людей) и т.п., и т.п. Кроме того, эти навязчивые словесные лейтмотивы обыкновенно вспыхивают пучками: *гармония — страдание; свобода — счастье; свобода — чудо; тайна — счастье...*». Из этих наблюдений делается очень интересный вывод: «Вероятно, такому опеванию слов можно подобрать свою музыкальную аналогию — и она будет не менее уместна для описания композиционной техники Достоевского, чем знаменитая полифония». И далее: «Мне представляется, что внимательное описание словесной ткани Достоевского — в иной перспективе, чем “своё” и “чужое” слово — ещё предстоит. И после такой работы мы сможем с большей основательностью говорить об общем смысле его построений и об отдельных его фрагментах...» И ещё: «Словарь Достоевского — и особенно словарь его вопрошающих героев — состоит из слов, *блуждающих вокруг своего понятия*, противящихся концептуальному схватыванию. <...> Не отличив слова Достоевского от устойчивого языкового узуса, мы будем интерпретировать совсем другой текст, созданный нашими языковыми и понятийными привычками. Мы будем толковать о других, чем у Достоевского, “свободе”, “вере”, “любви”».

Ища источников «новой мысли», один из них Седакова обнаруживает во Льве Толстом, утверждая, что в этом качестве он по сей день поразительно неоткрыт. Эту расхожую слепоту она усматривает даже у такого огромного и чуткого мыслителя, как Мераб Мамардашвили, считавшего, что Толстой, в отличие от Пруста, даёт не так уж много материала для философского чтения. «Это утверждение тем более странно, — замечает она, — что как раз в художественной мысли Марселя Пруста и Льва Толстого есть точки глубочайшего схождения, которые можно упустить из виду, только если видеть в Толстом исключительно “наивного реалиста большого стиля”». В своём усмотрении философского потенциала Толстого Седакова не первая, — это видел и проговорил в курсе лекций о толстовских дневниках, который, кстати, предваряло одно из вошедших в книгу эссе Седаковой, Владимир Бибахин, её многолетний собеседник и корреспондент (и, говоря о нём, автор анализирует тип чтения, родственной ей самой). Бибахин тоже заметил, что понимание Толстого в России «отстаёт хорошо если не навсегда». Седакова обращает на эту недопонятость Толстого систематическое (хотя бы системообразующее) внимание.

Вслед ли за Бибахиним, вместе ли с ним она прочитывает Толстого в большом европейском философском контексте, ставя его работу в соответствие с тем, что делали (не романисты его времени, но) Витгенштейн, Лейбниц, Кант, Дильтей, Гуссерль. (Бибахин говорил об этом соответствии в своём курсе; но это видение штучное, индивидуальное. Где видения таких связей точно нет, так это в общекультурном сознании. У Седаковой оно есть; ясны ей, кажется, и причины незнания в Толстом философа: свою философскую мысль он развивает «слишком непривычным для нас образом, в решительном отстранении от учёного философского дискурса». Но мы, замечает она далее, и европейских философских классиков не прочитали (не глазами узких специалистов, а именно в общекультурном, надо полагать, масштабе) так, как следовало бы: увидев и прочувствовав, что всё ими сказанное «имеет самое непосредственное отношение к ходу нашей жизни». (Очень возможно, что всех, о ком идёт речь в этой книге, сама Седакова читает именно таким образом; именно непосредственное отношение сделанного ими к ходу нашей жизни интересует

её прежде многого прочего; только, кажется, тут стоило бы говорить не столько о ходе жизни, сколько о её глубоких основах.)

Вместе с Библихиным она замечает в Толстом, например, то (минимально, похоже, продуманное в нашей культуре), что он «в самой практике своей внутренней жизни интимнейшим образом связан с духовной школой древнего православия» — и прочитывает его именно в этом контексте. Вообще, у неё есть собственная концепция Толстого, — очень нетривиальная (в антропологическом отношении тоже). Она называет его «художником и мыслителем *чувства*» и поясняет: «Читатели книги дона Джуссани “Религиозное чувство” могут понять, что я имею в виду. Не какое-то конкретное эмоциональное состояние, как это привычно в бытовом употреблении слова “чувства” (обычно, к тому же, во множественном числе). Таких “чувств” множество, а *чувство*, о котором я говорю, — одно. Это прямое, открытое, безусловное переживание реальности, захватывающее человека целиком. *Чувство* в таком смысле никак не противопоставлено уму и мысли (разве что отвлечённому рассудку). Мыслью в полном смысле Толстой признаёт только мысль, исходящую из *чувства*, то есть из всего человека, из его реального положения: всё остальное он называет “приёмными комнатами ума”. *Чувство* в этом смысле противопоставлено бесчувствию (*нечувствию*, хорошо известному аскетической традиции: так в молитве Иоанна Златоуста, входящей в ежедневное молитвенное правило православных, святой просит избавить его от “окамененного нечувствия”»).

Бунину она видит так, как не видел его, кажется, ещё никто («Художественный гений Бунина в том, что он вызывает минувшее, не досказывая его, — вызывает во всей его непряноснённости, в неподведённости итога, в недоумении, в ожидании. <...> В утверждении того, что бывшее было, я слышу пафос — не только художнический, но религиозный <...> Было — то есть принадлежало чудесной реальности <...> Бунин видит одновременно две реальности: бесповоротную конечность жизни (кладбищенская плита) и её мерцающее — здешнее — бессмертие. Две эти реальности так сильны именно потому, что одновременны. Речь идёт вовсе не о психологической памяти <...>: речь о настоящем, отдельном, существовании, *olux aeterna* — вечном свете из древнего реквиема...». Одна из наиболее принципиальных в сборнике — статья о Некрасове («Наследство Николая Некрасова в русской поэзии», написанная для французского многотомника по истории русской литературы), герой которой и его место в литературной истории вообще подвергается радикальному переосмыслению. В Некрасове Седакова видит «влиятельного и, можно сказать, сверхвлиятельного поэта», «в силовом поле» «обширного и необычайно многообразного влияния» которого «оказываются — каждый в своём роде — и поздний Тютчев, и крестьянские и революционные поэты, и Блок, и Маяковский, и Бродский». Именно Некрасов, утверждает она, «создал тот канон русского поэтического стиля, который всерьёз не пересматривался», а история русской поэзии в целом имеет все основания быть разделенной «на донекрасовскую и посленекрасовскую».

Более того, Седакова видит возможности нового понимания устройства русского романа в целом (слова «русский роман» она помещает в кавычки, обозначая тем самым, видимо, особенную разновидность жанра): «В глубине “русского романа”, — говорит она, — обыкновенно лежит нечто подобное притче <...> всё “реалистическое” повествование оказывается измерено мерой этой заданной темы — то есть понято тоже как своего рода притча: оторвано от собственной данности, напряжено к некоторому искомому смыслу. При этом повествование слишком обширно, свободно и подробно выписано, чтобы каждый его момент мог пониматься как прямо символический: между предельным смыслом, к которому тяготеет “русский роман”, и его художественной плотью существует огромная асимметрия».

В целом, Седакова вскрывает (недостребованный) философский потенциал русской литературы вообще и русской классики — основополагающих, по идее,

для культуры текстов — в частности. (Постепенно, таким образом, разговор выходит на некоторые коренные парадоксы нашей культуры, один из которых — *недопродуманность основополагающего*.)

Есть герои, особенно притягивающие внимание Седаковой, проговоренные и обдуманые подробно несколько раз, из разных точек биографии, из разных исторических эпох. Выработка их понимания происходит на протяжении всей жизни автора, она возвращается к ним постоянно. Таковы Ахматова, Пастернак, Хлебников — каждому из них в книге посвящено более одного текста. (Кстати о недопонятом: Седакова выявляет, в частности, внеположность Хлебникова ни много ни мало всей постренессансной художественной традиции с её основополагающими принципами.)

Ахматова и Хлебников могут показаться противоположностями (двумя полюсами седаковского мира?) — радикальный новатор Хлебников, сам разговор о котором начинается с того, что такое, собственно, будущее, как оно устроено («Это область смыслового скачка, которая из каждого времени видится как горизонт, линия схождения “реальности” с её “смыслом” — и как горизонт, будущее передвигается с движением времени»), и «консерватор» (на самом деле — хранитель) Ахматова, — но, по всей видимости, это не (совсем) так (хотя и версию двух полюсов, пожалуй, стоит продумать). Может быть, они с двух разных краёв делают (большую и неохватную) культурную работу — сходящуюся в одном центре; защищают две разные границы одного целого.

Сама Седакова, возможно, принадлежит к центральным областям культуры, понятой таким образом, — именно она, а не какие-нибудь тихие традиционалисты, терпеливо воспроизводящие привычное. Она — в том центре, откуда оба края (не правда ли, удивительно видеть Ахматову на краю? — а ведь она в некотором смысле действительно там: на твёрдой границе, за которой — новосоветское, а потом уже и позднесоветское варварство) видятся как части одного целого и именно при взгляде отсюда могут быть соотнесены друг с другом.

Точнее, соотношение их примерно таково: Ахматова отвечает за отношение культурного целого с (огромным, сложным, обесцениваемым в советское время) прошлым, Хлебников — за отношения с (постоянно отодвигающимся) будущим, с областью потенциального, зыбких возможностей, которые надо ещё выявлять и культивировать. (Ранний Пастернак ближе к хлебниковскому полюсу, поздний — к ахматовскому.)

Всё это очень напрашивается на систематическое, монографическое изложение. Но чего в книге точно нет, так это систематической выстроенности и даже как будто отчётливой идеи, в соответствии с которой тексты распределялись бы по разделам. Здесь не найти даже простого хронологического порядка: друг за другом идут тексты о Венедикте Ерофееве — притом больше как о человеке, чем как о писателе, хотя и об этом кое-что есть; о «Москве — Петушках» — подробно, остальное только упоминается; о Юзе Алешковском — а потом сразу о Некрасове...

Можно, впрочем, сказать, что от систематического выстраивания собранных в книгу текстов автор уклоняется вполне осознанно, позволяя им жить собственной жизнью. Система тут есть и без того — просто уже потому, что все тексты пронизывает общая совокупность интуиций, идея же, и очень даже отчётливая, ведёт себя деликатно, проговариваясь как бы по ходу дела.

В первом приближении всё это, вне всяких сомнений, литературоведение — по уверенно применяемому автором, профессиональным филологом, инструментарии, — и вместе с тем, по глубокому своему замыслу, не совсем литературоведение или вовсе не оно (хотя да: интенсивное взаимодействие с текстами и авторами, большинство которых имеет уже статус классических). Литературоведческий анализ здесь всего лишь средство — хотя неотменимое: позволяющее разглядеть важные автору предметы как можно более точно.

Как бы через призму (если не через фильтр) русской словесности последних двух с небольшим веков поэт смотрит, в конечном счёте, на вещи предельные: например, на удел человеческий, на смысл существования человека в мире, на суть счастья — имеющего, в свою очередь, прямое отношение к сути самого человека. (Так происходит, например, в эссе о «Золотом петушке» — последней, совсем не характерной для автора и, при ближайшем рассмотрении, страшной сказки Пушкина.)

Тот же Пушкин, и не он один, наводит внимание автора на устойчивую совокупность тем, связанных друг с другом, на некоторый тематический комплекс, давая возможность определённым образом его увидеть.

В этот комплекс входят по меньшей мере следующие компоненты: отношения поэта и власти (по существу, двух видов власти, из которых первая явно больше); «величие и свобода души» — это слова о Мандельштаме в эссе «Лучший университет», посвящённом ещё одному важнейшему компоненту названного комплекса — счастью; красота (вполне вероятно, список не исчерпывающий). Все эти компоненты безусловно связаны друг с другом не только внешним, но и внутренним образом: о каком бы из них ни заходила речь, для автора неизменно оказывается невозможным не упомянуть другие, — они растут друг из друга и обуславливают друг друга. Так, (воплощённая в искусстве) красота (которая не совсем гармония — или даже совсем не она; куда скорее она может быть родственна «странности», «тревожности») уже своим существованием выращивает в человеке — по мысли автора — глубину, силу, достоинство, свободу, человечность — и да, счастье: «...Настоящим возражением издевательскому принудительному счастью пропаганды, — говорит Седакова, имея в виду советские времена с их «жить стало лучше, жить стало веселее», — было бы <...> воспоминание о другом, глубоком и неподдельном счастье, отсветы которого мы видели в глухие советские годы. Оно открывалось нам прежде всего в искусстве — в том искусстве, которое было изгнано из советского рая: странном, тревожном, сложном, абсолютно непохожем на всё окружающее. Оно могло говорить не о радости, а об острой и глубокой скорби, как музыка Шостаковича, о стремлении к гибели, как поэзия Блока <...>, об ошеломлённости неведомым бытием, как стихи Мандельштама <...> Но его голос, узнаваемый нами как *другой* голос, говорил о величии и свободе души. Любовь к тому, что Мандельштам называл “мировой культурой” и “краденым воздухом”, ко всякому явлению человека, выпрямившегося во весь свой рост — мысленный, сердечный, душевный рост — или превосходящего себя, любовь, сила которой необъяснима для “нормального” общества (где как раз в эти же годы происходила контркультурная революция, борьба с “репрессивной” культурой) — в ней была наша жизнь, наша “тайная” (то есть таинственная) свобода». И далее поэт добавляет важное: «И я никак не назову это движение эскапизмом или суррогатом гражданской, политической свободы».

(Что до счастья, оно и само — оптическое средство: способ увидеть суть человека, и из вернейших; а то и способ сформировать её: недаром первый наш поэт назвал его «лучшим университетом», и Седакова не одной только волею случая это цитирует. Кстати, это ведь и собственная седаковская тема, одна из главных.

Я говорю:
ты
готов
к невероятному счастью? —

спрашивает с улыбкой на устах, как мы помним, «Ангел Реймса» устами поэта у каждого из нас, и, право, совсем честно и внимательно всмотревшись в себя, не знаешь, что и ответить...)

То, что обо всех этих (основополагающих) предметах говорится именно на материале литературы, обусловлено, думается, не только тем, что автор — поэт

и филолог, но тем, что таким образом разговор становится конкретным и аргументированным. Литература вообще, классическая в особенности, позволяет обоснованно говорить о том, что в ином случае рисковало бы обернуться темой общих рассуждений, — и, наконец, просто отчётливее это увидеть.

В конце концов, все эти разные компоненты и есть одно, разве что рассматриваемое с разных сторон.

Важна тут всё-таки не литература, но то, что за нею, — и нет, не «жизнь», как опять же можно второпях подумать, — не реальное, но реальнейшее: основа жизни (в первом приближении — ценностная), её глубинные течения. (То есть речь идёт о предметах, о которых, казалось бы, естественнее всего, точнее всего было бы говорить в жанре проповеди; но автор предпочитает иную точность — не меньшую.) Тут выговариваются основы существования, и русская словесность, анализ её становится особенным способом их понимания; цель же анализа — не филологическая. В конечном счёте это — философия, осуществляемая филологическими средствами на материале литературы (или, точнее, — с помощью литературы). Рискну даже сказать, что русскую литературную классику — не теряя из виду её литературной природы и филологической строгости взгляда — Седакова читает как разновидность богословия («...образы счастья — блаженства, вообще говоря, — у русских писателей кажутся написанным многими руками комментарием к Нагорной проповеди — или русской версией того, что Франциск называл “совершенной радостью”»), и мысль филологическая состоит для неё в теснейшем родстве с богословской, но не вытесняется ею и сама не заменяет её.

Счастье и красота, в частности — в особенности! — схваченные литературой, как одна только она умеет, — силы, позволяющие смертному человеку соприкоснуться с этими основами жизни, ведущие к ним напрямую.

Седакова не то чтобы говорит об этом совсем уж прямо, но показывает это всем ходом своих рассуждений.

Поэты и писатели, в связи с которыми автор обсуждает важные для себя темы, не перестают быть для автора интересными и важными и сами по себе. Они не сводятся до уровня повода к разговору или иллюстрации авторских концепций, но остаются самостоятельной его темой. Говоря об интересующих её вопросах, Седакова ни на минуту не выпускает из внимания героев своего повествования, в связи с которыми, с помощью которых, в диалоге с которыми она рассматривает предметы, превосходящие любой повод и любую ситуацию.

Она всматривается в особенности литературной работы своих героев-собеседников, в её принципы (например, говоря о Пушкине в эссе «Ноль, единица, миллион. Моцарт, Сальери и случай Оболенского» — тоже, собственно, публичная лекция, прочитанная в своё время для австрийской аудитории, — она выявляет связь его с Шекспиром, сложное устройство этой связи: все четыре пушкинские «маленькие трагедии», говорит она, «написаны шекспировским ямбом. Если Шекспир и был образцом для Пушкина-драматурга, то он отжат, высушен, проветрен, возогнан...»). Она ставит их в высочайшие контексты, сопоставляет их с величайшим и основополагающим для европейской и мировой культуры: Пушкин и Библия, Пушкин и Данте для неё — явления равновеликие, пушкинские герои — архетипичны («два этих героя, Моцарт и Сальери, несомненно выходят, — пишет она, — из реалистического в символическое, в тот ряд фигур, которые близки к архетипическим, как Гамлет или Дон Кихот, или Франческа да Римини. Среди названных параллелей дантовская кажется самой уместной...»). Притом по отношению к своим героям автор совершенно не испытывает (по крайней мере, не проявляет) ни вроде бы причитающихся классикам трепета и благоговения (лишающих человека свободы), ни стилистического спутника их — пафоса (лишающего речь подлинности и точности). Только уважение, радость собеседничества с ними — и благодарность.

Вера Калмыкова

Встреча на полпути

Людмила ФЁДОРОВА. Адаптация как симптом: русская классика на постсоветском экране. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. 368 с. (Серия «Кинотексты»)

Один из «проклятых вопросов» в отечественной культуре касается экранизаций классической русской литературы. Они — для чего? Чтобы воплотить художественный мир писателя средствами другого искусства? Чтобы воскресить ушедшую эпоху? Чтобы передать содержание и смысл более простым для усвоения способом?..

До поры до времени редко какая экранизация оказывалась бесспорной: и у читателя, и у критика, и у любителя кинематографа всегда оказывались «свои» Тарас Бульба, три сестры и Анна Каренина, и поступаться этими внутренними образами, идеальными в воображении их создателя — уже не автора! не автора, а читателя! — мало кто был готов. Существует и так называемая проблема бытового правдоподобия. Стоит на экране появиться какой-нибудь непродуманной детали, как сразу набегают историки, ставящие под сомнение всё художественное целое фильма по той лишь причине, что в каких-нибудь 1840-х годах пуговицы на мундирах были иными, чем показано. Но и этого мало, ибо есть ещё и требование «новизны»: как в меняющемся мире звучат и трактуются послания Пушкина, Гоголя, Достоевского и иже с ними? Остается ли авторская мысль неизменной, или в ней начинают звучать обертоны, которых раньше никто не слышал, ибо *время было другое*? А если перефразировать, то ситуация снова усложняется: конечна ли мысль писателя, можно ли ее исчерпать, поддается ли она однозначной, в каждую наступающую эпоху неизменной, интерпретации? И, с другой стороны, — где граница возможностей интерпретатора, за которой начинается его творческий произвол, идущий вразрез с писательской идеей?

Кто прав в таких пограничных ситуациях: автор текста, авторы кино, историки, читатели?

В название книги Людмилы Фёдоровой вынесено слово «адаптация», ставшее ключевым. Обратившись к национальному банку лексических значений, т.е. к словарю С.И.Ожегова, найдем две позиции: «1. Приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. 2. Упрощение текста для малоподготовленных читателей». Итак, надо дать возможность Пушкину выжить в меняющемся мире, а меняющемуся миру — вобрать в себя Пушкина... Задача.

Особенно если учесть, что мир-то уже не такой читающий, как какие-то тридцать лет назад. Налицо «визуальная экспансия», как определяет Фёдорова. И Достоевский, Толстой, Чехов рискуют остаться экранными и только экранными для тысяч своих соотечественников.

В книге Людмилы Фёдоровой «Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране» с помощью анализа режиссёрских подходов к экранизации рассмотрены практические решения «проклятого вопроса». Уже во введении автор исследования отмечает: «Чтобы режим адаптации включился, зритель должен опознать кино- или телефильм именно как соотносящийся с текстом. <...> Однако, учитывая падение интереса к чтению, режим адаптации часто предполагает узнавание классики на самом поверхностном уровне: фильм или сериал накладывается на общее представление о тексте, предлагая зрителю характерные знаки произведения; как правило, если режиссер не переносит действие в другую эпоху, на узнавание рассчитан в первую очередь образ прошлого». Не смысл, но *знак* текста — отправной момент в предстоящем зрителю путешествии. И тогда логично, что «кинематографические интерпретации являются материальными свидетельствами рецепции текста, характерной для определенного времени». Не столько о Толстом, сколько о нас. *Эго-стремительная* культура 2000-2010-х, которая для нашей страны называется постсоветской, а на самом деле, конечно, глобальна и характерна для всей европоцентричной ойкумены, *покупает* только себя: сегодняшнему человеку интересен он, а не Татьяна Ларина или Раскольников. С этим следует считаться.

Не стоит всё же думать, что такой подход сам по себе беспроblemен. Показывая постсоветскому зрителю персонажей классического произведения, создатели фильма обращают его внимание на то, «что в адаптируемых произведениях существуют области неразрешенных конфликтов — точнее, зоны чувствительности к определенному кругу проблем, которые оказываются востребованы в конкретные периоды времени». Вот здесь и сейчас востребованы. Ты хочешь себя — получай. Но ты непрост, и жизнь твоя далека от элементарной. Гоголевское время прошло, но это не означает неактуальности проблем, поставленных Гоголем.

Среди современных прозаиков бытует мнение, что классикам пора бы и потесниться: наше время следует понимать по произведениям современных писателей, а не уважаемых предшественников. Однако кинематографическая практика свидетельствует о другой тенденции, и Фёдорова ее отмечает: «Очевидная избыточность адаптаций, постоянство возвращения к одним и тем же текстам и стремление ко всё новой их переработке напоминают механизм повторения одного и того же нарратива при переживании травмы». Должна быть пережита и излечена коллективная травма, реакция на сильное потрясение, изменившее жизнь людей и продолжающее на нее влиять. Идея Фёдоровой в том, что «адаптации классики становятся важным способом структурирования травматического опыта» — таков первый шаг к выходу из болезненного состояния. Проще говоря, фильмы помогают нам понять, кто мы, зачем мы и куда движемся.

Это особенно интересно, если учесть, что экранизации последних, если не тридцати, то по крайней мере пятнадцати лет были адресованы зрителю, не имеющему непосредственного травматического опыта, т.е. не жившему ни при Советской власти, ни тем более при монархии Романовых и не пережившему революционную трансформацию того и другого. Царская Россия упомянута неслучайно. Стоит помнить, что в XX веке травм этого плана (в данном случае исключаем Великую Отечественную войну) было две — сначала в 1917-м, потом в 1991-м годах. И если на момент начала перестройки ещё были живы свидетели первой травмы (те, кому за пятьдесят, могут вспомнить триумфальное возвращение на родину Ирины Владимировны Одоевцевой), то теперь-то их, конечно, уже физически нет.

Читатель постепенно понимает уместность и второго понятия — «симптом» — в заглавии. Раз была травма, значит, налицо болезненное состояние с определенным набором признаков, дающих общую картину. Ее-то и приходится корректировать,

если мы хотим все-таки построить здоровое общество. Оказывается, что поиск идентичности продолжается и в том поколении, которое исторических травм, связанных со сменой формы государственности, не переживало. Или, во всяком случае, к такому поиску побуждают молодого зрителя кинематографические интерпретации, а через них — и заказчик кино, оплачивающая его инстанция, в ряде случаев государство или связанные с ним кинокомпании. При этом само «прошлое» значительно менее интересно нашему современнику в возрасте до тридцати лет, чем его сверстнику полвека назад, и это представляет очередную трудность. Патриотическая составляющая, которая, как отмечает Фёдорова, звучит в экранизациях зачастую даже более акцентированно, чем в тексте писателя, — безусловно, в числе путей создания искомой идентичности у молодого зрителя.

По мнению автора книги, при сравнении буквальных киноверсий и творческих интерпретаций выигрывают вторые: «...Любое воплощение, которое пытается быть иллюстрацией, неизбежно разочаровывает, а самые интересные экранизации представляют собой диалоги с текстами». Что же такое, с точки зрения исследовательницы, выигрывающая, удачная адаптация? Вот ответ: «Успешными я считаю адаптации, которые позволяют, благодаря классическому тексту, понять нечто новое в современной жизни и одновременно, благодаря задаваемой ими непривычной перспективе, обнаружить новые аспекты классического произведения: неразрешенные или мнимо разрешенные конфликты, к которым оказались чувствительны авторы адаптаций. Верность оригиналу здесь не требуется — именно сдвиги по отношению к классическому тексту помогают определить контуры зон чувствительности. Интерпретации обращены в обе стороны — к современности и к интерпретируемому тексту. В случае удачи на полпути происходит встреча открытости авторов адаптации проблемам нового времени — и их же заинтересованного внимания к тексту».

В целом надо отметить исследовательскую добросовестность автора. Вводя то или иное понятие, как бытующее в науке (например, «травма»), так и более узкое, необходимое только в контексте данной книги («удачная адаптация»), Фёдорова всякий раз поясняет, что имеет в виду, ничего не оставляя без пояснений, мол, по умолчанию понятно. Сам эпитет «удачная» — важный, хотя, быть может, и малозаметный шаг в сторону от принципов постмодернистской критики: в 1990-2010-е слишком часто говорилось о необходимости оценивать произведение искусства без эмоций и субъективности критика, что, конечно, трудно представить себе, исходя из специфики искусства, обращенного преимущественно как раз к эмоциям.

Примеры удачных адаптаций Фёдорова так же приводит. Это «Барышня-крестьянка» Алексея Сахарова по сценарию Александра Житинского («Мосфильм», 1991); «Дубровский» Александра Вартанова, Кирилла Михановского и Константина Чернозатонского («Твинди», 2014); «Русский бунт» Александра Прошкина, Галины Арбузовой, Станислава Говорухина, Владимира Железникова («НТВ-Профит», Roissy films, 2000); «Борис Годунов» Владимира Мирзоева («Парсуна», 2011); «Дама пик» Павла Лунгина, Валерия Печейкина и др. (Art Pictures Studio, «Мастерская Павла Лунгина», 2016); «Ревизор» Сергея Газарова и Андрея Дмитриева (кинокомпания «Никита и Пётр», группа «Мост», 1996) и др. Тут, конечно, хочется задать Фёдоровой вопрос о критериях «удачности». Беглый взгляд на бюджет того или иного фильма в сравнении с суммой прокатных сборов заставляет вздрогнуть: даже производство не окупается, о прибыли нечего и говорить. Значит ли это, что зритель не востребует эти фильмы вместе с заключенными в них установками и мессиджами? Почему так происходит? Хотя, наверное, ответы могли бы составить другое исследование...

Правда, о невысоких рейтингах как результате неудачной пиар-кампании Фёдорова пишет. Например, в связи с сериалом Павла Лунгина и Юрия Арабова «Дело о “Мёртвых душах”» (2005). В этом случае рейтинг вступает в прямое противоречие с художественной спецификой кино: «В целом Арабов и Лунгин, используя средства кино — монтаж, компьютерную графику, комбинированные съемки, способ освещения и цветовую гамму, — приближаются именно к тому, о чем Лотман мечтал для пластической реализации Гоголя: одновременного осуществления нескольких возможностей. Они выстраивают в своем фильме несколько уровней реальности». Но вопрос о воздействии эстетической составляющей на зрителя, который в случае сериала должен по идее быть массовым, тут остается открытым...

Фёдорова группирует главы своего исследования по пяти крупным разделам. «Пушкин на экране: Самозванцы в поисках идентичности», «Адаптации Гоголя: Материализация метафоры зрения и исследование пространственных моделей», «Адаптации Толстого: В поисках другого», «Восточный поворот: закрытие гештальта и критика капитализма», «Экранные интерпретации Чехова: Исследование времени, театральности и предметности». Вторые части названий определяют, как кажется со стороны, смысловые узлы современности, на которые однозначно указывает культура, желая исследовать их и разделить со зрителем сделанные выводы. С самозванчеством в постсоветской России можно сравнить самовывдвижение сонма деятелей разного рода, вне зависимости от результата и оценок результатов их активности: в начале 1990-х общество пришло в движение, и на поверхности плавильного котла оказались личности, готовые *предпринимать*. Точка зрения, т.е. оценка происходящего — языковая и ментальная производная физиологического зрения, — вкупе с попыткой обжиться в новых пространственных пределах дали толчок формированию «россиянина» вместо «советского человека». В этом смысле постсоветский человек стал «другим» для себя самого. Новый социальный уклад, возникший в буквальном смысле на пустом месте — ибо ни диссиденты, ни реформаторы не выходили из круга базаровских представлений о необходимости разрушить и не представляли себе, что же станут строить, — скорее разочаровал, чем воодушевил. Наконец, обновление в том числе и бытовой реальности привело к формированию новых стилей поведения...

По всем параметрам русская классика хоть что-нибудь да и предложит. Отмечая особую востребованность Гоголя в нулевые и десятые годы, Фёдорова выходит на проблему связи искусства и действительности. Так, в основе гоголевского художественного метода лежат гиперболизация и абсурд. Эти черты, присутствующие в современной отечественной жизни, проще всего поддаются *переводу* на язык кинематографа. «Основной узел проблем, которые возникают в фильмах по мотивам гоголевских произведений, связан с соотношением — в широком смысле — родового и личного, с попытками обретения индивидуальности и субъектности героями, которые ранее были растворены в общем или вообще не рассматривались как субъекты. <...> Романтизация выделяемого "своего", как известно, может быть ответственной за национализм и даже вступать в конфликт с концепцией романтического субъекта, совершающего индивидуальный выбор». К этой проблематике примыкает и осознание жизненного пространства, определение границ российского мира, «его положения и свойств по отношению ко внешнему миру». Почему же именно Гоголь, а не кто-либо из современных авторов, лидирует в этой ситуации? Да потому, что его ирония — романтическая по существу, что важно, — средство передачи глубокой авторской печали о несовершенстве того пространства, которое обволакивает, окутывает язык. «Именно этот комплекс вопросов и противоречий, связанных с национальной и даже географической идентичностью, — основополагающих для художественного мира самого Гоголя и в пределах этого мира неразрешимых, —

оказывается центральным и болезненным для нынешней ситуации». Природа иронии у современных писателей иная, они более склонны к пересмешничанью и сарказму как самоцели.

Художественная удача, таким образом, не гарантирует успеха у зрителя, и это ещё один затронутый Фёдоровой полюс проблемы: в искусстве, как мы видим, их так же, как за пределами искусства, не два, а значительно больше. Ещё один — появление кинопроизведения в данном месте, в данное время, в наличном социально-политическом контексте. Это также влияет и на его судьбу, и на оценки в профессиональной критической среде — как в случае экранизации Владимиром Бортко «Тараса Бульбы» («Арк-фильм», 2008). «В идеологических дискуссиях, вспыхнувших вокруг фильма Бортко, можно выделить несколько направлений — и значительная их часть касается не режиссера, а самого Гоголя, чей статус в свете постколониального пересмотра отношений Украины и России оказался неожиданно, хотя и закономерно, противоречивым. Авторитет Гоголя-писателя в постколониальных спорах является не менее важным аргументом, чем историческая принадлежность земель. Признавать ли его имперским писателем, экзотизировавшим Украину, изображая ее архаической и анархической? Или же автором, которому удалось романтически передать ее национальное своеобразие — не вчуже, а изнутри украинской культуры?» Подобного рода дискуссии зачастую затмевают существо дела: художественные достоинства работы (нужное перечислить) или недостатки (критерии и причины). Следствие вовсе не безобидное, поскольку одна из задач искусства в принципе — формирование вкуса, в данном случае массового, раз речь идет о сериале. Но это, конечно, вопрос компетентности критики, а не мастерства режиссёра.

Книгу Людмилы Фёдоровой интересно читать, даже если не знаком с постсоветскими интерпретациями классики. Рассказывая о кинопродукции, она выделяет основные составляющие современного культурного запроса и показывает читателям их самих.

Даже до или вместо того, как они стали или станут зрителями.

Борис Минаев

Невольная рифма

«Республика ШКИД» Григория Белых и Л.Пантелеева — одна из самых знаменитых книг советской эпохи. Другое дело — а куда ее «поставить», на какую полку? На полку советской классики? Или на полку антисоветской (или, по крайней мере, не советской) классики?

С одной стороны — легендарные 1920-е, «молодая республика в кольце врагов», пафос воспитания «нового человека», борьба с беспризорностью (мы же ещё не забыли, что ее возглавлял Феликс Эдмундович Дзержинский, и тем более не забыли, кто это вообще такой?)...

С другой стороны — один из авторов книги (Григорий Белых) был репрессирован, погиб в 1938 году в пересыльной тюрьме. К тому же «республика», «коммуна», ну это как-то совсем не про советскую школу, не про ее вековые железобетонные устои, единоначалие и консервативность.

...Ну и главный вопрос — это контекст, в котором книга существует и существовала.

Первая жизнь «Республики ШКИД» — предвоенные, военные годы. 1930—40-е. Повзрослело поколение беспризорников, потерявшее родителей во время революции и Гражданской войны, поколение голодавшее, побиравшееся на улицах, чудом выжившее, прошедшее сквозь ад «детприемников» и «распределителей», всё помнившее, всё прошедшее и искренне считавшее: худшее позади, ад преодолен, дальше будет свет, новая дорога, простор идеального общества, настоящей жизни.

Это мироощущение — замешанное, конечно, на общем пафосе коммунистического обновления мира — из нашего сегодня кажется схематичным, топорным, даже отчасти жестоким (ибо тогдашним читателям «Республики ШКИД» было, например, совсем не жалко прежней России, с ее людьми, отношениями, многообразием социальной ткани). Да, но искренность этой веры — в социальный гуманизм, в то, что человечество просто обязано непрерывно улучшаться, искренность веры в прогресс — и сегодня подкупает. И сегодня не кажется людоедской.

Вторая жизнь книжки Г.Белых и Л.Пантелеева (которого после 1960 года реабилитировали, восстановили в правах, и он снова занял место на обложке рядом с соавтором) — годы 1960-е. «Оттепельные».

В 1966 году Геннадий Полока снял в Ленинграде фильм по «Республике ШКИД». Попадание в атмосферу времени было снова абсолютно точным. Молодой Сергей Юрский, один из главных артистов «оттепели», атмосфера бурлящей, кипящей школы — как альтернатива советскому казенному «фильму воспитания», с его пуританской моралью и ходульными истинами, радость от снятия цензурных запретов и ироническая свободная интонация. Ну и, конечно, общий страшный исторический фон — детдомовцы и сироты уже второй послевоенной поры, — благодаря которому фильм тоже попадал в самое сердце тогдашнего зрителя.

Фильм Геннадия Полоки тогда взломал стереотипы «школьного фильма». Он был воистину революционным, практически первым в этом жанре — после него появились «Доживём до понедельника» Станислава Ростоцкого, «Айболит-66» и «Чучело» Ролана Быкова, «Не болит голова у дятла» и «Ключ без права передачи» Динары Асановой. И многое-многое другое.

Стало можно говорить о школьных конфликтах и драмах взросления, показывать учителей-революционеров, педагогических одиночек, да и в целом: стало можно говорить об обществе как о живой, текучей, а не застывшей социальной материи. Недаром «Республику ШКИД» посмотрело 32 миллиона зрителей.

...И вот третья жизнь «Республики ШКИД» — это наше время. Премьера одноименного мюзикла в московском Детском музыкальном театре юного актёра.

Я пришел в замечательное новое здание на улице Макаренко (по иронии судьбы третья жизнь «Республики ШКИД» началась на улице другого великого педагога 1920—1940-х годов, Антона Макаренко, чьи «трудовые коммуны» тоже были прославлены в советской дидактической литературе и тоже стали основой для кино). Это не просто театр, а театр-школа. Здесь занимаются дети, начиная с младшего школьного возраста и заканчивая выпускными классами. Они учатся музыке, пению, хореографии, театральному мастерству. Вырастая, некоторые из них идут дальше по профессиональному актерскому пути, и всё же главное тут — не это. Детский музыкальный театр юного актёра воспитывает людей, которые выходят на сцену и играют музыкальные спектакли — просто самим образом жизни, непрерывным совершенствованием, атмосферой творческого труда и поиска. Все это прекрасно и заслуживает отдельного исследования, но все же я пришел сюда просто как зритель и дважды посмотрел спектакль, чтобы понять — почему опять «Республика ШКИД»? Чем этот старый текст может пригодиться нам, сегодня: и детям, и взрослым?

...Первая зрительская реакция: вижу детей на сцене — и в горле ком. Невозможно без какого-то инстинктивного эмоционального потрясения смотреть на них, на их жесты, слушать их голоса, погружаться в мелодику самой речи.

Это очень тонко прочувствовали два автора мюзикла: композитор Алексей Шельгин и поэт Лев Яковлев — и музыкальный текст мюзикла, и само либретто пронизаны нежными тонами, не слезливыми, не плаксивыми, а именно нежными и светлыми.

Удивительное дело: сравнивать этих юных артистов с теми, что снимались в ранние 60-е у Геннадия Полоки в «Республике ШКИД». Вымазанные сажей в первых кадрах, наголо обритые, одетые в лохмотья — тогда, и одетые в мешковатые грубошерстные свитера, с огромными гривами волос мальчишки, тщательно причесанные девочки — сейчас.

Разные беспризорники, разные дети.

Постепенно сквозь все хрестоматийные сюжетные перипетии — «буза», то есть бунт против учителей, попытки построить самоуправление, налет на школу-коммуну уличной братвы, спекуляция хлебом, мессианство и идеализм основателя школы-коммуны Викниксора (Виктора Николаевича Сороки-Росинского) — проступает главная тема: вина и ответственность взрослых перед детьми.

И эта тема — именно сегодняшняя, большая, горькая.

И поэтому именно эти — слишком сегодняшние, слишком нежные, слишком одомашненные — дети кажутся точным попаданием в эту тему.

Потому что вновь наступает эра детей, лишенных детства.

Вновь политические потрясения разрывают социальную ткань общества и железным ломом бьют по семье, по детям, оставшимся без родителей.

Даже в нынешней благополучной Москве — ты все равно кожей ощущаешь это.

Конечно, создатели спектакля не ставили перед собой такой задачи: проводить исторические параллели, сравнивать разные эпохи. Но это происходит само собой.

На вполне условном «заднике» — петербургские колокольни, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Медный всадник, и вот зажигается яркий малиновый закат (сценография Егора Фёдорова), выбегают на «горбатые мосты» дети, раздаются «голоса времени» — и вдруг ты отчего-то понимаешь, что история снова сделала круг и попала в вечное «колесо времени». И вновь, и вновь тысячи, десятки тысяч детей, оставшихся без крова, нужно кормить, воспитывать, устраивать и лечить.

У этого спектакля (если относиться к нему именно как к спектаклю, а не просто как к «педагогическому проекту») есть одна особенность. Несмотря на то, что юные актёры, исполнители главных ролей, невероятно естественны и органичны (Артём Скосырев, Даниил Громыко, Нико Галдава, Эрнест Бореко, Даниил Рахманкулов и другие) — до зрительской дрожи пробирают именно массовые сцены, когда поют и играют актёры, обозначенные в программке просто как «беспризорники», «гужбанши», «шкидцы», «малыши».

И дело тут не в каком-то особенном мастерстве хореографа или хормейстера. Детские характеры, детские эмоции, какое-то почти автоматическое «цепляние» друг за друга, живое месиво их жестов и гримас — произвольно рождает ощущение правды, горькое и пронзительное.

Это, конечно, заслуга режиссёра и художественного руководителя театра Александр Фёдорова, который очень тонко чувствует «человеческий материал».

Да, можно отмахнуться от жанра (подумаешь, мюзикл), от актерского наива (ну что там они понимают, эти дети), от порой беспорядочного мельтешения персонажей — но никак нельзя отмахнуться от ощущения правды.

...Очень важно не пропустить в этом потоке бьющих наотмашь эмоций, эмоциональных токов, идущих от детей-актёров — образы взрослых, педагогов «Школы-коммуны имени Достоевского».

Я уже говорил, что у каждого времени своя «Республика ШКИД», поэтому бесполезно сравнивать игру взрослых актёров в мюзикле — с драматической игрой Юрского или Луспекаева в начале 60-х. Тем не менее исполнителю роли Викниксора Дмитрию Пивоварову удалось создать рисунок роли, абсолютно адекватный задаче. Это не просто «педагог-новатор», идеалист, романтик революции, каким играл его Юрский. Это именно старый российский интеллигент, хранитель генетического кода прежней культуры.

Что — в общем-то — совершенно точно соответствует исторической правде. Сорока-Росинский, однокашник Блока, педагог и литератор — один из тех представителей старой российской интеллигенции, который на пепелище прежней жизни и прежней реальности пытается сохранить свою миссию — гуманиста и просветителя.

И это тоже довольно точно рифмуется с нашим временем.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Журнал «Дружба народов»
можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.
Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**
Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**
Электронную версию «ДН» можно приобрести на
<http://дружбанародов.com>
Журнал продается в московских магазинах:
«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,
вход с Малого Гнездниковского переулка)
«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА
Корректурa: Елена ЛАПШИНА
Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**ДРУЖБА
НАРОДОВ**

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
АЛЪМАНАХ
ПОДРОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1953

**Дружба
народов 12**

**Дружба
народов**
12
1978

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
12
1968

**Дружба
народов 12**
1968

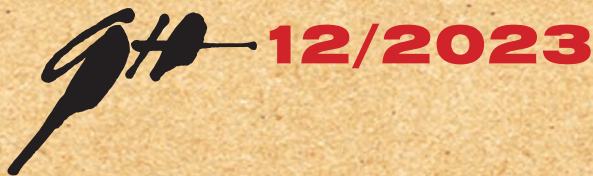
**Дружба
народов 12**
1968

**Дружба
народов 86**
Информационный
историко-
культурологический
и общественно-
политический
журнал
орган
Союза
национальностей
СССР

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
1
1939

ДРУЖБА НАРОДОВ
5-198

**Дружба
народов**
1/2018



Читайте:

Анна Маркина. «Кукольная». Роман

«Андрей осмотрел выдавшую виды дверь и с размаху ударил ногой в район замка. Дверь всхлипнула, но устояла. Старики подпрыгнули от неожиданности. — Что вы делаете?! Андрей со всей силы ударил ещё раз. Деревянная страдальца затрещала, охнула и поддалась. В комнате никого не было. В глаза бросились пугающие ростовые куклы. У одной над свадебным платьем торчала шкатулка. У каких-то кукол вместо глаз на капроновое лицо были нашиты то ли бусины, то ли пуговицы. Все экземпляры наряжены — некоторые в пышные и тяжёлые ткани, иные — в рваные тряпки. Ромбов остолбенел. Куклы были рассажены и разложены повсюду — они сидели на подоконнике, на диване, заваленном рукописями и газетами, какими-то пакетами, потрёпанными игрушками, лежали на волнах книг и просто гнездились по углам. Помещение напоминало огромный пыльный склад макулатуры — от пола до потолка росли башни книг, стены из тряпок, одежды и мусора. Ромбов подошёл к одной из кукол — с чёрным колготочным лицом, глазами-пуговками и нарисованным ртом, наклонил её, чтобы осмотреть сзади, — кукла запела...»